

ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ КРАСНОВ



ЛОЖЬ

РОМАН

...сказал Иисус к Иудеям: — «ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».

Ев. От Иоанна. Гл. 8, ст. 31 и 34.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Реке подобна человеческая жизнь. В лесной глуши... На высокой горе, в серебряном блистании вечных ледников... в степной глубокой балке, у крутого пристена, под нависшим камнем... из зеленой тины болот — рождается тонкая струйка текучей воды и идет, бежит, журча и булькая, напевая радостную песню жизни по Божьему миру.

Еле приметным ручейком — перешагнуть можно — катится она по камушкам, как нянину сказку, слушает говор природы, радуется путника манящей свежестью хрустальной воды... Так в грезах и сказках, в тихих колыбельных песнях, в маминой ласке, в несказанно прекрасном познании окружающего, проходить ясное, светлое, чистое детство...

Иногда — так и замрет ручьем, не вылившимся в реку, уйдет под землю, скроется в болоте, убежит к близкому морю... Умрет человек ребенком, ничего не свершив.

Иной раз добежит до края плоскогорья, бурно сорвется вниз водопадом, шумными каскадами пронесется по крутому каменистому скату: тяжелая юность, обуреваемая страстями, пройдет — и вот уже вышла река на равнину, ширится притоками, как человек знаниями и опытом жизни, течет умиротворенная, несет на груди своей пароходы и баржи, шумит мельницами, трудится, работает, плодотворит и, спокойная и плавная, величаво вливается в море...

Смерть... Кончена река — начинается безпредельность морская... Новая жизнь... Вечная жизнь океана...

Разные реки — различны и жизни людские. Все идут к одному концу — к вечности... К вечно волнующемуся и вечно волнующему человека морю.

Детство Лизы Акантовой было короткое. Недолго тихо шло оно под колыбельную песню и ласки матери, недолго Лиза покоилась в холе, — как ручей в лесной глуши, — дальше помчалась по камням, разбиваясь в перистые брызги, покрываясь белой пеной, крутясь и волнуясь. Тяжел и обрывист был скат жизни. Захватил юность, ненадолго успокоился ровным потоком годов ученья и снова оборвался бешеным водопадом.

У Лизы Акантовой счастливого детства не было. Те первые годы жизни, которые обычно вспоминаются, как смутный, но радостный сон, кажутся милой сказкой, овеванной материнской любовью, уютом родительского дома, колыбельною песнью матери, ласкою и заботою семьи, — Лиза вспоминала, как страшный, полный кошмаров, непробудный сон.

Она родилась незадолго до Великой войны, и первые, полусознательные впечатления: тревога матери, ожидание писем, слезы и тоскливое одиночество в покинутой отцом семье. Когда вспоминала Лиза мать, ей всегда представлялось прекрасное лицо, орошенное слезами, смутное, неясное, неопределенное и неутешно печальное.

Годы, когда складываются в человеке первые представления о мире и о людях, когда подыскиваются слова и определения всему увиденному и подмеченному, и когда начинает, еще робко, но уже достаточно четко, работать память, — были годами смуты и постоянного бегства с места на место. Годы ожидания чего-то невероятно ужасного... Придут... ограбят... уведут... разлучат... убьют. Ни мягкой, уютной кровати: где-нибудь в кресле, на диване, в ногах у матери, в вагоне, на пледе, на пароходе, в душном трюме переполненном несчастными, насмерть напуганными людьми. Ни игрушек, ни игр. Всегда со старшими, всегда с несчастными, затравленными людьми.

Отца Лиза не знала. Она увидела его первый раз, когда где-то в чужом краю, у чужих людей, умирала ее мать. Человек в русых усах, среднего роста, стройный, очень худощавый, в военной форме, стоял на кладбище над свежей могилой и плакал. А потом Лизу взяла приехавшая нарочно за нею из Германии сестра ее матери, тетя Маша, и увезла Лизу в Берлин.

Этим и закончилась первая пора детства Лизы — кошмарный сон.

Тетя Маша вышла замуж до войны за богатого немецкого фабриканта Норинга. Война его обогатила, революция разорила, инфляция пощипала, но Норинг оправился, и, после тревог и скитаний, Лиза попала в благоустроенную, богатую квартиру в старом доме центра Берлина.

Там и началось настоящее детство, — не какой-то сумбурный, кромешный, страшный сон. Берлин стал ее Родиной. Лиза выросла в городе, среди городского шума и уличной толпы.

Норинг, когда в Германию хлынул поток Русских, безденежных и безработных, и когда сердце его жены разрывалось от жалости, и в нем крепло желание помочь им, призвал жену к себе и тоном, не допуская возражения, сказал: «подальше от Русских!»...

Лизу Отто Норинг принял охотно, сердечно и относился к ней, как к дочери. Но по натуре он был сухой, расчетливый человек. Лиза от него осязаний ласки не видала.

Тетя Маша, по просьбе отца Лизы, учила Лизу Русскому языку и Русской грамоте, занималась французским языком, которым владела в совершенстве, и наняла англичанку, чтобы Лиза умела говорить по-английски.

Отто Норинг это одобрил:

— Языки теперь все, — говорил он, посасывая сигару. — Языки, стенография и спорт.

В виду наказа — подальше от Русских — Лиза была отдана в среднюю немецкую школу. Стенографии она не изучила, но научилась хорошо рисовать, живо схватывая натуру, запоминая линии, и недурно пела немецкие песни. Спортом Лиза увлекалась. Дядя Отто сказал, что этого достаточно.

Так прошла вторая половина детства Лизы. Сытно и привольно, что дало Лизе возможность хорошо развиться и окрепнуть телом, с хорошей систематической подготовкой, чтобы развить ум, но, как всякая послевоенная школа — сделала её бездушной. Лиза знала, что она православная — «russisch-orthodox», носила на теле золотой, с овальными, как бы листочками, сторонами, с лучами по краям, — православный крестик, но Закона Божьего, катехизиса не изучала, в церковь не ходила. Как-то за мирскими заботами и волнениями Мария Петровна об этом не подумала.

В школьных играх в зале, а в хорошую погоду на гимназическом дворе, проходило детство Лизы. Были увлечения учителями, веселые прогулки строем, с песнями и гитарой, мальчики впереди, девочки сзади. Прошла эта пора без особенных радостей, но и без больших огорчений, наступила юность.

С детства у Лизы была обязанность каждый месяц писать отцу. Нелегко давались эти письма Лизе. Трудно писать отцу, которого не знаешь. Лиза описывала свой класс, писала про учителей, писала, что ей хорошо живется у тети Маши. Письма шли на просмотр тети. Та тщательно проверяла, все ли «ъ» были на месте. Тетка гордилась грамотностью племянницы. Такие же, и тоже безцветные письма приходили и от отца из Парижа. Посылал Лизин отец и деньги — маленькие деньги — на баловство, на конфеты, на ленточки, на те маленькие безделушки, которые любят девочки.

По окончании гимназии, Лиза поступила в высшую школу. Училась она отлично. Ей было поручено вести семинары с юношами, ее товарищами по курсу. Она блестяще кончала школу. В эту пору первый раз открылось ее сердце.

Лиза защитила диссертацию на звание доктора философии, и с этим званием, покончив с юностью, взрослой, 22-летней девушкой, вступила в жизнь.

Тут открылось то ужасное, о чем Лиза не подозревала, и о чем не подумали ни ее отец, ни тетя Маша.

Отец в письмах этого требовал, а тетя Маша своим Русским нутром этому сочувствовала, — Лиза, как была, так и должна была остаться, Русской. Лиза жила по Нансеновскому паспорту. В средней и высшей школе Лиза так сливалась со своими товарищами и товарками, что забывала, что она не немка.

Но окончилась школа, — нужно было начинать жить, а жить — это значило работать. Доктор философии должен был начать применять свои знания.

Тысячи препятствий встали перед Лизой. К ним прибавилось и еще одно обстоятельство, очень смутившее тетю Машу. Кончились годы ученья, Лиза перестала ходить в школу, перестала сидеть часами, запершись в своей комнате, уставившись в книгу, перестала зубрить уроки, она стала свободной и стала проводить дни дома. Тетя Маша со страхом отметила, что дядя Отто что-то слишком засиживается за кружкой пива и сигарой после обеда, курить вместо одной две и три

сигары, вступает в жаркие диспуты с Лизой, и что у дяди краснеет при этом лицо, и по-особому блестят глаза. Дядя Отто стал приглашать племянницу в театр и в кинематограф.

Тетя Маша заревновала. Лиза стала очень красива. Совсем такая, какую была ее мать в ее годы. Высокая, стройная, в меру полная. Светлые, длинные волосы, заплетенные в две толстые косы, спускаются ниже талии, и, когда спорит о чем-нибудь Лиза с дядей, беспокойно ерзают по ее спине». Голубые глаза загораются синими, влекущими огнями...

Тетя Маша задумалась. Надо что-то делать с Лизой. По настоящему — по-старинному — замуж пора... Но где женихи? У Лизы есть товарищи, — женихов не было. Лиза безприданница. Это еще пол беды. Но Лиза — беженка... Русская, без Отечества... без защиты... С такою красотой — она легко может стать добычей любого проходимца, если ее оставить одну. Продолжать жить втроем?.. «Своя рубашка к телу ближе». Тете Маше не выдержать сравнения ее полнеющего, стареющего тела, ее потухших глаз, стриженных полуседых, сивых волос, с красотой распускающегося юного цветка Лизы.

Устроить на службу? Но куда? Брали только своих. Только своим была дорога. Лиза была чужая. Немка по языку немка по воспитанию, в душе и чувствах — немка, она была Русской и — беженкой...

Наниматься в няни, бонны?.. приказчицей в магазин?..

Тетя Маша написала обо всем откровенное письмо отцу Лизы, генералу Акантову в Париж.

Ответ получился скорый. Егор Иванович писал, что он сам об этом думал и этим озабочен.

Бисерным своим почерком —тетя Маша читала письмо через лупу —генерал писал: «...конечно, положение мое не очень-то завидное. Как пошел я шестнадцать лет тому назад простым рабочим, токарем по металлу, на завод, так и трубю все на том же месте все шестнадцать годов без перемены. При том тут пошли нам притеснения. Курс тут налево, и нам, «белым» офицерам, не легко. Однако, думаю —Лизу взять к себе. Уж очень мне одиноко с годами. Последнее время думы у меня разные, тяжелые думы. Не болезнь, а просто — старость. Никогда ничего не боялся, ни в какую мистику не верил, а вот, после похищения Кутепова, чувствую и себя как бы непрочным. Вьются подле меня темные силы, ищут схватить и устранить. Всю жизнь жил по указу совести и по приказу начальства. Ныне стал правду искать. Никого эти искания до добра не доводили. Лиза скрасит дни моей жизни, да молодой ее разум, может быть, еще и старого поучит. Что-нибудь тут ей устроить, думаю, можно будет Конечно, —доктор философии — *pas grande chose* (*—Не велика штука) , по нынешним временам; судомойка или кухарка, особенно кухарка, много лучше. Но, ты пишешь: Лиза знает языки; это уже нечто существенное. Вообще, — хлопочу о визах... Нанимаю квартирку, где нам было бы удобно и не стеснительно, и уповаю на счастье. Подготовь Лизу; в первых числах сентября сам приеду за ней, чтобы лично поблагодарить тебя и Отто Карловича за все, за все, что вы для Лизы сделали. Я почитаю себя вечным Вашим должником...».

Лиза приняла известие о том, что она поедет к отцу в Париж, спокойно и холодно. Черный, густой намет ресниц поднялся на мгновение, открыв синее пламя глаз, но ресницы сейчас же и притушили это пламя.

— Что-ж, — сказала Лиза, закуривая небрежным жестом длинную папиросу, — В Париж, так в Париж... Если ничего лучшего не представится до тех пор?

— На что ты рассчитываешь, Лиза?

Лиза по-мужски затянулась папиросой, выпустила дым в несколько приемов, проткнула его языком, и, любуясь на колеблющееся в воздухе голубоватое кольцо, сказала:

— На людскую честность... На благородство...

— Ах, оставь, Лиза, — сказала с досадою тетя Маша. — Все это тогда, когда есть Родина... Когда ты своя... Но ты беженка... Русская!.. Это ужасно!.. Возможно, что у отца тебе будет лучше. Там много Русских. Ты войдешь в Русское общество...

— В общество беженцев, поднимая брови и тщательно притушивая папиросу в фарфоровой пепельнице, сказала Лиза. — А как же — подальше от Русских?

Марья Петровна пожала плечами:

— Там это будет не нужно. Этого хотел дядя Отто.

— Допустим, не нужно. Ну, все равно: *entweder-oder* (*— или-или) . Другого выбора нет.

Лиза бросила папиросу и, быстро и твердо шагая, вышла из комнаты тети Маши.

II

Парижский поезд приходил в Берлин в двенадцатом часу ночи. Как было условлено, — Акантов должен был выйти на станции «Зоологический сад», где Лиза его встретит.

Курт Бургермейстер, товарищ детства Лизы по школе; провожал Лизу. Они ехали на трамвае. На остановке у Gedachtniss Kirche они выходили. Курт спрыгнул с площадки и протянул руку Лизе.

— Danke (*— Благодарю).

Громадное, темное здание церкви, с высокой остроконечной крышей, с башней колокольни, тяжелое и грузное, стояло посередине площади. Колокольня уходила в темное небо. Месяц блестящим диском висел сбоку, как нарисованный на декорации. Пестрые, яркие вывески кинематографов, кафе и ресторанов горели красными, зелеными, синими и белыми огнями. Особенно бросились в глаза Лизе темно-лиловые, аметистовые огромные окна тяжелого здания напротив церкви. Вдоль карнизов и подоконников, по низким решеткам были цветы. Сквозь просветы улиц, за высокими арками надземных железнодорожных путей чувствовалась прохладная зелень больших, старых деревьев и просторы сада. По широким тротуарам, мимо пестрых огней, шла нарядная толпа. Только что кончились представления в двух громадных кинематографах, и публика расходилась по домам. Посередине улицы в два ряда стояли автомобили-такси с зелеными кузовами, с черным верхом, с пестрым ободком. Площадь была большая, улицы широкие, — а казалось тесно, скученно, уютно, как в комнате, — так громоздки, велики, аляповато нарядны были здания.

Как сказка, — сказала Лиза, восторгом горящими глазами оглядывая толпу, площадь, огни вывесок и реклам. — Ты любишь, Курт, Берлин?

— Я в нем родился.

— Тебе не грустно, Курт, что я покидаю Берлин? Тебе без меня не будет скучно?

— Человек занятой не имеет времени скучать. Я выхожу на дорогу, где я могу приносить пользу Родине. Я в партии ответственный работник. Я просто не имею права скучать. И разве можно скучать в такой стране, как Германия?..

— Да... Это верно.

Молча, шагая в ногу, прошли к проходам на станцию. У тяжелой, тускло освещенной каменной стены, где были широкие лестницы наверх, Лиза остановилась. Непрерывный поток людей стремился на городскую дорогу

— О, у нас еще есть время, — сказала Лиза. — Целых десять минут. Мимо, между высоких столбов, проносились автомобили, проходили желтые трамваи, гроыхали тяжелые двухэтажные автобусы. Над головами часто с оглушительным грохотом мчались поезда железной дороги.

— Курт, ты не думаешь, что нужно, чтобы я представила тебя моему отцу?..

— Зачем? — раскуривая папиросу, сказал Курт, и протянул свой портсигар Лизе. — Ты не хочешь?..

— Нет. Моему отцу будет неприятно, если он увидит, что я курю... Но, Курт, ты не находишь, что так надо?..

— Не нахожу. Твой отец приезжает на три, четыре дня... Для чего это знакомство? Твой отец Русский генерал, я — немец... Что общего между нами?

— Он мой отец...

Лиза с упреком посмотрела в светло-серые, ясные глаза Курта:

— Мне показалось... — начала она и оборвала. — Как хочешь?! Если не находишь нужным?.. Не надо.

Зрачки ее глаз расширились, синева потемнела. Огни ли так отразились в глазах Лизы, или свои внутренние огни загорелись в них, — они блеснули мрачным блеском и сейчас же потухли, прикрытые густыми ресницами.

— Как хочешь, — повторила Лиза. — Мне, однако, пора. До свидания, Курт.

Она легко поднималась по крутым серым бетонным ступеням. На площадке остановилась. Курт еще был внизу. Лиза с любовью посмотрела на стройную фигуру высокого молодого человека. Курт был без шляпы. Густые волосы были гладко причесаны. Просторный, легкий, дорогой пиджак красиво лежал на могучих плечах. Модные, широкие штаны со складкою для пыли внизу, светлые башмаки, — все было дорогое, добротное, новое, хорошо сшитое. На русые волосы от фонаря лег золотистый отблеск. Свежее, чистое лицо было поднято. Курт следил за Лизой.

Лиза остановилась, помахала рукою в кисти; Курт ответил тем же. Лиза вздохнула и бегом поднялась на следующий пролет лестницы. Две минуты оставалось до прихода поезда. Наверху, у турникета, Лиза оглянулась. Курта не было. Он ушел.

Со стесненным болью сердцем от отказа Курта подняться с нею и представиться ее отцу, с волнением от предстоящей встречи, Лиза вошла на перрон. — Заграничный поезд, с грозным рокотом колес, подкатывал к станции...

III

В последнем письме отцу Лиза описала свой костюм и шляпу — соломенную с широкими полями, и нарисовала себя, чтобы отцу легче было узнать ее. Она еще обещала держать в руках Русскую газету, но, заболтавшись с Куртом, забыла купить ее.

На перроне было мало народа и немного пассажиров вышло из поезда — главная остановка была на Фридрих-штрассе. Лиза сразу увидела вышедшего из вагона третьего класса стройного, хорошо выправленного человека, в черном легком пальто, в мягкой шляпе. Человек этот бодро зашагал по платформе. Она не столько узнала — узнать она не могла: она не помнила отца, — сколько догадалась, что этот человек и есть ее отец. Укрепило ее в догадке еще и то, что человек этот нес в руке довольно объемистый, плоский, видимо, почти пустой, «порт-плэд» из шотландской Темно-зеленой, с черными клетками с желтыми полосками материи, стянутый старыми ремнями. Таких порт-плэдов никто за границей не имеет. Отца Лиза не помнила, а этот порт-плэд отлично запомнила. Как сон, ей припомнилось — отец и мать возились, напихивая вещи в этот порт-плэд, А она, совсем маленькая, кулачками упираясь в шероховатую поверхность его, пыталась им помогать. Отец тогда сказал матери:

— Ну, матушка, да сюда, при желании, можно слона уложить, только хвост на хобот торчать будут. Петербургский порт-плэд...

В ту пору, Лиза еще не видала слонов, и именно потому ей так и запомнился порт-плэд, что в него можно слона уложить. Быстрыми шагами, она подошла к отцу:

— Папа!..

— Лиза!.. Узнал... Ну, конечно, узнал... совсем ты, как мать-покойница... Выше ростом. И еще красивее... Ну, моложе, конечно... Такою я мать твою не знал...

Они поцеловались. Лиза коснулась губами шершавой щеки отца, положила ему руки на плечи:

— Давай порт-плэд... Багаж есть?..

— Какой там багаж - все тут.

— Дай. папа, я понесу.

— Ну, что ты. Зачем? Я сам...

Лиза вырвала порт-плэд и внимательно посмотрела на отца.

Седые усы были коротко подстрижены, лицо темноватое, но не от здорового загара... Много мелких морщин на нем, но серые, ясные глаза еще совсем молодые. Походка ровная, смелая и твердая. Левою рукою Лиза взяла за руку отца, и ощутила грубую кожу и будто... мозоли. Не генеральская была рука, а рука рабочего. Высокие ботинки на завязках были старые, растоптанные, медные крючки блестели из-под края штанов. Все было чистое, но бедное, даже и не второго, а третьего сорта.

— Куда же мы?

— Я сняла для тебя комнату в пансионе. Тебе так спокойнее будет. Сейчас туда и поедем.

Лиза подошла к такси и сказала адрес.

— Может, дорого, на такси-то? — смущенно сказал отец. — Если не очень далеко, и пешком бы можно... Или на метро?

— Пустяки, папа. Ты посылал мне деньги... Куда мне было их тратить... Тут, в Берлине, ты мой гость.

Пестрые огни блистали по стенам домов, обрамляли окна и порталы дверей. В их свете несказанно красивы были цветы на подоконниках. Особенно красивыми показались лиловые окна, с зелеными полосками светящихся трубок. Лиза с восторгом оглядывала площадь:

— Не правда ли, папа, как сказка, мой Берлин?.. И как тут уютно!..

За площадью пошли тихие, темноватые улицы. Реже стали светящиеся вывески реклам. Стало безлюдно.

На большой площади, где было тихо, где был сквер, и дома были озарены призрачным светом луны, а сама луна висла в небе, как китайский фонарь, каретка остановилась. Лиза ключом открыла наружную дверь, нажала кнопку света, и они стали подниматься на третий этаж. Лиза провела отца в его комнату:

— Вот, папа... Спи спокойно,.. Устал, бедненький, с дороги. Утром тебе дадут чай или кофе, что хочешь, а завтракать и обедать ты будешь у тети Маши. Отдыхай хорошенько. Завтра в одиннадцать я приду за тобой...

Комната была большая и глубокая. Чем-то напомнила она Акантову Петербургские меблированные комнаты. В незанавешенное окно видна была площадь. Месяц в серебристой дымке на темном небе, большие дома, зелень кустов под окном.

Акантов спустил шторы и стал раздеваться.

«Славная выросла у меня дочка», — думал он, — «и, кажется, добрая девушка»...

IV

Тетя Маша встретила Акантова с распростертыми объятиями:

— Ну, покажись... Как тебя обработала жизнь... Господи, шестнадцать лет не видались... Да и тогда... Разве это свидание было?.. И горя-то, горя сколько!.. Я, Лиза, твоего отца помню еще статным таким молодчиком... Золотые погоны, фуражка с малиновым кантом. Стрелок... кем ты был тогда, когда бывал у нас в доме?.. Капитан?.. Твой папа, Лиза, знал меня еще маленькой девочкой. Пойди, Лиза, достань твои альбомы...

Марья Петровна и Акантов остались вдвоем. Большие комнаты с тяжелой роскошью немецкого убранства смущали Акантова. Отвык он от простора, от мягкой мебели, от ковров, от шелковой обивки, от картин в широких лепных золотых рамах, и хороших мастеров картин, от бронзы и фарфора.

— Ну, что же?.. Сядем... Как нашел ты Лизу?..

— Что могу я сказать?.. В ножки тебе должен поклониться. Красавица дочь.

— Это уже не от нас. Такая уродилась... Сестра моя была много красивее меня. Ну, сделали, Егор Иванович, все, что могли, чтобы сохранить ее Русской. Как видишь — говорит без акцента... Пишет грамотно. Но, каюсь, — это и все.

— Что она?.. Бывает она в церкви?.. Как ее душа?.. Внутреннее ее?..

— Чужая душа — потемки, Егор Иванович. Как заглянешь в чужую душу? Да еще в душу девушки? А Лиза, при том же, скрытная... Ну, да это так и понятно. Она гордая и очень самолюбивая девушка. Ей было трудно. Особенно сначала, до прихода к власти Хитлера... Очень трудно. Школа немецкая. Мальчики и девочки учатся вместе. Люди со всячинкой. Ударов, уколов по самолюбию сколько угодно. Русскую историю преподавали так, что лучше вовсе не преподавали бы. Понятие о России она имеет смутное и неважное. Она мне как-то девочкой еще сказала: «я, тетя, стараюсь любить Россию, а как ее любить, когда я ее не знаю?»...

— Это — драма...

— Да, Егор Иванович, страшная драма. Лиза образованная, даже, может быть, слишком образованная, она — доктор философии, но спроси ее, что такое наша Волга, — знает только, что река. А, ведь, мы-то... Помнишь?.. Волга!.. Да, для нас — она живая!.. С душой!..

— Верует ли Лиза в Бога?..

— Думаю, что она знает Бога... Но церкви она не знает. Сознаю, это большая моя вина. Но прошу и простить меня. Я мужняя жена. Я должна жить, как мне укажет муж. Отто Карлович отличный человек, но он человек новый. Он химик и купец. Видишь — икон у нас нет... При нем мы никогда не говорим по-Русски... Если бы не Лиза и мой долг перед нею, я и сама, вероятно, забыла бы Русский язык.

— Да, — вздыхая, сказал Акантов. — Больной это вопрос. Религия... Церковь... Грешен и я. Блуждаю и заблуждаюсь. Последнее время, когда я стал задумываться о смерти, — стал сам отыскивать истину... Да, понимаю, трудно... В нашем беженском положении трудно. Я беру на себя большую ответственность, что увожу от тебя Лизу... Что я ей дам?.. К какому делу приставлю?..

— Ничего не поделаешь, Егор Иванович... Выросла Лиза. Ей двадцать два... Замуж пора. Тут женихов нет. То есть, кое-кто и есть, да Лизе не нравится.

— Может быть, Лиза кого-нибудь уже полюбила?

— Повторяю, Егор Иванович, Лиза очень скрытная... Если кого полюбила, — разве скажет? При том теперешнее воспитание, понятия, мораль. Девушка свободна. Разве знаю, что она делает? Молодежь целыми неделями странствует по Германии. Девушки и молодые люди вместе. Раньше этого так не было. И разве могу я помешать этому, когда это в обычае страны?.. Подруги, друзья, в общем — товарищи. Полуголые, а юноши, можно сказать, и совсем голые, вместе купаются и лежат, загорая, на пляжах... Я ничего не понимаю. Хорошо, — товарищи... А если колыхнется — любовь?..

— Да-а...

— При том, Лиза — беженка. Товар второго сорта. Сирота. А тут Русская экзотика. Где видит, где встречается иностранец, который тут, у себя, дома, Русских девушек?.. Служанки в ресторане, артистки балетной труппы, хорошо, если с талантом, а если только со смазливой мордочкой?.. Манекенщицы, продавщицы, — все это, сам понимаешь, не невесты, не жены, а так... Легкая добыча... Хорошо, попадет на честного, сердечного, верующего человека, с моралью... А если?..

— Да... Разные люди бывают... Ты позволишь мне закурить?..

— Пожалуйста.

Марья Петровна пододвинула Акантову пепельницу, портсигар, закурила сама и подала спичку Акантову:

— Привыкла я тут курить. Каждому свое счастье. Ну а чаще-то и иначе бывает. Не каждому так повезет как Гале-японке.

- Что это за Галя-японка?..

- Была туг милая Русская девушка, маленькая такая, удивительно грациозная, с немного косыми, узкими, словно монгольскими, черными глазами. Очень хорошенькая и добрая. Ее тут и прозвали — «Галя-японка». А тут, подле Потсдамского вокзала, есть ресторан, — Haus-Vaterland (* — Дом-Отечество) прозывается. Там каждый, может найти свое Отечество... Есть баварская, французская, английская кухня, есть турецкая; был там и японский ресторанчик, где подавали японки. И, вот, ушла оттуда служанка-японка. Хозяин поместил объявление, что ищет в ресторан японку служанку. Галя и явилась. Чистосердечно — очень была она милый и хороший человек — объявляет хозяину: «Конечно, я не японка, я Русская, но, как видите, могу сойти за японку». Она даже для такого случая и слова какие-то японские выучила. Хозяину понравилась ее честная откровенность, и он взял ее в ресторан. Надела Галя кимоно, повязалась широким поясом «оби», сделала прическу с гребнем, постукивает деревянными башмачками, приседает, улыбается, — ну, совсем и правда — японка! Посещавшие ресторан японцы ее всерьез за японку принимали... И повадился туда ходить один швед. Ясно: для Гали-японки ходит. Влюбился в нее. Догадался, что она не японка, объяснился в чистую, и увез Галя-японку в Швецию и там женился на ней. Богатый, говорят, человек. Не всякой такое счастье...

— Ну, какое же это счастье?.. На чужой земле?..

— Да если своей-то нет... Вышла же я за Отто... Не жалуюсь. Счастливо живем...

— Да, конечно... Но времена-то были другие. Ты была дочерью богатого мехопромышленника. А Лиза?.. По паспорту — дочь генерала, на деле — дочь рабочего с французского завода... Пролетария...

— В том-то и дело. Во Франции, у тебя, попадет Лиза в Русское, свое общество, может быть, и найдет счастье.

— Я так и думал, когда решился на такой шаг. Да и мне будет радость, скрасит она мои последние, может быть, дни...

У

Лиза принесла альбомы. В них были наброски карандашом, иногда пером, кое-где тронутые акварелью. Барышни в вечерних костюмах, девочки в платьях учениц, с короткими светлыми косичками, с голыми ножками, с книжками в руках, девушки в коротких юбках, с цветами в волосах, с гитарой в руке, юноши и мальчики в легких трусиках и башмаках, голые руки и ноги,

обнаженная до живота грудь . Сцены на лодке, на пляже, игра в футбол, — все верно схвачено, верно нарисовано, полно жизни и движения.

— Ты это срисовывала с чего-нибудь?

— Нет... С природы...

На листе плотной бумаги — голый юноша-атлет. Высоко поднята гордая голова, хорошо посажена на крепкую шею, тело загорело молодым загаром, руки мускулисты, стройные ноги, и только на бедрах очень короткие трусики. Юноша стоит на песке, опершись на весло...

— Это кто же?..

— Так... Товарищ один. Вместе учились... Лиза пунцово, до слез, покраснела. Бурым стало лицо ее отца. Он затаился папирсой, выпустил дым, закутался им, чтобы скрыть смущение, закрыл альбом и передал его Лизе:

— Да-а... У тебя, однако, немалый талант, Лиза. Тебе, может быть, этим и заниматься бы надо, а не философией... Почему ты, собственно, избрала этот предмет?

Так... У нас был один профессор... Он умер теперь... Очень умный человек . Замечательный ученый... Ну, вот...

К счастью для Лизы, в это время пришел дядя Отто. Надо было идти завтракать. Дядя Отто всегда куда-то торопился. Дядя Отто ни слова не говорил по-Русски, знание же у отца Лизы по немецкому языку были такое как знание Русского у дяди Отто... Говорить по-Русски при Отто Карловиче стеснялись. Разговор шел урывками, через переводчика. Дядя Отто постоянно называл Акантова: «general», или «exellenz», и при этом все поглядывал на его огрубелые, с несмываемую машинною грязью, руки, и это еще более вносило холод в разговор и стесняло всех.

За завтраком установили программу, как занимать приезжего гостя. Днем поезжайте с Лизой посмотреть наш Зоологический сад и Аквариум. Такого Аквариума нигде в мире нет, а на вечер я достал для вас и для Лизы билеты на концерт хора Донских казаков Жарова. Вы слышали их когда-нибудь, exellenz?..

Акантов очень много слышал про хор Жарова, но за 16 лет эмиграции ему не пришлось быть на концерте хора.

Ja, natürlich (* — Ну, понятно) ..., — промышал дядя Отто, и опять и, как показалось Лизе, оскорбительно, посмотрел на поношенный пиджак Акантова и медные застёжки башмаков. Лиза вступила в разговор:

— Папе некогда было ездить на концерты. Хор Жарова так редко пел в Париже, и потом, папа все свои деньги посылал мне, или отдавал своим бедным товарищам, — быстро, на безупречном немецком языке, говорила Лиза.

У моего beau-frere'a, — сказала Марья Петровна, — лучшая репутация в эмиграции. Когда у кого-нибудь случается в Русской офицерской среде недоразумение, всегда говорят: «обратимся к генералу Акантову он нас разсудит»... Потому его так и ненавидят большевики.

— Генералу не следует жить во Франции, где большевики так безцеремонно хозяйничают, и где они господа положения, — закуривая сигару, сказал дядя Отто.

Он ничего не имел против этого скромного, полного достоинства, генерала. Он его жалел, и не понимал, как это можно так долго терпеть большевиков и не восстать против них, и потому в его жалости сквозило презрение.

Акантов ни слова не понимал из быстрого обмена фразами Лизы и Марьи Петровны, но чувствовал, что говорили про него, и это его смущало. Чувствовал он и легкое пренебрежение к себе Отто. Он спросил:

— В чем дело, Марья Петровна?..

— А!.. — с досадою сказала Марья Петровна. — Они никогда нас не поймут, и не познают до дна нашего горя.

— Как? Даже и тут, где, кажется, не мало хлебнули из той же чаши...

— Ну... Можно ли сравнивать то, что было здесь, и что было у нас... Они не могут понять, почему мы не восстанем и не сбросим большевиков... Почему у нас нет такого человека, как их Адольф Хитлер... Они не понимают, что Адольф Хитлер им послан Богом, и что десять лет тюрьмы и лишения он готовил свое движение... В эмиграции это невозможно, а в самой России, там не тюрьма, а разстрел... Но Отто тебя любит...

Дядя Отто сидел молча, курил сигару и прихлебывал из маленькой чашки черный кофе. Высокая, стройная, нарядно одетая горничная служила за столом. От давно невиданного, давно не испытанного комфорта, от кофе, от коньяка, у Акантова кружилась голова. Совсем в другой мир он попал, мир сытый, довольный, победно шествующий и торжествующий победу... В этом мире жила и воспитывалась Лиза. Акантову стало страшно, на что он повезет из этого мира свою дочь?..

VI

Донской казачий хор Жарова был известен всему миру, но особенно он был любим и ценим в Германии. Необычайная гармония пения, с одной стороны, с другой — лихость, бодрость и мужественность Русской, солдатской и казачьей песни, чувствительность Русского романса, нашли отклик в немецкой душе и удовлетворили ее вполне. Мужественная была песня и нравилась мужественному народу, смело выступившему в борьбу за право жить. Концерты Жаровского хора равно расценивались в Берлинской публике, как большое музыкальное явление, и как явление общественное. Ученые, профессора музыки и пения, маститые меломаны, ученики и ученицы музыкальных школ и консерваторий, и просто молодежь, любящая Родину, славу, честь, бодрость и победу, восторженно приветвовали казачий хор и искренно любили его. Все в нем нравилось: скромная военная форма, лихая, уже и точно не солдатская, а особенная, «казачья», выправка, чистота почти военного построения, и маленький их «диригент» с горделиво поднятой головой, с быстрыми, нервными движениями, умением довести дисциплину хора до чуда.

Когда Акантов с Лизой поднялись из «Унтергрунда» — подземной дороги — на Потсдамер-плац, народ густою толпою шел по площади.

Постой, — сказал Акантов, — что-то я задышаться стал. Или это лестница крутая? Раньше за мною этого, как будто, и не замечалось.

Городские огни блистали кругом. Дугами, столбами, нитями до самого верха домов перевивались рекламы, образующая буквы... «Haus-Vaterland», — «это где была Галя-японка», — подумал Акантов. «Kempinsky». Рестораны, варьете, кинематографы звали к себе, манили рекламами, вывесками, витринами с фотографиями. Все не мог привыкнуть Акантов к большому городу. Шестнадцать лет прожил в еще более шумном городе, а словно и не видал его. Теперь громады домов давили его. Толпа волновала, блеск огней, вывесок внизу, наверху, точно висящих высоко в небе, ослепляли. Иначе все это было в его время в России. Город в жизни Акантова не играл никакой роли и не занимал места в его душе.

Акантов взглянул на небо. Оно показалось ему клочками между крыш. Одна половина его клубилась густыми, черными, грозowymi тучами. Еще далекий, почти и не слышный за грохотом города, гром там поваркивал недовольно. Другая половина была бледно-синяя, выцветшая, с розоватым отливом. Сентябрьский день догорал там.

Ни узкой Котенер-штрассе казалось темно. Редкие горели вдаль вывески «Telschow»... «Bader»... У темного перекрестка толпа сгустилась, и, как вода в воронку, вливалась в широкие ворота огромного дома. Стрелка часов, висевших над воротами, показывала восемь.

В Берлинской филармонии, где был концерт Жарова, было много разных зал. В одних давались концерты, в других танцевали. В широком, смутно освещенном, дворе-проходе толпился народ. Женщины в бальных платьях, с обнаженными спинами, с юбками, узкими в коленях и с широкими кейфами из легкой материи у носков, с завитыми блестящими волосами, оправляли прическу около больших зеркал. Мужчины во фраках и смокингах их сопровождали.

— Ты любишь танцы, Лиза?

— Да!.. Очень!..

Подхваченные людскою рекою, Акантов и Лиза подавались по широкому проходу, где с одной стороны были вешалки для платья, к высоким дверям, занавешенным тяжелым малиновым бархатом.

Акантов давно не был в театре, в большом зале, в нарядной толпе. Он и до войны редко когда бывал в театрах, а с войной про них и совсем позабыл.

Величина залы Филармонии его поразила. Много тут было золота, блеска, аляповатой роскоши. Множество народа, молодых людей, барышень в вечерних туалетах, в дорогих мехах и в

простеньких шелковых блузках. У одних были завитые локоны на темени, точно неуклюжие рога, у других длинные косы, красиво уложенные на затылке, у третьих коротко, по-мальчишески, пострижены были волосы, одни были покрашены, другие не покрашены, одни толстые, другие тонкие, грациозные, красивые и некрасивые, — Русские и немки, — у всех одинаково блестели глаза, восторг ожидания большого художественного наслаждения был на улыбающихся лицах.

На эстраде, тесно, в несколько ярусов стояли стулья. Там сидела молодежь. За нею на стене были малиновые панно в затейливых филигранных золотых завитках и орнаментах. Две статуи муз, с лютней и цитрой, желтоватого алебаstra были по сторонам панно.

Кресла, два яруса лож, галереи — все было полно. Огромный зал был битком набит.

Акантов сел на свое место. Он думал, как одичал он за это время фабричной жизни. Ему жутко было в нарядной толпе.

Лиза в полголоса переводила отцу программу. Сзади говорили по-Русски.

— Смотрите... Сам Владыка пожаловал.

Осанистый старик, с простым Русским лицом, в седой бороде, с длинными волосами, в черном монашеском клобуке, проходил перед эстрадой к первому ряду. Два человека в смокингах подошли к нему под благословение и поцеловали руку. Лиза бормотала рядом:

— Литургия верующих, Гречанинова... Хвалите Имя Господне, Тшеснокова.

Акантову было досадно, что Лиза перевирает слова, не справляется с Русскими именами.

Вдруг гром аплодисментов бурей налетел на зал. Начался наверху и загремел в низах.

Из правой кулисы, бодрым военным шагом, входил на эстраду высокий, выправленный человек с длинной русой бородой, со строгими, умными глазами... За ним, в ногу, в строгом порядке, шли хористы хора Жарова.

Акантов смотрел на них, не отрывая глаз, не слушая больше Лизу. Видение ушедшего мира было перед ним. Черные Русские рубашки были стянуты тонкими казачьими ремешками, широкие синие шаровары с алым лампасом, высокие сапоги, — все было очень просто и, вместе с тем, по военному щеголевато. Один в затылок другому, стройной шеренгой входили они, останавливались, поворачивались по уставному налево, на левом каблуке и на правом носке — «ать-два», приставляли ногу и становились в передней шеренге, заложив руки за спину, в задней — сложив руки на груди.

Но, понимал Акантов, сознавал, что не в этом было дело: не в высоких, прекрасно начищенных Русских сапогах, не в шароварах, не в выправке, не в строевом чинном порядке и ранжире, а в том, что Акантов вдруг увидел своих... Он, кажется, никого тут не знал, никто из них с ним не служил, а были они ему родными, были его сослуживцами, товарищами по войне. Вот этот великан с русой бородой, с сурово глядящими глазами, не он, разве, вел на Карпатах батарею, сидя на рослом караковом коне?.. А тот, второй с левого фланга, молодой, красивый, с серьезными глазами, не ему давал о разведке приказание Акантов, и был он тогда лихим корнетом конного

полка?.. Тот командовал батальоном, а этот, седой, был с казачьей сотней второй очереди при его полку... Необычайно родные лица были у них. Как сохранили они свое «Русское», пронеся его за годы скитаний через все страны света!..

Акантов не знал этих людей, а все с тревогой и сладким умилением, с замиранием сердца, всматривался в лица их и ощущал, как давно не испытанное им чувство Родины все сильнее и сильнее охватывало его и какая-то теплая волна заливала его сердце и туманила глаза.

Аплодисменты все нарастали и, наконец, достигли страшной силы. Зал потрясся от них.

Быстрыми шагами на эстраду вышел дирижер. Высоко подняв голову, блистая глазами, со строгим, серьезным, чуть скрашенным улыбкой лицом, он легко вскочил на подиум и поклонился публике.

—Я-рофф!.. Я-рофф!! - неслось сверху. Чей-то высокий женский истерический голос покрывал все остальные.

— Вот он, наш соловушко, — сказала впереди Акантова дама с седыми, серыми, коротко остриженными волосами.

Ей ответила худенькая, стройная барышня в больших очках:

— Посмотри, мама, у Василевского борода стала еще длиннее.

— Очень он хорош, — сказала седая дама.

Жаров по военному повернулся кругом на подиуме и стал лицом к хору, аплодисменты мгновенно смолкли. Наступила строжайшая, молитвенная тишина.

В эту тишину вошел рокочущей октавой, будто и не громкий, но далеко несущийся голос.

Василевский читал ектению. Из-под нависших, густых бровей сурово сверкали его глаза. Едва заметно было шевеление большой бороды. Мощный бас рокотал по залу:

Вся святые помянувшие, паки и паки, миром Господу помолимся...

Будто не люди, но подлинно Лик небесный, Ангельский Лик, вздохнул чистым, прозрачным вздохом:

— Господи помилуй...

— О принесенных Честных Дарах...

Акантов уже не видел зала, не чувствовал толпы зрителей кругом. Кровавые годы войны, голодные годы тяжелого физического труда, нищеты и никчемного существования куда-то умчались. Из далекой, незабываемой глубины появились и поплыли перед глазами картины Родины-дома... того, что было. Исаакиевский Собор и торжественные службы в нем. Зимний холод и сумрак огромного храма, мягкий аромат ладана и воска, малахит и ляпис, лазурь золотого иконостаса, металл, отражающий огоньки свечек, и вот такое же совершенное пение митрополичьего хора. Истовое православное богослужение.

«Боже, Боже мой», — думал Акантов, всюю душой, всем сердцем уходя в слух, — «что мы потеряли! Как, могли мы все это так легко оставить и сдать? Как не отстояли мы свою Россию от вражеской силы!.. Как смели мы не победить и остаться живыми?..».

Раздавшиеся после ектений рукоплескания были сдержанны. Молитвенное настроение охватило зал.

— Glanzend!.. Prachtvoll!.. Unglaublich!.. — раздавалось кругом Акантова (*—Блестяще! Великолепно! Невероятно!).

— Как это достигнуто!.. Это орган, а не живые люди!..

Уже колебались, колыхались в воздухе осторожные, почтительные, воздушные, точно и правда в облаках кадильного дыма несущиеся, порхающие около Царских врат «Заповеди блаженства». Акантов видел, как медленно и торжественно идет «малый выход». Огромное, золотое Евангелие лежит на плече рослого, красивого дьякона. Акантов слышал и воспринимал всем сердцем слова:

— Блаженни есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глогол на вы лжуще Мене ради...

«О, сколько, сколько поносили нас за эти жуткие послереволюционные годы», — думал Акантов,

— «сколько лгали про нас. Точно ложь воцарилась в мире».

А с эстрады, успокаивая его, несло радость:

— Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех... Акантов не концерт слушал, а иставал в горячей молитве, такой, какой в храме не испытывал. Он переживал свое старое, когда горячо верил, когда еще ходил в церковь, веруя, что в ней, в Христе, истина, когда не искал ее, как ищет теперь, разуверившись в Церкви.

В антракте все задвигались, встали, пошли размять ноги, покурить, поболтать со знакомыми. У входа в кулисы толпилась молодежь, несла карточки Жарова, чтобы получить его автограф. Акантов стал в проходе, смотрел на идущих мимо людей, стараясь, среди немецкой речи, уловить ухом Русскую речь.

Высокий, худощавый человек с седеющими русыми волосами, нервно говорил маленькому седому старичку:

Не понимаю этих восторгов Жаровским хором. Модернизировано... Под иностранца сделано. Надо послушать наш Московский синодальный хор, или хор Московской оперы; там, батенька мой, чистое искусство, подлинная народная душа, а выше нашего народа в искусстве никого нет.

— Да где вы это, Александр Иванович, услышите, когда все это отняли от нас?

— Выдуманно...

— Да что вы, профессор, выдуманно, да где же выдуманно? Не свое они поют, а Гречанинова, Чеснокова, Кастальского, старые напевы Киевских церквей, — возразил старик.

— Может быть... Очень может быть... Мне не нравится. Вы понимаете, меня это не удовлетворяет!.. Они пошли в проход.

— Лиза, — сказал Акантов, обращившись к дочери. — А как ты? Тебе понравилось?.. Почувствовала ты силу православного песнопения?.. Спокойные синие глаза прямо в глаза посмотрели Акантову. Они сейчас же и прикрылись ресницами. Тихо сказала Лиза:
— Мне трудно судить об этом, папа. Кажется, — да... Очень хорошо. Немцы-то в каком восторге!.. Но я?.. Я этого не понимаю...

VII

Лиза, пока выходил и выстраивался на эстраде хор, объясняла по программе отцу, что сейчас будут петь ораторию, сочиненную Жаровым и положенную на музыку композитором Шведовым:

— Это — история последних лет России, — торопилась Лиза своими словами рассказать. — Тут, значит, Дон, мобилизация, тревога, война, революция, молитва за павших...

Чуть слышно, в хоре на губах проиграли тревожный сигнал, и разом, громко, дружно и плавно грянул так хорошо знакомый Акантову Донской казачий гимн:

Всколыхнулся, взволновался

Православный Тихий Дон,

И послушно отозвался

На призыв Монарха он...

«Да, да», — кивая в такт пению, думал Акантов. — «Да, так оно и было. По Государеву слову, весь Дон поднялся на защиту Родины. Так и в 1812-м году не поднимались казаки: поголовно встало войско Донское по Государеву приказу. Все казачьи войска выставили много больше, чем то было положено по плану»...

Акантов слушал дальше: — два Государства, которым сам Господь указал жить в дружбе и мире, поднялись одно против другого и пошли истреблять друг друга... Грянул хор немецкий гимн:

— Deutschland, Deutschland uber Alles, uber Alles in der Welt (* - Германия, Германия над всем, над всем на свете!)!..

И, будто навстречу гордым словам, полились, поплыли, заливая душу восторгом, великие, святые каждому Русскому драгоценные, слова:

Боже царя храни...

Сильный, Державный,

Царствуй на славу,

На славу нам!...

«Трр-дам... Трр-дам... Тррр-дам», - все ускоряя темп, отстукивают по рельсам красные коробки вагонов воинских поездов. Идут, несутся на вой-ну солдаты... Хор пел:

Мы смело двинемся вперед!...

Мы — Русские солдаты!..

Пошли стрелки Акантова...

Что это за страшные выкрики в хоре? Почему бодрую песню вдруг сменило погребальное, панихидное пение?.. С правого фланга из задней шеренги кто-то сказал страшным, за душу хватающим, печальным, глубоким, из самого сердца идущим голосом:

— Прощайте, все друзья!..

— Прощай, моя Родина!..

— Прощай, мой дом... И ты, Тихий Дон!..

Кто это сказал?.. Акантов знает этого широкоплечего, загорелого, с темным румянцем на щеках, человека. Как скорбны его темные глаза, как страшно смотрят они из-под нахмуренных бровей, и сколько в них неизжитой печали и скорби?.. Это Бажанов-Корниловец!.. Корниловец Бажанов!.. Сколько раз вместе дрались Акантов и Бажанов с большевиками. Скольких своих друзей, соратников схоронили они в глухих степных могилах... И, угадывая мысли Акантова, со страшным горем возглашает Бажанов:

— Вечный мир и покой пошли, Господи... Всем павшим на поле брани... Гудит, густым органом поет под сурдинку хор: «Вечная память!.. Вечная память!..».

— Всем погибшим от ран и болезней... Слезы застилают глаза Акантову. Сквозь нахлынувшие печальные мысли, он слышит, как гремит торжественно хор:

Слава нам, войску Донскому,
Слава нашим казакам,
Войсковому атаману,
И станицам, и полкам...
Поднялся Дон...

Бегут слезы из глаз Акантова, текут по щекам, падают на усы, капают на черный пиджак. Мешают глядеть, не дают слушать думы и воспоминания... Что это?.. Старость?..

Уже не в силах владеть собою, Акантов плакал крупными слезами. Лиза дергала отца за рукав:
— Папа!.. Папочка!.. Не надо!.. Не надо так!.. Люди тут!.. Увидят!.. Посмеются!.. Нехорошо, папочка!

Акантов не слышал дочери.

VIII

В антракте к Акантову подошел среднего роста плотный черноволосый человек неопределенного возраста:

— Ваше превосходительство, — развязно сказал он, протягивая руку Акантову. — Егор Иванович не признаете?.. Какими судьбами?.. Каким ветром вас занесло в наши края?..

Акантов вглядывался в говорившего. Большая круглая голова, со щеками хорошо проложенными салом, без морщин, с толстыми, чувственными губами, небольшие узкие глаза с искоркой, — не разберешь: дружеской или хитренькой. Говорившему можно было дать и двадцать пять лет, и все сорок пять. Неопределенное было лицо, международное. Пусты в любом городе в толпу — так сольется с ней, так растворится, что никакой сыщик не найдет его и не узнает. Русский?.. Немец?.. Кто хотите. Густые черные волосы продернуты легкой сединой, острижены по моде — у ушей и на затылке наголо; синяя кожа сквозит, на макушке волосы торчат вихром. Крошечные, стриженные усики, очень гладко, до блеска бритые щеки, хороший костюм, пестрый вульгарный галстук с бриллиантовой булавкой... Таких людей механизированный двадцатый век стандартом производит тысячами, — пойдешь, узнаешь, кто он?..

Простите, — начал Акантов, но незнакомец, теплой пухлой ладонью сжимая руку Акантова, прервал:

Э, полноте, где же вам всех упомнить?.. Я — капитан Лапин. При вас еще и капитаном не был. А вы не изменились нисколько... Все та же блестящая стрелковая выправка. Мы обожали вас за нее. Стрелки говорили: «Наш стрелок Акантов»... Только, вот, усы чуть побелели и короче вы их носите теперь. Да, не поверишь, а годы, годы пронеслись, промчались, как мгновение, как миг...

Этот человек брал нахрапом, напористостью, наскоком. Он колдовал словами, завораживал, как змея, пристальным глазом усыплял свою жертву своими маленькими глазками с искоркой. Он говорил непрерывно, словно боялся дать Акантову сказать слово. Как из пулемета, летели у него слова. Он говорил по-Русски с теми полуиностранными оборотами и не то местечковыми, южнорусскими, не то взятыми из заграницы словами, как говорят Русские мало говорящие по-Русски. И не мог определить Акантов, то ли этот капитан Лапин знал его стрелком в полку, то ли был откуда-то взявшийся, неведомый человек торговли, денег, широкой совести, коммивояжер или адвокат из мелких.

Лиза увидела знакомого в толпе и сошла со своего кресла. Лапин сейчас же пробрался на ее место и сел рядом с Акантовым:

— Вы не пойдете курить? .. Не стоит. Право. Там — толчея. И накурено!.. Дым, как коромысло. Я видел ваши слезы, ваше превосходительство. Святые, великие слезы Русского человека. У меня самого под глазами щипало и за сердце брало. Как поют! И все это наше, Русское, великим народом Русским созданное! А видели, какой восторг... Это новое казацкое завоевание Германии. Помните в 1807-м году атаман Платов на реке Писсарге в Пруссии, и в 1813-м году казаки, как желанные гости, освободители Берлина?

Он знал историю. Он подкупал Акантова сердечностью голоса и искренностью глубокого восторга и патриотизма:

— Поди-ка, тогда тоже так обвораживали казаки немков своими залихватскими песнями со звонким подголоском. Скрипка. Флейта. Я всех их знаю. Услышите, как поет Болотин! Не поверите,

что это голос, а не инструмент. Я никогда ни одного их концерта не пропущу. Я обожаю все Русское. Я жить не могу без России...

Тут Акантов хотел сказать, что он тоже любит Россию, но прервать поток слов Лапина не было возможности. Лапин положил горячую руку на колено Акантову, как бы останавливая его, и продолжал:

— Вот говорят и пишут... В эмигрантских газетах пишут. России нет... Сплошной Эсесесер и жид в нем. Э!.. Нет!.. Россия живет, несмотря ни на какого там жида. Под серым пеплом коммунизма, какими горячими угольями пылает Россия! Только раздуть, батюшка, этот уголь надо!.. Ваше превосходительство, добрейший Егор Иванович, прошу вас... Если хотите еще раз и еще сильнее, глубже и ближе почувствовать Россию, на пару часов очутиться в Москве, это же волшебю будет!.. Услышите тамошний говор, тамошние песни... Вы надолго здесь?..

— Я послезавтра уезжаю, я здесь... — только успел сказать Акантов, как Лапин перебил его:

— Голубчик, дорогой мой!.. Окажите честь, не побрезгайте старым соратником. Пожалуйста завтра к восьми ко мне... Послушаем Москву! У меня радио — нечто сверхъестественное. Послушаем, и вы увидите, что наши эмигрантские страхи-ужасы: трень-брень, ерунда-балалайка!.. Россия живет! И мы с вами, как на ковче-самолете, спустимся в самую Москву, только что не увидим ее. Это же будет великолепно. Я покажу вам, батенька, столько Русского, что ваше сердце умилится. Вы где же остановились?..

Акантов не успел ответить. Лиза пробиралась к своему месту. Ее красивое лицо было оживлено, голубые на выкат глаза сияли счастьем, улыбка играла на щеках.

Лапин встал, уступая ей место:

— После этого отделения я подойду к вам, ваше превосходительство, — сказал он, — мы сговоримся с вами на завтра...

Лиза села рядом с отцом. Ее глаза были опущены. Холод скрытности смыл со щек улыбку счастья и оживления.

Лиза спокойно спросила отца:

— Ты нашел здесь знакомого?..

— Да, То есть?.. Я, собственно, совсем не помню этого человека. Но он уверяет, что мы служили вместе. Может быть, был вольноопределяющимся в полку? Хотя?.. Я всех своих вольноперов помню. Зовет завтра вечером к себе...

— Ты пойдешь? — спросила Лиза, и на мгновение ее глаза снова вспыхнули синим огнем.

— Не знаю... Зачем я к нему пойду?.. Совсем чужой человек...

— Отчего бы тебе, папа, и не пойти к нему, а я тем временем спокойно уложилась бы...

Акантов не ответил. Он снова напряженно смотрел на эстраду. Парадным военным шагом выходили на нее Жаровские казаки. Гром аплодисментов не смолкал.

IX

Русская народная и солдатская песни вызывали бешеные восторги:

Как на горе — калина

А под горою — малина...

Ну, что-ж, кому дело калина?

И кому дело — малина?

Каждый звук, каждое слово этой старой, старой песни сильно и нежно толкали в самое сердце Акантова, и сердце пело вместе с песней, улыбалось тонкой усмешкой, вызывало далекие юношеские образы. Точно снова видел себя бравым юнкером Александровцем, видел большие подмосковные села, и на горе, в садах, калину, а по взгорью, на высоких шестах, как виноград, малину...

Там девицы — гуляли.

Да, там, красные, гуляли...

Русских девушек, крестьянок видел Акантов, в легких рубашках, в монисто и бусах на белых шейках, в просторных, в сборку, пунцовых юбках, яркозубых, смешливых, веселых, острых и метких на язык. О, как хотел теперь Акантов хотя бы на миг, увидеть все это, — увидеть Россию!.. Как захотелось ощутить запах Русской деревни: соломенного дымка, ладанный аромат

хворостовой растопки, крепкий запах коровника, вкусный вяжущий дух горячего хлеба, только что вынутого из печи, и махорочный запах мужика и овчины. Хоть на часок попасть в Россию...

Уже была выполнена хором вся обещанная программа, а публика не расходилась. Гремели аплодисменты по залу:

— Я-рофф!.. Я-рофф!.. - неслось, с боковой верхней галереи. По залу, стучали ножками стульев.

Барышня, немка, студентка или консерваторка, со светлыми стриженными волосами, копной торчащими на голове, перегибаясь совсем через барьер галереи, неистово аплодировала, и, блистая восторженными глазами и оборачиваясь к стоявшим сзади нее студентам и девушкам, командовала:

— Eins, zwei, drei, Jaroff (* - Раз, два, три...) !

Вся галерка, по ее команде, орала в голос:

— Я-рофф!.. Я-рофф!..

— Eins, zwei, drei, Я-рофф!.. Я-рофф!..

Жаров без конца выходил. Лицо его сияло благодарным восторгом. Зал потрясался громом рукоплесканий, криками и стуком ножек стульев.

Снова показалась русая борода, бодрой походкой выходили певцы и выстраивались. Служитель Филармонии, в черном широком фраке, согнувшись, утянул с эстрады подиум. Весь зал повскакал с мест, публика придвинулась, стеснилась толпою у эстрады. Сидевшие сзади хора на эстраде сошли с мест, забегали вперед, чтобы видеть, что будет...

Мерно, дружно и весело, вызываяще на пляску, начал хор:

Посею лебеду на берегу,

Посею лебеду на берегу!..

— Ну, вот и Лазарев выходить плясать, — сказала седая дама, сидевшая впереди Акантова.

Она пошла вперед, за нею пошел и Акантов; ему тоже хотелось, как и всем, поближе и получше видеть пляску казаков. Акантов очутился подле молодой, хорошенькой женщины, такими веселыми, радостными, счастливыми глазами смотревшей на эстраду, что радость и, счастье ее, казалось, разивались вокруг.

Из-за левого края певцов, свободной походкой, в раскачку, широко размахивая руками, вышел молодой красавец-казак. Едва держалась на темных кудрях его армейская фуражка с красным околышем, шаровары были широкие, «как Черное море», вид лихой и уверенный... Он вышел, улыбаясь, взмахнув руками и пустился в пляс:

Мою крупную разсадушку

Мою крупную, зеленую...

Все лише, скорее и чаще пел хор. Пронзительно свистал казак с веселыми глазами. Его сосед закрывал рукою ухо от оглушающего неистового свиста...

Погорела лебеда без воды,

Погорела лебеда без воды...

Танцор прыгал выше своего роста, переворачивался в воздухе, крутился то лицом, то затылком к публике, шаровары раздувались пузырями; странно было, что не спадала с головы фуражка. Вдруг приседал, каблучки пали дробь, вскакивал, и снова поднимался на воздух... Вот, чор-р-рт!.. Чисто чор-р-рт!.. — восторженно говорила хорошенькая дама, вся расплываясь в радостной детски чистой улыбке. Танцор сделал последнее движение и отошел за хор; ему на смену вылетел диким страшным прыжком другой, такой же молодой. Голубая, атаманская фуражка была заломлена на бок. Он начал с невероятных прыжков, с удалой присядки, и ему сейчас на подмогу выскочил и первый. Они летали по воздуху, точно для них не существовало закона притяжения... Молодчина, Пискунов, — сказала дама. — Не знаешь, кто из них лучше?.. Теплая, мягкая рука схватила Акантова за руку. Голос Лапина говорил за ним:

— Я к вам, ваше превосходительство. Условимся. Где вы остановились?

— В пансионе, на Байеришер-плац.

Так это же буквально пара шагов от меня. Я приду за вами завтра ровно в восемь. Вы увидите, вы услышите, и вы поймете, что Россия жива... А эти, показывая на танцоров, сказал Лапин, — чисто дервиши... Вы видели, ваше превосходительство, вертящихся дервишей?.. Нет... Ну, так эти же лише!.. Много лише!.. До чего, знаете, талантлив Русский народ... Так ровно в восемь я зайду за вами. У меня вы и поужинаете... На пару часов в Москву!..

Акантов не успел ответить. Толпа зашевелилась, подаваясь к выходу. Лапин исчез в толпе. В конце зала гасили огни. Впереди, у эстрады, все стояла, не расходясь, толпа. Рукоплескания и вызовы не прекращались...

— Я-рофф!.. Я-рофф!.. - вопили с галерки.

На самой эстраде барышня, в коротком платье и с дыбом стоящими волосами, в каком-то экстазе хлопала в ладоши, ногами выстукивала чечет и визжала от восторга...

Хор вышел и построился:

Коль славен наш Господь в Сионе,

Не может изъяснить язык...

Весь зал примолк и притих. Священная стала тишина. Этот мотив гимна| одинаково хорошо знали, как Русские, так и немцы. Слова Хераскова, музыка Бортнянского, он пришел в Германию из России, и тут привился и окреп.

Акантову казалось, что не пение он слышит, но играет где-то молитвенно стройно и тихо прекрасный военный оркестр. Спазма сжала горло Акантова. Скольких друзей-товарищей проводил он под звуки этой молитвы к месту последнего упокоения... Играли его и в городе, где, он служил, и на поле брани, где еще не остыла земля от разрывов гранат и горячей человеческой крови. Каждый перелив пения вызывал в памяти Акантова величественно печальную картину.

...Из церковных дверей, колышась на руках офицеров в парадной форме, показался гроб... Кивер и шашка на нем... Венки... Артиллерийские лошади натянули построжки лафета... Музыканты играют «Коль славен»...

Велик Он в небесах на троне,

В былинках на земле велик...

Всякий раз тогда Акантов думал: «Будет день, когда и мое тело понесут из церкви мои товарищи, а стрелковый оркестр, плавно и медленно, будет играть «Коль славен»... Услышу ли я тогда из гроба эти молитвенно прекрасные звуки?..

Тебе в сердцах алтарь поставим,

Тебя, Господь, поем и славим...

Теперь понял: - никогда этого не будет!..

В толпе, у выхода, немцы, ценители музыки, говорили:

— Musikfanatisch!.. aberja beschworerisch gefuhrte Russenchor!

— Welche urtiefe machtige Basse und knabenhaft helle Tenore!

— Ganz wie eine Vision die verlorene, doch treugliebte Heimat.

— Meiancholie... Kraft ostlicher Volksart!

— Orgel aus Menschenstimmen!..

Лиза переводила отцу: «Фанатичная музыка... Изумительно ведомый Русский хор.. Какие глубокие, мощные басы и детски чистые тенора... Будто видение потерянной, но верно любимой Родины... Меланхолия... Сила восточного, народного искусства... Орган из человеческих голосов...».

— Много они понимают!.. Ты то, Лиза, поняла все?.. Тебе понравилось?..

— Конечно, папа. Я в восторге... На улице было свежо. Осенняя ночь спустилась над городом. Гроза за время концерта пронеслась и пролил ливень. Черные асфальты блестели, как река, отражая огни. У панелей шумела вода, стекая в сточные трубы и крутясь воронками. Омытый грозой, молодой месяц висел над домами. Черные тучи ушли за город. Вдали частыми и долгими ударами рокотал гром. Гроза стихала, уходя за город.

В темной улице толпа все не расходилась. Русская речь мешалась с немецкой. Вдруг какой-то, словно призывный, свист раздался за спиной Акантова. Лиза вздрогнула и приотсталась. Акантову показалось, что это она сказала кому-то: Morgen... Abend (* - Завтра... Вечером)!..

Х

На другой день, ровно в восемь, в комнату Акантова постучали. Лапин пришел за Акантовым. Хотел, было, Акантов отговориться от ненужного посещения, но отговориться от Лапина оказалось невозможным.

Это и правда было «два шага» от пансиона, где остановился Акантов. Они поднялись на лифте на пятый этаж. Лапин своим ключом, не звоня, открыл дверь:

— Я не буду зажигать огня. Так будет лучше. Больше настроения, — говорил Лапин, пропуская Акантова в длинную переднюю, похожую на коридор. В глубине чуть показывалась мутными стеклянными просветами большая дверь. Акантов ощупью пробирался к ней.

— Вот сюда, ваше превосходительство... Здесь вешалка. Как пели вчера эти казаки!.. С ума можно сойти. По душам хватали... Сердце кошками скребли... И танцоры!.. Изумительно!.. Это был уголок России. Я вам покажу саму Россию... Москву!.. Пожалуйста за мной...

Они вошли в комнату, с дверью, открытой на балкон. В густых сумерках были видны дома тяжелой, старой, готической архитектуры. Было тихо в этом уединенном квартале.

В полутемной комнате Акантов разглядел иконы. Под ними была угольником полочка, с полочки свешивалось расшитое петушками Русское полотенце. На полочке — темно-синяя, как чаша, лампада. В ней теплилось неподвижное пламя. Среди чуть видимой, намечавшейся темными контурами, тяжелой немецкой мебели, — диванов с высокими спинками, с полками на них, установленными бронзовыми блюдами, раскрашенными гипсовыми статуэтками гномов и баварских крестьянок, с картинами на стенах в широких рамах, — божница и лампада казались нарочитыми и бутафорскими. Иконы были старые, в золотых и серебряных окладах, — не то свои фамильные («вряд ли», — подумал Акантов), не то купленные в антикварном магазине. Акантов знал, что в Русской эмиграции была «мода» на старые иконы, и люди, часто вовсе не верующие, скупали чужие родовые иконы, проданные от нищеты и голода.

— Сюда, дорогой Егор Иванович, вот в это кресло. Здесь вам будет хорошо. Вам не дует с балкона?.. Да, вечер такой теплый. Смотрите на улицу. Знаете, как в Москве, где-нибудь там, подальше, в каком-нибудь Спасопесковском переулке. И, видите, в темнеющем небе крест на колокольне. Не Русский, восьмиконечный крест, а все-таки — крест...

Мягкие бока кресла охватили Акантова. Подле него узким длинным шкафом стоял, должно быть, очень дорогой, аппарат радио. На нем засветилась пестрая табличка, испещренная цифрами и названиями.

— Подождем момент. Сейчас девятый час. По ихнему одиннадцатый. Концерт у них. Сосредоточьтесь... Знаете что? Еще лучше — закройте глаза... Полнее будет иллюзия.

Чуть зашипело и щелкнуло в аппарат(е), и сразу и так громко, что, казалось, что голос шел из самой комнаты, приятный, красивый баритон запел:

Хороша страна наша родная,

Там есть степи, горы, реки и леса.

Я другой такой страны не знаю, —

Жить хотел бы в ней я без конца...

Так певали, бывало, у самого Акантова лихие песельники в его полку. Такой же был у запевалы чистый, молодой голос, и так же замирал, понижаясь, он, к концу запевка.

Хор подхватил песню. Он не понравился, не удовлетворил Акантова. Куда же ему было до Жаровцев! Точно пели старики в больших кустистых бородах. Что-то угрюмое, дремучее было в пении. Акантов думал: «Рабство под еврейским кнутом должно было сказаться. Иначе и быть не может. Нет тут по-настоящему лихого пения. Будто и не смеют широко открыть рты. И веет от этого пения чем-то необъяснимо жутким»...

Акантов хотел сказать это Лапину, но тот зашептал, сжимая горячую руку Акантова:

— Москва... Слышите, милый, —Москва!.. А какой го-лос-то!.. Голосина-то какой!.. Я знаю, — это концерт красноармейской песни... Какая прелесть!..

Звонкий, наигранно высокий, форсированный, как поют в деревне парни под гармонику тенор хватил с залихватским перебором гармонных ладов:

Всю вселенную объехал,

— Нигде милой не нашел,

А в Москву возвратился,

— Вот, где милую нашел...

— Чувствуете, милый, любовь к Родине?.. Ах, черт его подери совсем... Вот едрёна Матрена!.. Всю вселенную объехал, а милёнка-то его в Москве оказалась!.. Да, так, батюшка, оно и есть. Так и есть, ваше превосходительство, дорогой Егор Иванович. Мыкаемся, мыкаемся мы по белу свету, а разве забудем мы когда-нибудь Россию?.. Все клеветаем мы на советскую власть. Э!.. Что она?.. Подробности... И при царях то же самое было... Жандармы... По этапу высылали... Каторга... Везде

одно и то же. Рая на земле нет нигде. И где оно лучше-то? Везде расправляются с врагами режима. Так нам и политическая экономия указывает. Нельзя, значить, без этого .. И никаких!.. А Россия?.. Россия — она, матушка, стоит, как гранитный монолит, как скала в бурю... И, знаете что, вот поставлю я вечером, в шесть часов, Москву, станцию Коминтерна, и слушаю... Оперу, батенька мой, слушаю... Да какую!.. Ах, черт возьми!.. «Евгений Онегин», «Снегурочка», «Чародейка», сколько романтики, сентиментализма, дворянских пережитков, какие рукоплескания!.. Сажу в кресле, и думаю, да почему, в самом деле, и я сам не могу там сидеть, и тоже хлопать в ладоши и кричать со всеми — бис!.. бис!?. Ведь, это все наше. Это столько же их, сколько и мое. Почему мы с вами не можем там быть?..

— Там — большевики... Нас с вами разстреляют, — глухим голосом сказал Акантов.

— Вас-то за что?..

— Ну, мало ли... За прошлое — генералом был... «Кровушку народную лил»

За настоящее... Пока мы держим эмиграцию в любви к Родине, к России, и возбуждаем ненависть к большевикам « жутко советской власти... Понимаете, не устоит она, пока мы живы... Мы открываем глаза иностранцам на сущность большевизма, мы показываем всю ее мерзость. Мы говорим ту правду про советскую власть, какую, без нас за граница никогда не узнала бы... Мы раскрываем большевистскую ложь... Наконец, мы...

Акантов замолчал. Он вдруг заметил, что Лапин прикрыл радио, что он забыл обычную свою болтливость, и, напротив, напряженно, ловя каждое слово Акантова, слушает его речь и точно записывает в своей памяти...

Будто нечто жуткое вошло в комнату и ледящим холодом охватило Акантова «Да что это я? Да где я? Почему так разболтался?» — подумал Акантов, и оборвал речь на полуслове.

Лапин мгновенно повернул колесико аппарата

— Внимание, товарищи, внимание!..

Ясно, четко выговаривая каждую букву тем Русским говором, какой уже стала утрачивать эмиграция, говорила женщина, и Акантов старался представить ее себе какая она — молодая или старая, как одета, сытое и довольное у нее лицо или лицо измученное и запуганное.

—... Концерт красноармейской песни закончен. Через две минуты слушайте передачу концерта из Клуба красной армии. Народная артистка, орденосеица Нежданова, исполнит несколько романсов.

Лапин заметил смущение гостя. Он оказался более чутким, чем то можно было от него ожидать. Он заговорил о другом, будто и не был затронут острый и больной эмигрантский вопрос.

— Нежданова, — с обычной своей бойкостью заговорил он. — Вы помните, ваше превосходительство, Нежданову? Большая артистка и с хорошим классическим репертуаром. Говорят, теперь жена лучшего тамошнего, композитора и дирижера Голованова. Знал я когда-то и его. С ученической скамьи, — он у Кастальского учился, — в профессора! Самонадеянный, гордый... «Зеленая жаба», звали его. Пошел к большевикам. Другие как Жаров, ушли в белое движение, сражались на Дону скитаются теперь с Русской песней по свету, чаруя уроками Московской консерватории иностранцев. Ушел и Шаляпин, уходил Собинов; Голованов и Нежданова остались... Вы помните как она пела? Чайковский, Даргомыжский, Кюи, Гречанинов, Бородин... Бывало запоет, Алябьевского «Соловья», всю душу на изнанку вывернет... Слезы выжмет... Была на большой дороге... — для берегов отчизны осталась на этой самой отчизне... Теперь услышите — не узнаете... Новые люди новые песни... Клуб красной армии... Тут другие песни нужны...

— Внимание товарищи, внимание, — раздалось по радио, — народная артистка орденосеица Нежданова исполнит «Песню о летчике»

Приятный Русский, густой — и годы не брали Нежданову — голос, с каким-то печальным надрывом, запел в аппарате

Милый летчик,

Красный летчик

Лапин зашептал на ухо Акантову. Не мог он помолчать ни полминуты:

— Какая первобытная простота мелодии... До чего там снизилось искусство, чтобы стать общедоступным. Это не Варламов не Гурилев или Алябьев, это пастораль XVIII века... И это поет Нежданова!

Милый летчик,
Красный летчик,

— Незабудка голубая...

— Вот, ваше превосходительство, где собака-то зарыта... Да было ли в нашей старой-то Русской армии так, чтобы с эстрады, в концерте, где тысячи народа, — вы слышите, какая буря аплодисментов, — заслуженная артистка, орденоска... и этакому «милому летчику» в голубых петличках, незабудки голубой, такую песенку споет... Ведь, для него это мармеладная конфетка, а не песня. Вот она, где Россия, а не в большевизме, не в советской власти!.. России нет... Слыхал я это, а милый летчик-то, а Нежданова, — не Русские, что ли, люди?.. Нет, батенька мой, Россия еще поборется. Рано вы, эмигранты, ее угробили... Дышит она. Коммунизм... Э! Черта с два!.. Едрена Матрена... Никакого там нет коммунизма, а есть там Россия, и мы должны быть с нею, а не против нее... «Милый летчик, красный летчик», поди, у летчика-то этого от такой песни, от такого голоса, кровь под голубыми петлицами хлещет. Незабудка голубая... Что мудреного, что после такой песни, завтра, этот самый милый летчик станет на крыло аэроплана и чебурахнет с высоты трех тысяч метров с парашютом вниз, — знай наших... А в ушах-то, когда будет лететь и ждать, раскроется, или нет — ведь и так бывает, что не раскроется советская продукция, — все будет звучать, звенеть, ласкать псенка-то эта самая, незабудка голубая...

— Да, эти люди... Артисты... Ученые... профессора... академики... писатели, поэты, не знаю, сознательно, или бессознательно, добровольно, или по принуждению, за деньги, или, может быть, из страха пыток и смерти, поддерживают власть большевиков и тем самым удлиняют муки Русского народа и разрушают Россию, — сказал Акантов.

— Вы думаете?

Акантову показалось, что круглое, полное, сальное лицо Лапина скривилось в презрительной усмешке. Но было все-таки темно в комнате.

— Вы думаете? А не полагаете ли вы, что, если бы не было нашего белого движения, если бы мы все остались там и работали, будя Русские чувства, как это делают артисты, большевиков уже не было бы?..

— То есть?..

— Служили бы в России при большевиках... Как Тухачевский, например... Вы знали Тухачевского?..

— Да... Я знал его...

— Вот, видите...

И опять всем своим духовным существом ощутил Акантов, как нечто нестерпимо жуткое, будто даже осязаемое, вошло в сумрак глубокой комнаты. Пламя лампадки вдруг вспыхнуло длинным, копящим, ярким красным языком и с легким треском погасло.

— Вы знаете, что Тухачевский сейчас здесь, в Берлине?..

— Я не знаю этого...

— Хотели бы вы его видеть?

— Я думаю, что, если бы я даже и хотел его видеть, это было бы невозможно. Для Тухачевского такое свидание было бы равносильно смертному приговору...

— Не думаю... Но, давайте, будем слушать дальше... И, вот, теперь, на пару минут, совсем и окончательно закройте глаза. Мы в Москве... Мы на Красной площади...

— Закройте, закройте глаза, — прошептал в страшном возбуждении Лапин. — Это прямо-таки необходимо...

Глухой шум большого города, сильного движения, шел из аппарата. Раздадутся рожки автомобилей, и рожки эти не Берлинские, или Парижские, а какие-то особенные... Прогудит трамвай, и снова мерный шум большого движения...

— Мы в Москве... На Красной площади, — снова прошептал Лапин. — Так уйдем совсем отсюда, окончательно закроем глаза...

Из необъятной, туманной дали, из запретной, но бесконечно дорогой и милой страны, донесся звон колоколов. Сколько бесконечной грусти было в этих далеких ударах ночного колокола...

— Дин-дон... Динь-дон-дон... Динь-дон...

— На Спасской башне, - чуть слышно продохнул Лапин.

— Данн... данн...данн... данн...

После двенадцатого удара глухо и невнятно, — видно, поистерлась граммофонная пластинка, — заиграл оркестр. Печально и уныло в ночной тиши звучали переливы мятежной, к крови и убийству зовущей, песни революционного, бунтующего народа. «Интернационал», казалось, звучал на Красной площади, и там, стихая, замирал вместе с замирающим гулом города.

Душевные струны Акантова напряглись до предела. Акантов встал. Лапин понял его движение, и закрыл радио. Глухая песня советского гимна оборвалась на полутоне. В тот же миг в коридоре послышались стук двери и шаги.

— Один момент, — сказал, вставая, Лапин. — Это моя жена вернулась. Сейчас мы поужинаем...

И быстро, так, что Акантов не успел ничего возразить, Лапин покинул комнату.

Акантов вышел на балкон. Глубоко под ним, в мягком свете луны и фонарей, спала улица. Огни двойной гирляндой уходили вдаль и сливались вместе... Вдоль панелей стояло несколько собственных машин. Высоко над домами, на темном шпиле колокольни, сиял в лунном блеске четырехконечный бронзовый крест. Серебряные, тощие, полупрозрачные облака медленно наплывали на него, и, казалось, что они стоят на месте, а крест несется им навстречу...

Колдовская, дивно красивая ночь парила над городом и будто сжимала его в ласковых объятиях. На углу, где сходились три улицы, был низкий палисадник. Несказанно красивы были при свете фонарей кусты и пестрые цветы на узорчатом ковре клумб. Город гудел в отдалении, в этом квартале слыла ночная тишина.

Вдруг, напротив, в темном доме, сверху донизу от пятого этажа до подъезда, осветились окна. Кто-нибудь спускался по лестнице.

Акантову почему-то жутко было думать, что в этих громадных домах, с тяжелыми каменными балконами, с десятками окон, — везде притаилась жизнь.

На пятом этаже, против Акантова, горела лампа под зеленым абажуром, и зеленое пятно неподвижно лежало на белой занавеси. Кто-нибудь сидел там, читал, учил уроки, думал, мечтал. Пониже настесь было раскрыто широкое окно, сквозь белый узорный тюль была видна просторная спальня. Две кровати стояли рядом, горничная в белом переднике и белой кокетливой косынке над лбом, раскрывала постели. Были несказанно мягки и красивы движения ее обнаженных по локоть рук, гибко сгибался тонкий ее стан. Она подошла к окну, закрыла его, спустила тяжелые занавеси. Сквозь тюль, показалась она Акантову пленительно влекущей, красивой и заманчивой. Свет погас за окном. Там шла спокойная, семейная жизнь, там был дом. Акантов давно не знал дома, давно, давно не испытывал он этого чувства семьи и уюта...

Горько защемило сердце...

Наискосок два окна были ярко освещены. Смутно было видно, что там, за большим столом, сидело много молодежи — барышень и юношей. На скатертью накрытом столе стояли бутылки и тарелки. Растворилось окно, и звуки немецкой песни донеслись до Акантова и поплыли, неясные, смутные и смущающие, волнующие, по тихой улице. У тех, кто там пел, была Родина. Родина Акантова осталась далеко позади и стала недоступной. Не отстоял Акантов ее от «проклятьем заклеянных рабов». Там теперь дремуче и угрюмо играют чуждый Русскому народному сердцу интернационал...

Сливаясь со звуками немецкой песни, доносившейся через улицу зазвучали в ушах Акантова слова только что слышанной песенки:

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек...

«Все это ложь! Вольно дышит человек... Сюда приехал Тухачевский... Зачем он сюда приехал? Вот, кого о всем спросить? Вот, кто может нам всем открыть правду...»

Мысли путались. Взор бродил вдоль улицы, искал освещенные окна, хотел заглянуть в чужую жизнь и познать ее.

На углу улицы, на самом верху, одиноко светится раскрытое окно. Станный в нем свет. Три высокие свечи горят над черным возвышением. На нем, как будто, — гроб. Никого подле...

Что это?.. Предсказание?..

Последнее время Акантов был мистически настроен. В одиноком покойнике он увидел предупреждение. Окно влекло к себе Акантова. Он хотел взглянуть, не ошибается ли он? Кто,

этот одинокий покойник в угловом доме? Не кажется ли это ему?.. Но мягкий, певучий, чарующий, низкий, грудной женский голос оторвал его от окна, и Акантов обернулся.

— Пожалуйста, генерал, милости просим, во святой час со молитовкой... Висячая лампа вспыхнула всеми пятью грушами в матовых стеклах. Ярко осветилась тяжелая, аляповатая мебель, картина, изображающая немецкое море, с бурными волнами и рыбацкой лодкой, круглый стол с альбомами и курительным прибором.

В дверях комнаты стояла высокая, стройная женщина, в меру полная. На ее голову, по-крестьянски, был накинут большой черный шелковый платок, расшитый Киевским швом желтыми, зелеными и красными цветами и травами. Платок покрывал плечи и спускался концами и тонкими мохрами ниже пояса. От черного платка, еще блее казался лоб с красивым размахом тонких, пушистых черных бровей, и под ними глубокие, темные, пристально смотрящие, в орехового цвета века, томные, большие глаза. Чуть скуластое, Русское было лицо. Свеже-румяными щеками оно спускалось к длинному, с ямочкой, подбородку. Ряд белых зубов, открытых в улыбке алых губ, освещал лицо приветливым светом. Женщина поклонилась Акантову поясным Русским крестьянским поклоном и сказала еще раз, распевно:

— Уже так-то рады мы гостю дорогому!..

Лапин появился позади женщины и сказал:

— Жена моя, Дуся Королева... Может быть, когда и слышали ее в концертах. Известная наша декламаторша и певица...

Акантов поцеловал крупную, белую, очень красивую руку. От руки пахло, как будто, кипарисом, и сложными, восточными духами.

— Ну, по-олно, Рома!.. Где же было милому генералу меня слышать?.. Пожалуйста, генерал...

В столовой, на широком столе, накрытом белой скатертью, стояли блюда с бутербродами и закусками не беженского масштаба. Были тут и бутылки Русской водки, и вина, и, на конце стола, кипел, бурля и пуская клубы белого пара изо всех конфорок, большой, пузатый томпаковый самовар.

Акантов загляделся на него. Дуся поймала его взгляд и сказала:

— Это, генерал, гордость наша. Что-что потеряли в этом разгроме, а самовар вывезли. Знаете, и чай не в чай, если нет самовара; не люблю я эти модные последнее время у нас бульотки...

— Да, самовар дает настроение, — сказал Лапин. — А как можно жить без настроения? Вся моя жизнь одно настроение... i

Казалось Акантову что все тут было и точно, как в России, в довоенные времена. И лучше всего была хозяйка, с ее низким приятным голосом, с певучими переливами, с елейною, успокаивающей ласковостью слов и медленными, плавными движениями.

Дуся налила водку. Водка здешняя, — сказала она, вздыхая, — где ее, Русскую-то, настоящую водку достанешь?.. А, вот, икорку прошу, — настоящая осетровая. Нигде тут такой не достанете, кроме, как у нас.

Лапин поднял рюмку:

— Ваше превосходительство, ваше здоровье!.. За Россию!..

Дуся пила водку, как пьют крестьянские девушки, застенчиво, мило гримасничая, маленькими глоточками. Она не «хлопала» по-мужски, как видал это Акантов, хлопают молодые барышни и дамы в эмиграции, опрокидывая рюмку в глотку. Дуся пригубила и, морщась, отставила рюмку:

— Не привычна я к водке-то, — сказала она. — Прошу, генерал, икорки. Она налила по второй.

— Отказаться бы надо, милая хозяйюшка, как вас звать величать не знаю, да уж закуска-то больно, как хороша...

— Да вы просто... Просто зовите меня Дусей... Меня все так и зовут... Правда... Не люблю я никаких чинов, церемоний. А имя у меня простецкое. Авдотьей — зовут меня. А по батюшке — Помпеевнй... Вот, возьмите огурчика свежепросольного. Сама и солила, настоящий Нежинский... Тут Русский один, верст сорок от Берлина, огороды разводит. И укроп у него есть, и кабачки, ну и огурчики, конечно, родные, маленькие, крепенькие...

Налили и по третьей, под грузди. Очень уж были хороши грузди в тягучей соленой прозрачной влаге, холодные и хрупкие.

Чай Акантову налили в хрустальный, граненый большой стакан, и Дуся, уже и не спрашивая, плеснула в него, — «душа меру знает», — ароматного, крепкого рома...

Уютное тепло побежало по жилам Акантова. Оно растворило память, приятной дымкой заволокло настоящее. Все стало просто и мило, как бывало некогда в Москве и на Волге. Полилса ночной, задушевный, не считающий часов, разговор, полный томной женской ласки и участия, за стаканами — без счета их пил Акантов — чая с ромом...

— Вот, жалко, калачика вам дать не могу. Господи, как хотелось мне самой иной час калачика спечь настоящего, да тут муки нет такой, мешают они, что ли чего в нее... Помните, какие калачи были у нас в Питере и Москве у Филиппова... И на Волге, на Самолетских пароходах, — во рту таяли те калачи... Теперь молодежь-то наша и слово такое не знает — калачи... А много вам перетерпеть пришлось, генерал, да и сейчас, видать, терпите... Не легко достается на чужбине-то жесткая корка хлеба... Рот, поди-ка, дерет она.

Сомкнулся круг жизни около Акантова. Будто все прошлое исчезло. Ушли заботы и тревоги о дочери, о своем будущем, о судьбах Родины. Стоял только стол с угасающим самоваром, уже не пыхтящим торжественно, но жалобно поющим печальную песню прошлого, с порушенными закусками и бутылками, наполовину пустыми, — а за столом ничего не было. Ни прошлого, ни будущего. Там была темнота, и из этой темноты красивыми, самоцветными камнями сверкали прекрасные глаза, и медленно и плавно лилась красивая Русская речь, точно разворачивавшая страницы жуткого прошлого...

XI

— Вы помните, генерал, как среди непрерывных, физических и нравственных мучений, потери близких и друзей, уже не только убитых, но замученных и растерзанных озверелыми большевиками, постоянной близости смерти, — в ранце ее носили за собой, — это, когда отступление Добровольческой армии было, когда все казалось потерянным, и смерть с ее муками была неизбежна, — заколебались слабые... Помните вы это время?

— Вы разве его знали?.. Разве вы были в Добровольческой армии?.. Дуся не ответила. Она продолжала, точно читала чей-то рассказ. Акантов не видел ее лица, и только глаза ее сияли, точно звезды в темную, темную осеннюю ночь:

— Вы помните — кокаин?.. Кто доставлял его офицерам?.. Откуда?..

— Да, я помню, — сказал Акантов. Глухо звучал его голос. — Да, я помню это страшное время. Главнокомандующий отдал тогда строгий приказ, карающий за употребление наркотиков.

— Да разве остановишь?.. — сказала тихим голосом Дуся. — Разве можно что-нибудь приказом остановить... Нужно было вернуть бодрость... Победами... Как же иначе-то?.. В ту пору был в армии большой поэт, патриот, князь Федор Николаевич Касаткин-Ростовский... Вы его знали?

— Нет.

— Я прочту вам его стихи... Рома, погаси свет. Создай настроение... Сумрачно стало в столовой. Лампада, горевшая под большим образом, кидала мягкий, ровный свет на ставшую под нею Дусю: Воспаленные очи...

Голос — жуткий, как стон...

Мгла туманная ночи...

Грязный, темный вагон...

Дуся декламировала, как настоящая, опытная артистка. Перед Акантовым поплыли картины далекого прошлого...

На скамьях деревянных

Тени две у окна...

О желаниях странных

Речь их жутью полна...

Страшным стоном печали и неизбывной тоски зазвучал голос Дуси:

Я устал от печали,

На распутье дорог

Все мне кажутся дали

Полны мук и тревог...

Мать убили... разстрелян

И отец мой, и брат...

Дом родной наш поделен,

Срублен дедовский сад.
От печали и муки
Заболела жена,
Опускаются руки...
Даль темна и мрачна...
Уменьшаются силы...
Всюду — ужас один...
— «На!.. Понюхай, мой милый...
Ужас был в голосе Дуси:
— Это что?..
Волосы зашевелились на голове у Акатова. Он все это видел, он сам все это пережил.
Ледяное спокойствие было в голосе Дуси, когда она тихо сказала:
— Кокаин!..».

От водки ли, от неумеренно ли подлитого в чай крепкого рома, да еще пили какое-то полынное итальянское вино, отзывающее зубным эликсиром, и в бутылке вина этого осталось на доньшке, в голове у Акантова шумело. Бурно заходили воспоминания, обступили его, и он не столько слушал красивое чтение Дуси, сколько видел и переживал все то, что передавала она прекрасными стихами:

Когда горькая чаша,
В нищете, иль в тюрьме
Мне и многим грозила,
Мы пошли на Кубань.
Русь нас снова сплотила
На великую брань...
Дуся рассказывала о великих трудах, о безчисленных потерях, о страданиях, о холоде, голоде, муках от ран, о тифозном бреде умирающих...
Но слабы были силы.
Я был ранен... Один...
Как-то... в вечер унылый...
Дали мне... Кокаин...
Наклонясь к изголовью,
Словно Ангел Добра,
В час страдания... С любовью...
Протянула «сестра»
Пузырек мне открытый...
Я понюхал его...
И — от жизни прожитой —
Ничего... Ничего...
Голос Дуси окреп. Безумная улыбка скривила ее накрашенные губы, смешок помешанного прервал декламацию:
Смерти жуть и тревога,
Ужас смерти в плену —
Все — смешно, коль немного
Перед боем «вдохну»...
Акантов, сам того не замечая, кивал головою в ритм стихам. Черная печаль заволакивала его сердце.
— Ужасно... ужасно... — шептал он про себя. — Верно, дошли тогда до края человеческих сил, заглянули в непроглядную тьму человеческих страданий.
Чуть слышным голосом, продолжала говорить стихи Дуся:
Воспаленные очи,
Голос, смутный, как сон
Мгла туманная ночи...
Грязный, темный вагон...
На скамьях деревянных

Тени две у окна...
О желаниях странных
Речь их жутью полна...
О стремленьях, манящих
В радость горних вершин...
И в руках их - дрожащих
В пузырьке - кокаин...
(* - стихотворение князя Ф.Н. Касаткина-Ростовского.)

Долгое легло молчание. Дуся неслышными шагами прошла в столовую и села за самоваром. Через открытую гостиную дверь был виден балкон и за ним дома улицы. Ни одно окно не светилось в них. Вечерней, приятной прохладой и тонким, терпким запахом густо цветущих петуний тянуло через дверь. И там была тишина. Точно весь громадный город прислушивался и затаился перед страшной повестью о людских страданиях.

Низким грудным голосом, тихо сказала Дуся:

— Да разве можно было кого обвинять? Ведь, это же дети были... Со школьной скамьи — и в муки и страдания, в ужас боя! В жуть большевистских пыток. Как было не пошатнуться? Если бы еще была победа!..

Никто ничего не возразил. Так еще несколько минут просидели все трое молча, в темной комнате. Потом Лапин встал и повернул выключатель. Мягкий свет низко висящей, задернутой малиновым шелковым абажуром лампы осветил стол и лица сидящих за ним людей.

Пора было уходить. Акантов поднялся:

— Спасибо, дорогая хозяйшюка, за хлеб, за соль, а больше того, спасибо за милую ласку, за то, что напомнили так много, хотя и мучительного, но родного.

— Не на чем, дорогой генерал. Милости просим, приходите к нам, когда еще раз во святой час со молитовкой. Мы всегда рады дорогому гостю.

— Я завтра вечером уезжаю, дорогая Евдокия Помпеевна. Возвращаюсь в Париж. Наверяд ли придется нам еще когда с вами свидеться? Вы уже простите, не смогу, вероятно, нанести вам визита...

— И, полноте, генерал. Что за церемонии. Вот еще визитами считаться... Пришли — радость нам доставили, и все... А в Париже, ежели Господь попустит, свидимся... Я и сама туда собираюсь. Лапин провожал гостя.

Они вышли на Байеришер-плац, перешли через уснувший садик, поднялись на две ступеньки, к улице, и подошли к дому, где был пансион, где остановился Акантов. У Акантова от волнения и усталости дрожали руки, и он не мог вложить ключ в дверь. Лапин помог ему и зажег свет на лестнице.

— Ваше превосходительство, — сказал он, входя в дом вместе с Акантовым. — Вы завтра вечером уважаете в Париж?

— Да.

— Ваше превосходительство, — внушительно заговорил Лапин. — Здесь Тухачевский... Понимаете?.. Он остановился в Кайзергофе... Я завтра в одиннадцать часов зайду за вами... Мы поедем завтракать в Кайзергоф, и там вы поговорите с маршалом... Он вам расскажет много интересного. Вам ничто не грозит, и вы ничем не рискуете...

— Я-то, милый капитан, и подлинно ничем не рискую, а вот Тухачевскому! такой разговор может «стенкой» окончиться...

— Одним большевистским прихвостнем меньше станет...

Лапин исчез на площади, точно и не было его. Со света лестницы плохо было видно на площадь. Акантов стал подниматься к себе. Снова мутная жуть охватила его сердце, точно прикоснулся к чему-то гадкому и противному... И, когда внезапно погас свет на лестнице, Акантову и вовсе стало страшно. Он с трудом отыскал воздушную кнопку освещения и засветил огонь. Долго вставлял ключ в пансионскую дверь, и не сразу нашел свой номер...

Акантову казалось: он так устал, так хорошо поел и выпил, — вот, ляжет спать, и сразу все позабудет и заснет крепким солдатским сном. Но, только коснулся головой свежей подушки, как понял, что вовсе не заснет.

И водка, и вино, и главное, — впечатления этих двух дней! После монотонных шестнадцати лет заводской работы по гудку, после бедных впечатлений одинокой жизни в Париже, когда он общался с такими же рабочими, как и он, — он вдруг стал снова генералом, и его ожидает нечто страшное, но, может быть, нужное и великое. Нужно было привести мысли в порядок и продумать все.

В теплых туфлях и в пальто поверх белья, Акантов подошел к открытому окну, поднял занавеску и сел в старом просиженном, пансионском кресле.

Вот так на войне он часто проводил ночи без сна, в блиндаже наблюдательного пункта, когда всматривался он в сумрак ночи, прорезанный временами лучами прожектора или порхающими ракетами, прислушиваясь к тому, что делается впереди, у неприятеля. Там, в синей дали, таинственным и печально-зловещим казался свет ракет, то разгоравшейся, то потухавшей. Тьма тогда казалась гуще, двоили выстрелы австрийских винтовок и, посвистывали пули подле щели блиндажа. Непрерывная была тогда тревога и страх, не за себя лично, но за свою часть, выдержит ли она, устоит ли, и что делается у соседей. Там в блиндаже было холодно и сыро, в углу, у сруба, висел телефон, и телефонист, свернувшись в шинели, серым клубком дремал, прикорнув около черного ящика аппарата. Тогда там была война.

Теперь здесь был мир... Тихая ночь застыла над городом-гигантом и распростерла сонную дрему над его громадными домами. На площади не было ни души. Ни сторожей, ни полиции. Богом храним был город, тонувший в сизом сумраке. Луна, на закате, большая, красная, с буроватыми тенями, декоративной маской висела в пролете улицы. Ни один листок в саду не шелохнется, не зашелестит. Беззвучно шествует ночь.

В этом мире и покое, в этом Богом хранимом городе, Лиза провела свое детство и юность. Все ее воспоминания, все ощущения связаны с этими тихими, широкими улицами, тяжелыми домами, уютными садами по площадям, где дремотно шумят фонтаны, где стоят громадные памятники. Ничего другого Лиза не знала. Она не знает, что такое война. Она не знает России. Она не знает, как осенью на Волге пахнет хлебным зерном, как в такую вот ночь в ночной речной тишине далеко, далеко слышно, как хлопает плицами колес волжский пароход, и сколько дум пробудит его приближение к пристани, когда, вдруг, к шуму колес, присоединится появившиеся из-за поворота реки зеленого и красного бортовых огней, а в небе, как звездочка, покажется белый огонек на клотике мачты... Лиза не знает, что такое безпредельность южной степи и горький запах полыни, черноземной пыли, чеберя, мяты, богородичной травки, и вдруг откуда-то налетающий терпкий дух соломенного кизячьего дыма и станицы... Лиза не знает, что такое скок по степи лошадей, шелест колес тарантаса, покряхтывание его на выбоинах, песня ямщика, и что значит долгое ожидание отдыха, когда вдруг раздастся вдали дружный лай деревенских собак... Она — дитя железных дорог, быстро несущихся автомобилей, и ей дико и смешно слушать рассказы о России...

«Что я пережил и что повидал за последние тридцать лет, и что видела Лиза? Между мной и моей дочерью лежит пропасть. Пойдем ли когда-нибудь мы друг друга? Она не знает России; я слишком ее знаю... Сейчас — эта встреча с Лапиным. Радио из Москвы и стихи Дуси Королевой...». Акантов плотнее закутался в пальто. Затрепетала в нем душа. Какое-то подсознание проснулось в нем и заговорило голосом разсудка:

«В сущности, как глупо мне было идти к этому, совсем незнакомому, человеку. Поступил, как мальчишка. Мы встречались с ним. Однако где? Не помню... Лапин?.. Нет, нигде не было такого... Лицо?.. Но за шестнадцать лет как все изменились. И он так еще молод. Во время войны, кто был он? Мальчишка. Верно, гимназистом поступил в полк... Манеры?.. Странные манеры... Наскок неутомимой, безудержной болтовни... А впрочем?.. И женщина была похожая на Дусю... Стихи декламировала, когда еще не остыла кровь убитых... Но ... тем?.. тем теперь было бы под пятьдесят лет... И это не может быть ...»

И вдруг, вызванные подсознанием, а вернее, встрепенулась в Акантове испуганная кем-то душа, — поплыли образы сцены, встали страшные кровавые воспоминания, уже далекого прошлого,

которое кажется, было только что, потому-то нельзя вынуть всего этого ужаса из прошлого, нельзя успокоить потревоженную душу...

XIII

Это было самое страшное, невероятное время жизни Акантова Кое-кому из молодежи оно нравилось. Совсем недавно, перед отъездом в Берлин, в Галлиполийском собрании, разговорился Акантов с одним из участников гражданской войны, восемь раз раненым, произведенным за храбрость в генералы, и совсем еще молодым.

— Ничего так не хотел бы, как снова пережить это время гражданской войны, — сказал тот.

— Ну, что вы, — сказал Акантов — Да, ведь, это был сплошной, невыразимый ужас. Драться со своими. Брат на брата! Последнее дело!

— И, полноте, Егор Иванович Брат на брата? Китайцы, накурившиеся опиумом, пьяные латыши, интернациональная рабочая сволочь, мне, честному Русскому человеку, — не братья. Никак не братья. Они шли разрушать Россию, разорять Русскую культуру, грабить население, насиловать женщин, надругаться над верой во Христа. Я все это защищал и отстаивал. И, если для этого нужно было убивать — надо было и убить... без сожаления, без содрогания. Брат или не брат, вооруженный или безоружный, — они были врагами моей Родины, и кончено... Ведь, и меня они могли убить сколько раз... Тут сентиментализма быть не должно.

Акантов смотрел на большое, круглое лицо собеседника, на его могучие, широкие плечи, на всю его приземистую фигуру, и вспоминал его прошлое, всю его необыкновенную добровольческую карьеру. Мальчиком-гимназистом, не умеющим зарядить винтовку, пристал он к добровольцам Кутепова, еще в Ростовские начальные дни, а кончил карьеру у Врангеля, в Крыму, начальником боевой дивизии, прославленный за свою храбрость и непобедимость. Одно время Акантов, — старый, кадровый полковник, георгиевский кавалер, отличный боевой офицер, — был под его начальством, Только в Наполеоновские времена возможны были такие головокружительные карьеры.

— Но, кроме этих, — сказал Акантов, — были и обманутые Русские мужики и солдаты. 1

— Не жаль мне и их. Обманутые? Нет, Егор Иванович, с хитрецей мужички и солдатики стремились туда, где бы больше получить и шли на нас, как огромное стадо баранов, как серая вошь. Шли с белыми лицами, с безумием горящими глазами, и, если побеждали, то, простите, самые гнусные вещи выделяла с нами эта серая вошь, а когда попадала она в плен — козыряла нам, низкопоклонничала, подхалимствовала перед нами, до первого случая изменить и предать. Я научился здесь презирать Русский народ-богоносец.

— Не все же были такие?

— Да не все. Те, кто не был таким шел к нам... И с нами шла слава... Слава! Какая это была слава!! Помните Егор Иванович дивное, знойное лето 1919-го года. Шли на Москву. Города с налета брали. Женщины девушки все в белом. Ажурные зонтики — белые... Белые шапочки гимназисток, точно ландыши лесные, и... цветы... Откуда брали столько цветов?.. И все белое. Подлинно — белое было движение... Вот и теперь, как вспомню эти времена, точно чувствую, обоняю запах чайных роз. Огромный их букет стоит в белом фаянсовом кувшине. Тишина спальни, спущена занавеска и колышется на утреннем ветру. Тело, после похода, точно избито, ноет от усталости; кожа пластами сходит с лица от солнечного загара. Перед этим — неделями ночевали в поле, в степи, на голой жесткой земле, провоняли потом и кровью, и вдруг под тобою мягкая постель. А как нас, прожженных солнцем, залитых потом и кровью, любили женщины! Я думаю, такой любви никогда раньше не было, и не будет... В каждом городе, где мы останавливались хотя на десять дней, сколько браков заключалось... Девушки, едва со школьной скамьи, венчались с нашей молодежью... Как прекрасны и трогательно нежны были они в подвенечном платье, покрытом флер-д-оранжами, свежие, чистые, невинные, — а, глядишь не пройдет и месяца, уже идет эта самая барышня в черное платье вдовы, с длинной креповой вуалью на шляпе, за телегой с дощатым гробом, привезенным верным солдатом, а от гроба тянет сладкой вонью трупа и крови... Какая неповторимая романтика была в этом, Егор Иванович! Мы ходили в атаки, не ложась, не стреляя и не сгибаясь, неся винтовки на ремень. Мы побеждали одним видом своей непобедимости! Нас боялись, потому что мы не боялись... Э!.. Что, смерть? .. Смерть красит подвиг!.. Не было бы убитых и раненых, и подвига не было бы!.. Смерть боялась нас и отступала

перед нами... Мы, юноши, шли с вами, стариками. Мы, юноши, вели за собою, увлекали вас, стариков... Какие геройские подвиги были... Какие герои!.. Убиты?.. Что же? Таков их удел!.. Полк сто раз менял свой состав, а дух полка оставался... Мы перевернули все ваши понятия об опасности. У нас тот не командир полка, кто не идет впереди цепей. Иные и верхом ездили... По-Скобелевски! У артиллерии не было закрытых позиций и ложементов для прислуги. Наши батарейцы шли с нашими цепями... Что?.. Пулеметный огонь?.. Пачки?.. Картечь бывала ответом!.. Смерть?.. Ерунда! Смерти нет, есть победа!.. Вы помните Егор Иванович, полковника Белоцерковского? Нашего командира батареи?.. И с ним — Магду Могилевскую. Вот еще подлая баба оказалась... нечто сверхъестественное... Кажется, встретить я ее, — задушу своими руками... Вот это почему-то вспомнилось теперь Акантову, это подсказало его подсознание, и понеслись воспоминания об этом пожалуй, самом страшном из всего пережитого в эти ужасные годы гражданской войны...

XIV

Наступали на Курск. Проходили через Русские деревни. Мягкий малороссийский говор сменился распевным Русским языком. Пошли большие села с каменными церквями. Кое-где остались еще не пожженными помещичьи дома, окруженные тенистыми березовыми и липовыми старыми садами. Гуще стала сеть железных дорог. Еще сильнее стала романтика необычной войны. Уборка хлеба приходила к концу. Уже навивали золотые скирды. Лазоревыми стаями вспархивали с них голуби. Скрипели колесами тяжелые телеги, запряженные лошадьми, и ярки были красные юбки и белые платки крестьянок на возах с хлебом... Подле сел стрекотали молотилки. Дымила высокая черная труба локомотива, и издали доносился угарный дым угля.

И, рядом, шла жестокая, непримиримая война. Земля дышала зноем. На широком шляхе черноземная пыль часами стояла после прохода войск. Ехали на тачанках, на телегах, стремясь догнать опрокинутого, отступающего неприятеля. На деревенских площадях ветер завывал пыльные смерчи, гнал пучки соломы, клоки сена, листки газетной бумаги. У колодцев толпились люди. Бабы и девки спешили услужить «солдатикам», с тоской и надеждою заглядывая в темные, загорелые лица юношей.

В эти дни наступил перелом боев. Счастье изменило добровольцам. Подлинно, как несметная полоса серой ползучей, кишасшей вши, появлялись на горизонте густые цепи мобилизованных крестьян, гонимые пулеметами политических комиссаров, красных курсантов и отрядами интернациональной сволочи. Красные части были густо прослоены коммунистическим быдлом из городских хулиганов, по местному — «ракла», которым нечего было терять. В занимаемых городах смердело трупной вонью. В подвалах чрезвычайек находили изуродованные тела замученных невинных людей. Жители встречали с пустыми от ужаса глазами. Женщины хватили за руки добровольцев и рассказывали об изнасилованных толпами красноармейцев девушках, сошедших с ума, покончивших с собой самоубийством. Они шептали сухими губами, и страшен был их шепот:

— Вы уйдете?.. Уйдете?.. Покинете нас?.. Скажите?.. Если вы уйдете, и мы уйдем... Что же нам делать? Нам нет спасенья...

В эти жуткие дни Акантов отправил свою жену с маленькой Лизой в Крым... Лиза этого не помнит... Полк Акантова в эти дни пробивался к железной дороге... Бой начался с утра. В утреннем тумане, шесть раз поднимались на золотистом жнивье серые густые цепи красной армии, маячили вдаль, качаясь, как марево. Угрюмый, нескладный вой «интернационала» доносился с теплеющим ветром. Красноармейцы подходили на тысячу шагов, и здесь, встреченные огнем винтовок и пулеметов, разрывами шрапнелей, залегали. Потом откатывались назад, за хребтину длинного холма, и отлеживались в овраге, готовя новое наступление.

Когда наступали в шестой раз, к Акантову подошел командир восьмой роты, высокий, стройный капитан, с георгиевским крестом, в Великую войну заслуженным. Его глаза горели огнем безумия: — Это Русские, — сказал он хриплым, усталым голосом. — Вы же видите, господин полковник, что это Русские! У них скатки через плечо!

Встретив недоуменно вопросительный взгляд Акантова, он дико закричал, точно залаял:

Не немцы, не австрийцы... не венгерцы!.. Не турки!.. Русские!.. Русские!.. Я не могу по ним стрелять...

Он резким движением выхватил револьвер из кобуры, приложил к виску и раздробил себе череп...

Не все могли вынести ужасы гражданской войны.

Под вечер, против левого фланга полка Акантова, где была двенадцатая рота, самая мелкорослая и слабая, составленная из детей, гимназистов и кадет, показалась красная кавалерия.

Она появилась из-за недалекого селения, где днем крестьяне молотили хлеб, и где, по донесениям дозоров, все было мирно и покойно.

Акантов услышал отчаянные детские крики:

— Кавалерия!.. Кавалерия!.. Слева кавалерия!..

«Червонные» казаки, с диким, леденящим душу гиком, низко нагнувшись к шеям лошадей, неслись на двенадцатую роту. Они были освещены заходящим солнцем сзади, и их длинные тени неслись впереди их, и казались, потому они огромными и не похожими на людей. Не детской, незакаленной в боях душе, было выдержать их появление. Ротный командир, старый полковник, успел загнуть роту, и Акантов, спешивший туда, слышал, как отчаянно громким голосом, тот командовал:

— Прямо по кавалерии... Постоянный... Пальба ротою!.. Р-рот-та пли!

Вместо залпа, раздалось два-три выстрела, и несчастные дети кинулись бежать врассыпную. Красные казаки их сейчас же и настигали. С лютой бранью, с улюлюканием, с дикими криками, еще более устрашающими бегущих, они рубились наотмашь. Красным огнем взблескивали лезвия шашек, и после каждого удара на поле падала маленькая серая фигурка, как падает трава под косою в сенокос...

Полку Акантова грозила катастрофа.

Но уже мчалась галопом батарея Белоцерковского. Добровольческая артиллерия всегда умела жертвовать собою в критические минуты боя.

Звон орудий, снимаемых с передков, топот коней, прислуга на руках катит пушки в цепи, ежесекундно падают люди — и... без команды: все офицеры, каждый знает, что делать, — три очереди по красной кавалерии «на разрыв». Дым низко рвущихся шрапнелей, проклятия, дикий рев, угрозы... И видно, как в дыму падают лошади и люди... Когда вечерний ветер прогнал пороховые дымы, стали видны, уже у самой деревни, скачущие туда казаки... Грозным громом орудийных залпов их проводила батарея. Потом все стихло. Наступил теплый, летний вечер. Сбитый с позиции полк Акантова отошел в овраг. Офицеры приводили его в порядок. Противник, как говорится, «не проявлял активности». Напряженно немая тишина стала кругом. Акантов послал разведчиков к станции железной дороги и сам пошел за ними.

Солнце село. Зловещая красная полоса заката протянулась над полями. На ней черными тенями стали обрисовываться далекие постройки железнодорожной станции и поселка при ней.

На сжатом поле, в беспорядке, среди соломенных снопов, лежали порубленные дети. Ни один стон, ни один крик о помощи не раздавался на поле, дети были поражены на смерть. От плеча до пояса — развороченные людские тела, с вывалившимися внутренностями, со снесенными черепами, с лицами, залитыми кровью и мозгами, и, среди них, мальчик со снежно-белым, чистым, ничем не замаранным лицом, с тонкими чертами, с закрытыми глазами, точно уснувший среди страшного хаоса боя. Он умер от одного испуга... Он показался Акантову страшнее всех...

Полковнику, командиру роты, красные успели засунуть в рот сорванные с плеч погоны, и, разорвав мундир, жестоко надругаться над телом. Подле лежало пять убитых казаков. Как видно, не дешево продал свою жизнь старый полковник...

Молча проходили по полю разведчики. Многие сняли фуражки и, боязливо косясь на тела, крестились. У командира роты вынули изо рта погоны и, сняв мундир, прикрыли им тело.

Летняя ночь спускалась на землю. Тишина вдруг нарушилась грохотом в лязгом подходящего поезда. Со станции стали доноситься крики и звуки музыки. Красные праздновали победу.

XV

В отсутствие Акантова, к его полку приехало начальство. Начальство было лет на двадцать моложе Акантова. В Германскую войну, когда Акантов был полковником и командовал полком, его теперешний начальник окончил ускоренные курсы, и прапорщиком явился на войну. В Добровольческую армию он пришел одним из первых, уже в чине штабс-капитана, не колеблясь,

вступил в ряды, заразился ее наступательным духом, а там — храбрость, безудержное стремление всегда вперед, везение сто раз смерть прошла мимо и ни разу не зацепила. Быстрое продвижение по ступеням военной иерархии.

Акантов этим не возмущался. Они, «старикки», искушенные большим опытом Великой войны, здесь не гордились. Они наступали, окапываясь, у них лопата была родною сестрою винтовки, они стремились к охватам и обходам, они хотели побеждать по Петровскому завету, «малой кровью», и, заняв позицию неприятеля, они окапывались, застывали на месте, ожидая подвоза снарядов и патронов, организуя тыл. Им нужно было интендантство, артиллерийское и инженерное имущество, вся трудная и сложная система снабжения.

Здесь все было по-новому, по-молодому... Охваты и обходы, «малая кровь», почитались трусостью. Лобовая атака проще, короче и скорее... Нет патронов и снарядов — возьми их у неприятеля... И брали — целыми вагонами, артиллерийскими парками снабжались за счет большевиков. Нет обмундирования, не хватает продовольствия и фуража — бери у населения: война должна питать войну. Население должно кормить и одевать армию...

Акантов считал объектом войны — живую силу противника, его армию, и, основываясь на этом, рассчитывал свои операции, считаясь с железными дорогами, как средством подвоза и передвижения. Здесь — брали города... Сегодня Воронеж, там Харьков, Полтаву, Чернигов, Курск, Орел... Шли на Москву. Москва, а не красная армия, была задачей войны. Новая стратегия и новая тактика, созданные этими смелыми людьми, были уже не под силу Акантову и ему пришлось смириться и не считаться ни годами службы, ни боевым опытом, ни чинами...

Начальство стояло в группе офицеров, и, когда Акантов спускался к оврагу, он услышал громкий голос начальника и дружный смех. Начальник был большой балагур, умел в критические минуты, когда казалось, что все пропало вовремя пошутить и отмочить соленый солдатский анекдот. Умел он и распушить, не стесняясь ни годами, ни чинами виновного.

Небольшого роста, приземистый, плотный, сытый, гладкий, крепкий, с большой круглой головой на короткой шее, с фуражкой на затылке, красивый лицом, он издали увидел сухощавую фигуру Акантова, узнал его по походке, и резким начальническим тоном крикнул:

— Полковник Акантов, где вы изволили пропадать?.. Отчего вас нет при полку, когда я приехал?..

И в тоне голоса начальника, и по тому, что безмолвно вытянулись офицеры, Акантов понял, что за этими словами скрывался упрек в трусости, незнании своих обязанностей, в том, что в ответственную минуту командир покинул свой пост.

Я ходил на место конной атаки противника и посылал разведку к станции. Мне нужно было отдать распоряжение об уборке убитых.

— Могли для этого послать офицера-с!.. Ваше место всегда при полку-с. Тем более, при таких тяжелых обстоятельствах. Небывалая вещь, чтобы добровольцы повернули перед этой сволочью... Что у вас произошло с вашей двенадцатой ротой? Где она, полковник Акантов?

— Рота, как вам известно, состояла из детей. На нее внезапно выскочила конница...

— Х-ха!.. Внезапно! Великолепно!.. Откуда это — внезапно?..

— Из того селения. Оно нам казалось мирным.

— А где была ваша разведка-с? Где-с?.. Почему не обшарили селения-с?

Акантов знал, что это была вина самого начальника дивизии. У Акантова не было при полку ни конных разведчиков, ни велосипедистов. Но Акантов был старого закала офицер. Он промолчал.

— Куда же девалась ваша двенадцатая?.. Где она-с?..

— Она там... — махнув рукой в сторону поля, с большой печалью в голосе сказал Акантов.

— То есть, где это там?.. Выражайтесь, полковник, яснее.

— Она, ваше превосходительство, вся до одного полегла, ибо, поддавшись панике, она побежала, а убежать от карьером несущейся конницы не могла. Все шестьдесят восемь человек, вместе с командиром роты полковником Тесаковым, изрублены.

— Хор-р-роший, говорят, офицер был!..

— Отличнейший, ваше превосходительство. Георгиевский кавалер за Великую войну...

— Жаль...

— Всех жаль. Детей, особенно, жаль... Чем они виноваты...

— Как это, чем виноваты?.. Зачем бежали?.. Трусость всегда бывает наказана. Я даже и представить себе не могу, как это конница может изрубить пехоту?.. Хорошая пехота...

— Хорошая, ваше превосходительство...

В овраг спускался разведчик. Он шел усталой походкой, запыхавшись, торопился, шел из последних сил, чтобы сообщить что-то важное... Заметив и узнав начальство, он направился к нему:

— Ваше превосходительство...

— Ну-те-с?..

— К железнодорожной станции, с час тому назад, подошли два поезда. Один — броневой, другой — агитационный, он весь в красных плакатах и флагах.

— Сами видели-с?..

— Я был на станции, ваше превосходительство. По-видимому, приехал какой-то театр. Там такой тарарам пошел, гармоника, песни, шум, смех, галдеж... Часовых нет. Сторожевое охранение не выставлено. Я думаю, там будет ночью большое, пьянство, и их можно будет захватить безнаказанно...

— Что вы думаете, поручик, мне-то мало интересно, а за вашу разведку спасибо большое вам.

— Рад стараться, ваше превосходительство.

— Пожалуйте, господа, за мной, — сказала начальство, и стало подниматься из оврага.

Артиллерийские, замученные, лошади, опустив до земли головы, хрустели сеном, подкинутым к их ногам. Пахло разжеванной полынью, дегтем постромок, кожей, сладким запахом конского пота. Ездовые лежали на земле и спали крепким сном. Фейерверкер сидел после своей оседланной лошади. Папироса попыхивала в его зубах. Махорочный душок свивался с запахом лошадей и сена.

Из темноты неся голос начальства:

— Во всем, господа, люблю пулеватость и смелость. Мы — добровольцы, у нас нет отступления. Мы боремся за великое и святое дело. Мы не считаем врага. Грустно, конечно, что побили двенадцатую роту, но унывать не станем. На то и война... Бодрость, бодрость прежде всего... Атаковать будем молча. Окружая станцию подковой... И без выстрела... И без всякого там — ура... Не нужно-с... Излишняя музыка-с... И попрошу не курить и не кашлять .. За наших убитых они заплатят вдесятеро... Полковник Акантов...

— Я здесь, ваше превосходительство.

Когда вышли из оврага, темнота окружила. Сильно, по-осеннему вызвездило. Вдали красным дымом курилась станция, с ее станционными огнями, семафорными фонарями и множеством костров. Оттуда чуть доносился гомон многих людей, и чудилось, что там раздается грубый, неистовый смех...

Наступали длинною цепью, окружая станцию, как на облаве. Шли неслышно. Люди скользили по жнивью, обходя снопы, убитых лошадей и красных казаков, минуя селение. Шли так сторожко, что ни одна собака не залаяла...

Пять верст шли, не останавливаясь.

Когда в мутном красном свете костров стали видны вагоны товарных поездов, серые громады броневых поездов и толпа на станционном дворе под высокими тополями, когда слышна стала гармоника и женский голос, певший задорную частушку, часовой-красноармеец, вдруг появившийся в поле испуганно окликнул:

— Кто идет?.. Товарищ, это вы?..

Никто не ответил. Глухо ударил приклад по черепу, и, как тяжелый куль, мягко свалился на землю часовой.

Цепь побежала, все скорее и скорее, с разных сторон врываясь на станцию.

Тогда раздались первые беспорядочные выстрелы, им ответил грозный треск ручных гранат. Впустую, лишь на минуту оглушив, грохнуло орудие с броневых поездов, снаряд полетел далеко в степь и там разорвался. Паровоз зашипел, пуская пары, пытаясь тронуться, но добровольцы уже вскочили на него и метали гранаты по вагонам. Несколько мгновений было шумно, гамно, грохотали гранаты, стреляли из ружей, раздавались крики, трудно было разобрать, что происходило. Сзади, позванивая орудиями, на рысях подъезжала батарея Белоцерковского, — впереди была площадь, ярко освещенная керосинокалильными фонарями, и на ней толпа в серых рубахах. Люди стояли с белыми лицами, с поднятыми кверху руками...

На путях были вагоны с открытыми боками, обращенные в сцену: красный кумач флагов, ярко освещенный сзади, полыхал, как огненные языки.

Несколько добровольцев вели на площадь высокую женщину в костюме Русской боярышни. Белая шапка-колпак, расшитая стеклянным жемчугом, была надвинута на брови. Набеленная, нарумяненная женщина безпокойно оглядывалась большими черными глазами. Она показалась Акантову привидением. Она искала кого-нибудь, к кому обратиться за помощью. Молодежь была настроена к ней явно недоброжелательно.

— Артистка! — раздавались голоса. — Артистка! Тем хуже!.. Поднимали настроение этой сволочи, чтобы лучше дралась она против нас!..

— Образованная!.. Понимать могли бы, что делаете?..

— Таких без пощады вешать надо на фонарных столбах!..

— Позор Русской женщины!..

— Тем что?.. Тех гонять, они не понимают, что делают, а вы понимать должны, с кем вы связались...

— Стерва!..

— Дрянь собачья!..

Акантов поспешил на выручку. Каждую минуту мог совершиться самосуд. Акантова обогнал полковник Белоцерковский. Он взгляделся в лицо женщины, и, протягивая ей обе руки, быстро пошел ей навстречу:

— Магда!.. — воскликнул он.

Был необычайно мягок и тепел его голос:

— Магда!.. Но, какими же судьбами?.. Оставьте ее, господа. Я знаю, кто она. Это же наша гордость: артистка Магдалина Георгиевна Могилевская. Ее слушал и ценил сам Государь.

— Спасибо, Николай Иванович, — сказала, освобождаясь из рук молодежи, женщина. — А то ваши юнцы совсем, было, собрались меня вешать... Как же мне было пробраться к вам, моим милым и родным «белым», как не примкнув к труппе агитационного поезда? И как это прямо-таки чудесно вышло, что именно вы, Николай Иванович, меня освободили...

— Господа, — сказал Белоцерковский, — прошу на меня не обижаться. Я беру Магдалину Георгиевну на поруки. И, по праву войны, прошу считать ее моей добычей. Я вам ручаюсь головою, что Магда Могилевская не могла быть большевичкой, и что все так и произошло, как она говорит...

Белоцерковский подал руку Могилевской и повел ее к батарее. Никто ему не препятствовал. Слишком любили в отряде Белоцерковского и эго батарею, слишком все было необычно, и так много дела было еще впереди...

XVI

Ночь сползала. Медленно линяли краски. Небо розовело на востоке. Свет керосинокалильных фонарей был больше не нужен. На первом пути стоял большой восьмиосный вагон, ярко размалеванный картинками и плакатами. Наверху было изображено красное восходящее солнце с пестро накрашенными лучами. Над ним по дуге шла надпись: «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Под солнцем, более мелко, было написано: «Агитационный вагон политотдела армии южфронта». Посередине вагона, в пестрой раме, был намалеван земной шар, перевитый алой лентой с той же гордой надписью о соединяющихся пролетариях всего мира... Там были измалеваны и огромные буквы: «РСФСР» - «Российская, советская, федеративная, социалистическая республика», - горделивый герб советского союза, охватывающего весь земной шар. По сторонам сцены, устроенной в вагоне, были изображены избы и в них - счастливая жизнь, крестьян под властью советов. Часть этих картин была ободрана, вероятно, в пору захвата станции, и висела жалкими обрывками. Все это напоминало плохой ярмарочный балаган.

На площади лежали тела убитых красноармейцев и стонали, еще не перевязанные раненые «красные». Нисколько подальше, в стороне от станционной постройки, под высокими тополями и акациями, окружавшими станционный двор, серой толпой стояли и сидели пленные красноармейцы. Жидкая цепь часовых добровольцев их окружала. Отдельно от них, в углу у пакгауза, были собраны матросы броневое поезда. Их охранял более сильный караул. Все это были крепкие, рослые ребята, в пестрых голландках и широких штанах, с лихо заломленными на

затылок матросскими фуражками с алыми лентами. Это был народ прожженный, прошедший огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы, лохматый, курчавый, наглый и самоуверенный. Видно было по всей их повадке, что им и самая смерть не страшна...

У шляха, выходявшего со станции в степь, сбоку, на стерне сжатого поля, в колонне поорудийно стояла батарея Белоцерковского. Прислуга спала подле на поле, на земле, крепким утренним сном. На самом шляхе были собраны подводы, и люди Акантовского полка сносили на них винтовки и пулеметы, взятые у пленных. Характерный треск небрежно кидаемых на подводы ружей доносился оттуда на двор.

Рассвет надвигался. Еще не было теней, но предметы яснили и ширилась даль.

С тыла на площадь прискакал комендант корпуса, полковник Арчаков. Он спрыгнул с лошади, бросил поводья сопровождавшему его Кубанскому казаку, и пошел к полковнику Акантову. Арчакова сопровождал на тачанке его адъютант, поручик Гайдук. Об Арчакове Акантов знал, что он без ошибки угадывал коммунистов, а про поручика Гайдуга только слышал, что тот является исполнителем смертных приговоров над коммунистами и предателями. Он его еще никогда не видал. И теперь Акантов всматривался в лицо этого человека, взявшего на себя самую трудную и тяжелую обязанность - казнить коммунистов. Это был небольшого роста, крепко сбитый, офицер, с опухшими щеками и глазами в красных бровях, бритый, в чистом кителе и шароварах «галиффэ» пузырями, в обмотках на толстых и тугих икрах. Что-то не офицерское было в нем. Арчаков подошел к Акантову и сказал ему:

— Пойдемте, полковник, посмотрим на эту сволочь. Он пошел легкой походкой, похлопывая себя по голенищам запыленных сапог дорогим стиком.

Пахло землю, пылью, сухим, погорелым на солнце, листом акаций, и нудно воняло людскими отбросами и порохом ручных гранат. Пахло войною. Офицер, бывший при пленных, командовал:

— Смирно!.. Встать!.. Ну, вы, там, красная армия, поворачивайся... Вставай. Нечего буржуев изображать...

— Становись!.. Равняйся!..

Пестрые ряды подравнялись, разбились на неровные взводы, стали подобием колонны.

Серые от бессонной ночи, от испуга, от усталости, землистые, голодные лица мобилизованных крестьян и бывших солдат повернулись к подходившим к ним офицерам. Резко между ними выделялись фигуры в кожаных куртках, в штатской одежде, с бледными, жесткими лицами, с прямым, смелым взглядом. Знакомое Акантову было смешение людей в толпе, захваченной тисками гражданской войны.

— Смир-рна!..

Арчаков, высокий, тонкий, щеголевато одетый, выправленный, надменный старый барин, в цветной фуражке, аккуратно надетой на лоб, в пенсне без оправы, крепко сидевшем на его тонком породистом носу, со свежесбритыми блестящими щеками, морщась от дурного запаха, шедшего от красноармейской толпы, медленно подходил к пленным. В нем была подтянутость и напряженность охотничьей собаки, почуявшей дичь и готовой сделать стойку. Солнце брызнуло первыми, золотыми, слепящими лучами. Оно осветило лица пленных, их серые, рваные рубахи, плохие штаны, пеструю обувь. Щурясь от солнца, красноармейцы смотрели на подходивших офицеров, «золотопогонников», с тупым подобострастием; они были готовы исполнить любое приказание. Лишь на некоторых лицах была угрюмая злоба, погасившая страх и полная презрения ненависть.

Комендант остановился в десяти шагах от колонны пленных. Солнце, отбросило от него и сопровождавший его людей длинные тени. Играя стиком, комендант смело и решительно приказал:

— Коммунисты, выходи!

Никто не шевельнулся. Напряженное молчание и тишина были на площади. Лица одних стали еще подобострастнее, у других еще страшнее стала злоба и ненависть в глазах, и темные желваки заходили над скулами.

— Ну, как хотите, — негромко, но далеко слышным голосом, сказал комендант и с легкой усмешкой пошел к правому флангу колонны.

Он остановился против худощавого парня с темным лицом, покрытым щетиной небритой бороды и с узкими глазами, исподлобья глядевшими на офицеров, и сказал уверенно и твердо:

— С какого года в партии?..

Угрюмый человек повел плечами, тяжело вздохнул и молчал.

— Да ты, товарищ, не стесняйся. Я тебя насквозь вижу. Луганский?.. Злые глаза опустились к земле.

— С какого года?..

— С 1914-го, — рывком, со злобой, выплюнул тот.

— Выходи!

Конвой, следовавший за комендантом, схватил вышедшего и толкнул его в сторону. Арчаков пошел дальше.

— Коммунист?..

- Ваше благородье, — кричали сзади, — это ж Файнштейн... самой он коммунист. Он нас и мучил супротив вас идти, и Ягодка с ним, вот он, Ягодка, третий с флангу стоять — обои коммунисты. Выходи, брат, Ягодка, чего там бузу разводить, братву подводить. Он, Ягодка-то, ишло когда, в Царское время, при Государе Ампираторе, этим самым на заводе занимался...

Быстро и легко шел отбор. Ловкая, хорошо пригнанная одежда, кожаные куртки, добротные сапоги, злые лица, угрюмо сосредоточенные, безнадежные, выдавали коммунистов.

Комендант остановился против невысокого, длиннорукого парня, неуклюже одетого в солдатскую шинель. У него были курчавые черные волосы, и бледное, смертною бледностью покрытое лицо, с большими, умными черными глазами. Глаза эти то загорались мрачным огнем, то погасали, и тогда лютая тоска была в них.

— С какого года? — касаясь стиком груди задрожавшего мелкою дрожью человека, спросил Арчаков.

— Ни с какого, — последовал быстрый ответ. — Никогда в партии не был, и всею душою сочувствую добровольцам.

— Вы его, братцы, знаете?.. Красноармейцы загудели:

— Вовсе мы его не знаем...

— Никогда такого не видали...

— Откеля взялся, приبلудился, не знамо, не ведомо...

— Он и на человека не похож...

— Чистый жид...

— Какой-сь то, кубыть, из скубентов...

— Ночью к нам откуда-то втиснулся...

— Наша рота пестрая, всего третий день из деревни... Мы билизованы вовсе недавно...

— Ты кто такой?

— Артист.

— И коммунист, конечно?..

Спрашиваемый пожал плечами. По его опухшему, белому лицу текли крупные капли пота:

— Ну, когда вы лучше моего знаете...

— Фамилия?..

— Бродский.

— Громкая фамилия!.. Выходи!

— Бож-жа мой!.. Да зачем я буду выходить, когда я вовсе ни в чем не виноватый? Ну, они тоже забирают. Они с ружьями, с наганами, разве я могу какое сопротивление оказывать?.. Какой я коммунист? Я даже, может быть, такой же коммунист, как и вы...

— Выходи!..

— Господин полковник! Да зачем так?.. Так, ведь, вы же белые?.. Должна же у вас быть справедливость? Вы не большевики какие-нибудь?.. Вы спросите госпожу Могилевскую, так она вам скажет, чи я коммунист, чи нет?

Арчаков еще раз внимательно, с головы до ног, осмотрел Бродского. Он колебался. В этом некрасивом, нескладном еврее не было той трусливой наглости, по которой он угадывал, всегда без ошибки, коммунистов... Большие, черные, с поволокой, глаза, южные, томные, смотрели с мучи-тельной мольбой, и была в них какая-то уверенность в своей правоте. Эта уверенность подкупала, располагала Арчакова к Бродскому.

— Хор-рр-шо, посмотрим!.. Отведите этого субъекта в сторону, а вы, поручик, попросите сюда эту артистку, она находится в крайней хате, где командир батареи...

Уже окончен был отбор коммунистов, когда на площадь, сопровождаемая Белоцерковским, пришла Магдалина Георгиевна. Она успела переодеться в дорожное платье и, вместо шляпки, была по крестьянке повязана белым платком. Акантов невольно залюбовался ею, и заметил, что, как только Могилевская увидела отдельно стоявшего подле часового Бродского, она побледнела сквозь румяна, и беспокойные огни загорелись в ее прекрасных глазах.

— Простите, милостивая государыня, — официально сухо обратился! Арчаков к Могилевской. — Вы изволите знать этого индивидуума?..

Он подвел Могилевскую к арестанту. Они стояли в углу двора, в длинной тени от пестрого вагона с плакатами.

Прекрасное летнее утро наступило. За станцией раздавались веселые голоса добровольцев. Воробьи чирикали в кустах жимолости станционного палисадника. Со шляха доносился железодеревянный треск кидаемых ружей, и кто-то молодым, мальчишеским голосом, кричал:

— Девятьсот семнадцать... Здорово!.. Мальчишечка!.. Девятьсот восемнадцать... Без штыка... Ей-Богу, Артем Иванович, до тысячи наскребем...

Сильнее становился запах горелой соломы, каменного угля и нечистот.

Бродский пронзительно смотрел в глаза Магдалине Георгиевне. Та не опустила своих. Лютая ненависть и презрение были в ее прекрасных глазах. Так продолжалось несколько мгновений, показавшихся Акантову бесконечно долгими...

— Что-ж?.. — наконец, задыхаясь от негодования, сказала Могилевская. — Называет себя белым!.. Х-ха!.. Я этого человека знаю... От-лично знаю... Вы его будете судить?.. Напрасно... Таких людей не допрашивают...

— Он — коммунист?

Господин полковник... Ну, что они говорят такого. Ну чего они могут про меня знать?.. Они же знают, что я пьянист, им на пьянино аккомпанировал. Они же меня видали, какой я коммунист? Я же белый, как чистый снег...

Магдалина Георгиевна быстро повернулась от Бродского и широкими, быстрыми шагами пошла с площади. Отойдя шагов на тридцать, она остановилась и сказала низким, густым, контральным голосом:

— Да... Полковник, этот человек — коммунист. Бродский стоял, низко опустив голову. Было что-то бесконечно жалкое в его фигуре. Арчаков посмотрел на Бродского, потом на Могилевскую, и строго сказал:

— Вы уверены в этом, сударыня?..

Магдалина Георгиевна снова пошла, сопровождаемая Белоцерковским. Она шла с высоко поднятой головой:

— Он предатель, — кинула она на ходу, и взяла Белоцерковского под руку.

Страшным видением показалась тогда Акантову эта женщина, быстро шагавшая мимо серой толпы красноармейцев, мимо трупов и арестованных...

И почему-то, вспоминая все это теперь, в тихую Берлинскую ночь, Акантов подумал: «А, ведь, что-то есть общее между Могилевской и только что виденной мною Дусей Королевой...».

XVII

Днем был суд. Акантов в нем не участвовал. Триста китайцев, часть матросов бронепоезда и двадцать коммунистов, отобранных комендантом Арчаковым, подлежали уничтожению. Дело Бродского было выделено. Оно запуталось.

За завтраком, в помещении пристанционного трактира, комендант говорил Акантову:

— У меня, знаете, Егор Иванович, странное впечатление от этого жиденюша... По приказанию комиссара, в Москве собирал труппу артистов длз агитационного поезда южного фронта. Так, ведь, его заставили это делать... Я отнюдь не юдофил, но мне все говорит, что он не коммунист, а вот артисточка-то наша, от которой тут все наши без ума, наводит меня на раз мышления... И что-то жиденюш этот про нее знает, да пока не говорит, то ли боится, то ли жалеет ее. И, если я кого

поставил бы к стенке, так это многоуважаемую Магдалину Георгиевну, а того жиденыша отпустил бы с миром. Иди и больше не греш...

— Что же постановили?.. - спросил Акантов.

— Да приказал пока посадить в подвал, до выяснения личности. И часового не приставлю. Никуда он не убежит... А показания может дать прям аховые... Ключ поручику Гайдуку передал. Мы не красные, мы должны быть прежде всего, справедливы. Мы должны искать правду...

Расстреливали приговоренных под вечер. Заведовал этим поручик Гайдук, и в его распоряжение был назначен взвод из люто ненавидящих коммунистов людей. Это были убежденные, считавшие, что, в условиях гражданской войны, иного выхода нет. Куда же девать эту заразу?

Комендант Арчаков уехал в штаб. Отряд, занявший станцию, отдыхал, расположившись по квартирам в поселке. О красных не было слышно, и, с обычным презрением к опасности, а, отчасти, и потому, что при отряде не было кавалерии, разведки не было выслано, и охранения не выставляли. Все было тихо кругом. Занятие станции казалось отдельным, случайным эпизодом; вокруг была ровная степь, на много верст было видно кругом, и везде было пусто, и тишина могилы стояла на железнодорожных путях...

В большой зал трактира собрались офицеры отпраздновать блестящую победу. Из вагона агитационного поезда притащили пианино. Белоцерковский обещал придти с Магдалиной Георгиевной. В поселке нашелся самогон, а в броневом поезде оказались и бутылки неплохого вина; ужин готовили на славу.

Акантову волей неволей пришлось быть на этом ужине. Его помещение было в этом самом зале. Он сидел в углу стола, на почетном месте, рядом со своим другом, доктором Баклагиным. Он пил мало.

Шумная беседа шла кругом него. Этот ужин был оазисом среди пустыни непрерывного холода смерти постоянных боев. Каждому хотелось забыться, хотя на час одурманить себя и уйти от пережитых волнений и ужасов.

Давно не видели женщин. Артистка, появившаяся снова в Русском сарафане, в кокошнике, расшитом стекляшками, с подмазанными щеками подведенными глазами, нарумяненная и набеленная, показалась изумительно красивой. Все было к ее услугам. Каждый старался ей угодить.

Но уже ходили среди офицеров слухи, что артистка-то она артистка, и, говорят, первоклассная, но зачем же была она у красных? И сосед тихо шептал на ухо соседу: «а что, как эта прелестная Магда и точно коммунистка?».

И, возможно, что слухи эти дошли до самой Магdalины Георгиевны. Она вдруг встала и сказала прекрасным, звучным и задушевым голосом:

— Господа!.. Все-таки... чувствую... Странно вам... Вчера вечером сидела с красноармейцами... с комиссарами... с лютыми врагами вашими... — Магдалина Георгиевна обвела томными глазами офицеров, тяжело вздохнула, и сказала с видимым отвращением: — с чекистами!.. Сегодня сижу с вами... Артистка... Много этим сказано... Я пела и декламировала перед Государем Императором... Я обожала Государя... молилась на него...

Несказанно тепел, чист, ясен и красив стал ее прозрачный, низкий голос. Он шел к сердцу. Осоловелые от усталости и от вина, добровольцы подняли головы, и глаза их прояснились. Магда, — влюбленным вздохом прошептал Белоцерковский. Государь отрекся... Государя арестовали... Государя истязали и убили... Моя, господа, была обязанность не допустить до этого?.. Магдалина Георгиевна опять сделала длинную паузу, и с силой сказала:

— Это была ваша обязанность, господа!.. Я служила искусству. Мое искусство — будить чувства, заглядывать в глухие, на замок замкнутые, тайники человеческой души... Я заглянула в эти страшные дни в ваши, офицерские души, и поняла... Вы ничего уже не могли сделать...

И снова было молчание и тишина, но тишина стала напряженной и страшной. Кое-кто тяжело вздохнул. Было душно в низкой бревенчатой столовой деревенского трактира. От нескольких керосиновых ламп, висевших под потолком, было яркое, нелепое освещение. В нем высокая женщина, стоявшая в голове стола, казалась по неземному красивой и, вместе с тем, зловещей. Магдалина Георгиевна продолжала тихим голосом:

— Это, господа, я не тост говорю... Я вспоминаю... И стараюсь объяснить... Не вам, но себе объяснить... И вот, я вспоминаю самое, самое ужасное. Ужаснее теперешнего, ибо то было начало... До жути ужасное...

Магдалина Георгиевна перевела дыхание. Точно трудно ей было говорить: задышалась она.

— Это было при временном правительстве... Когда была безкровная революция... Когда наша интеллигенция взяла у Государя и его министров бразды правления... Тогда... Солдаты убивали своих офицеров и уходили с фронта... Тогда был Калуц и Тарнопольский небывалый погром... Помню... Летом ужасного этого года, 1917-го года, ехала я, как сестра милосердия, на фронт. Глухая ветка где-то между Минском и Овручем. В пустом вагоне, в отделении второго класса, — я и какой-то армейский штабс-капитан. Лицо совсем молодое — волосы седые. Мы разговорились. Время было такое, каждый искал сочувствующую душу. Офицер вынул бумажку и прочел мне стихи: — «Молитва офицера»... Я сказала, что я артистка и читаю стихи с эстрады. — «Возьмите их», — сказал офицер. — «Это ваши стихи?». — «Нет». — «Чьи же они?». — «Не знаю»... — «Они вам нужны?». — «Нет, меня все равно убьют солдаты»... — Я нигде потом не видала этих стихов в печати... Я читала эти стихи везде, где то было можно. Публика плакала... Мне часто были неприятности из-за них... Хотите, я прочту их вам?

— Просим!.. Просим!.. — раздалась дружные голоса. Стало еще тише в трактирной столовой. Из поселка, издавдалека, доносилась солдатская песня. Но она не портила настроения молитвенной тишины, наступившей в столовой. Магдалина Георгиевна подняла кверху глаза:

— Молитва офицера, — сказала она и, после секундного молчания, начала читать стихи:

Христос Всеблагий, Всесвятой, Милосердный,

Услыши молитву мою...

Услыши меня, мой Заступник Усердный:

Пошли мне погибель в бою!..

Смертельную пулю пошли мне навстречу

Ведь, благость безмерна Твоя...

Скорее пошли мне кровавую сечу,

Чтоб в ней успокоился я...

На Родину нашу нам нету дороги,

Народ наш на нас же восстал,

Для нас он воздвиг погребальные дроги,

И грязью нас всех закидал...

Три года мы тяжко, безмерно страдали,

Святые заветы России храня.

Мы бились с врагами, но мы не считали

Часами рабочими нашего дня...

В глубоких могилах, без счета и меры,

В своем и враждебных краях,

Сном вечным уснули бойцы-офицеры,

Погибшие в славных боях...

Но мало того показалось народу,

И вот... Чтоб прибавить могил,

Он — нашей же честью — купил свободу,

Своих офицеров убил...

Правительство юное, люди науки,

И много сословий и лиц,

Пожали убийцам кровавые руки,

Прославили наших убийц...

— Егор Иванович, вы помните унтер-офицера Кирпичникова? — прошептал на ухо Акантову доктор Баклагин.

— Того, кому навесили Георгиевский крест за убийство своего начальника?..

— Того самого.

— Ага, помню... Да, было... Было... Какая это была подлость!.. Магдалина Георгиевна продолжала: Терпению исполнилась нашему мера...

Народ с нас погоны срывал,
И званье святое бойца-офицера
Бессовестно в грязь затоптал...

— Мне комендант, полковник Арчаков, говорил, что он думает, что она коммунистка, а Арчаков никогда еще не ошибался. Как вы думаете, Иван Алексеевич?..

Чуть слышно ответил Баклагин:

— Она — женщина.

— Ну?..

— Этим все сказано.

— Я вас не понимаю.

— Погодите, дайте ей кончить...

Голос Магдалины Георгиевны окреп. Она выкрикала слова, как пророчица. Все глаза были устремлены на нее. Прислуга-солдаты, тихо собиравшие со стола посуду, остановились и внимательно слушали артистку. На лице Белоцерковского застыло такое восторженное, влюбленное выражение, что на него было совестно смотреть.

Промчатся столетья, пройдут поколенья,

Увидят все новые сны,

И будут потомки читать без волненья

Истории страшной войны...

А в ней сохранится так много примеров,

Как Русский народ воевал,

И как он своих боевых офицеров

Своей же рукой убивал...

Магдалина Георгиевна низко опустила голову и замолчала. Не сразу раздались аплодисменты. Огромно и потрясающе было впечатление от прочтенного. Потом понесли на тарелке бокал вина, адъютант Акантовского полка с листом бумаги кинулся просить диктовать ему стихи. К нему присоединились и другие. Раздавались голоса:

— Записать!.. Записать!.. Господа, надо непременно записать, пока не забылось...

В эту самую минуту — это отлично запомнил Акантов, — в столовую вошел поручик Гайдук...

Он вошел, возбужденный, взволнованный, с блестящими глазами, точно пьяный. Будто не провел он эти вечерние часы за самым неприятным и тяжким делом кровавого уничтожения коммунистов, а неумеренно где-то пил...

— Ну, как? — спросил кто-то из офицеров.

— Отлично. Всех триста сорок девять покончили. Не проснутся. Уже закапывают. Отлично умирали китайцы. Как скот. Похоже было на то, что они не понимали, что их убивают. Матросы бронепоезда — слизь... На коленях ползали, руки целовали... Гадость!.. Коммунисты — ничего. Шестеро бежали...

— Как?..

— Как!.. Очень даже просто. Ты уследи-ка за ними, когда их почти четыреста, а мне всего двадцать человек назначили, и те мальчики. Удивляюсь, что они все-то не разбежались...

— Посмотрите на Магдалину Георгиевну — тихо сказал Баклагин Акантову. — Видите, как она преобразилась...

Магдалина Георгиевна остро и внимательно смотрела на Гайдука. Ее глаза расширились, тонкие ноздри раздулись и трепетали, чувственный, алый рот был полуоткрыт, и в его кровавом разрезе хищно блестели белые крупные зубы. Страсть, обожание, преклонение горели в напряженном взоре...

— Я вам сказал — женщина... Первобытная женщина! Да, впрочем, пожалуй, всякая женщина. Женщина, она любит убийц... Это еще из животного мира идет. Там самки смотрят, как в боях друг с другом самцы убивают один другого. Да, что говорить, а у людей?... Римские цирки и любовь к гладиаторам, рыцарские турниры. Пронзи копьем соперника и получишь любовь прекрасной дамы. Тут, батенька мой, просто-напросто — патология... И, вот, если в настоящей, правильной войне мы наблюдаем, а последнее время и изучаем, военную психологию, то в гражданской войне, где все обнажено, где все наружу, — это уже будет не психология, но патология войны...

Принесли новые запасы вина. Теснее сдвинулись за столом. Белоцерковского вызвал фельдфебель, и тот ушел. Акантов и Баклагин перебрались в темный угол и сели на старый трактирный диван. Магдалина Георгиевна диктовала стихи молодым офицерам, и все поглядывала затуманенными страстью глазами на жадно евшего и пившего вино Гайдука.

— Да, батенька мой, — низким басом говорил Акантову Баклагин, — ни что другое, как патология. Белоцерковский — красавец мужчина, высокий, стройный, черные кудри, при том — сама доблесть, рыцарь, храбрец, но убивает из пушек, издали. Он сражается, воюет, но не убивает, как мясник... А этот, поглядите на Гайдука, — слизняк. Урод, кривые ноги... Молоко на губах не обсохло. Вероятно, развратник... И при том же, слюнявый развратник. Убивал, возможно, что под кокаином, — да за то сам!.. «Цокал» из револьвера по затылкам, командовал залпы, добивал недострелянных, обыскивал трупы, снимал кольца, вынимал из карманов портсигары, деньги... Бррр.. Гадость какая!.. Палач... А ей — нравится. Она Белоцерковскому и нам стихи хорошие говорить будет, молитву читать, благословлять будет и взгляды нам посылать будет, а простите за грубое слово, — спать пойдет вот с этим... палачом!.. убийцей!..

— Ну что вы, Иван Алексеевич...

— Помяните мое слово... Тем и страшна гражданская война, что на ее почве родится не уважение к противнику, как в настоящей войне, а ненависть и презрение. Не рыцарство, а тупая жажда убийства. Не доблесть и честность, а жажда наживы... Ограбить, достать, добыть... Обыскать убитого, добыть раненого — все равно, из-за хороших ли сапог, или кожаной какой куртки, или из-за бумажника с «керенками»... Изнасиловать девушку — все, милый, позволено. Вы, батюшка, обратили внимание: вчера Белоцерковский забирает Магдалину Георгиевну по праву добычи! Голубчик, в настоящей-то войне, за это — разстрел!..

— Ну?... ведь, она — сама... Они, видимо, хорошо знали друг друга...

— Она... На смерть напуганная женщина... Да что ей!.. Подумайте, могла на вчера сопротивляться? Как собаку, взял и повел к себе на сворке... Вместе спать... Тьфу!.. Мне такие нравы противны. Знаете, хорошая проститутка, и то так не пойдет. Вот вам, что родится в гражданской войне. Они так с нами, — и мы будем так же с ними. Раньше: герой — рыцарь!.. Как это в стихах-то сказано: «бедный и простой»... Честь, целомудрие... А тут?... О, Господи!.. Тут о чести говорить не приходится, а целомудрие сохранять просто глупо. Вы говорите: коммунистка, — Арчаков сказал... Какая там коммунистка!.. Просто материалистка в высшей степени. И знает себе цену, умеет себя продать...

— По существу, одно и то же.

— Жутко, милый Егор Иванович. Как потом привьете вы новому поколению старые взгляды порядочности. Невинность девушки-невесты покажется смешным предрассудком. Отвращение к палачу, к предателю, к изменнику, шпиону — глупостью. Деньги!.. Выкачать из них блага, — вот и все!.. За офицерским столом становилось шумнее и пьянее. Магдалина Георгиевна сидела рядом с Гайдуком и тихо шепталась с ним. Молодой кавказец в черкеске, при шашке, горячий, сильно охмелевший, что-то кричал на другом конце стола. Присутствие красивой и, по всем ее повадкам, как будто доступной, женщины пьянило крепче самого крепкого вина. Все распалились, забыли обо всем. Голоса стали громки, жесты — вызывающи. Спорящие поглядывали на артистку, ожидали ее одобрения.

— Эх, спать не дадут, — сказал Акантов.

— А вы, почему не пойдете к себе, — сказал Баклагин.

— Да куда же я пойду, когда в этом зале мне и отведена квартира...

— Да... Разгулялись, видать, до утра...

Кавказец, все его попросту звали Сандро, кричал что-то о рубке. Сильно посоловевший пожилой, тучный пехотный капитан, сидевший верхом на стуле по середине столовой, сказал с пьяной убедительностью:

— Ну, полно хвастать, Сандро. Где тебе перерубить человеческую шею? Там эти чортовы мускулы... Кости, позвонки, жилы, сухожилия... Это, брать, тебе не курица...

— Давай твоя шея, чисто срублю!

Сандро выхватил из ножен шашку. В пламени ламповых огней золотой молнией блеснуло лезвие кавказского «волчка»...

— Ну, что ты, Сандро, — поворачиваясь к нему, сказал юноша-доброволец, — с ума, что ли, спятил, нашему славному капитуше голову рубить? Ты что же, большевик, или кто?..

— Давай мне балшевика... Давай коммуниста... Станови на колени... Голова буду чисто рубить!..

— Эк, его развезло, — проговорил, зевая, Акантов. — Потеснитесь немного, я на диване прикорну... Вторая ночь без сна...

Акантов прилег, согнув ноги в коленях, положил голову на ручку дивана и закрыл глаза. Он продолжал слышать шум и крики, но шум и крики точно удалялись, уходили от него. Потом все стихло и ушло в небытие. Все исчезло... Акантов крепко заснул. Он спал в неудобной позе, одетый, с головой на жесткой сальной ручке, но спал недолго. Его разбудил дикий крик:

— Давай!.. вай... вай... вай!..

Акантов открыл глаза и несколько мгновений ничего не мог сообразить. Все показалось ему диким, кошмарным сном. Подле него стоял доктор и говорил, торопливо и растерянно:

— Полковник Акантов... Егор Иванович, что же это такое? Их остановить надо...

За столом, напротив Акантова, крепко схватив за руку выше локтя Гайдука, стояла Магдалина Георгиевна и безумными, огненными глазами смотрела вглубь столовой.

Стол был отодвинут. На образовавшемся пустом месте стоял на коленях Бродский. Он вытянул шею и со странною, глупою, ничего не понимающей, улыбкой оглядывал столпившихся вдоль стен офицеров. В углу, за печкой, стоял, хищно нагнувшись, напряжив согнутые в коленях ноги, Сандро. Он подоткнул полы черкески за ременный пояс, вытянул шею и смотрел безумными, жадными глазами на Бродского. В правой руке его дрожала крепко зажата в кисти руки обнаженная шашка. Все это казалось или сном, или дикой какой-то игрой. Вдруг, с пронзительным криком: — Давай-вай-вай- вай !.. — Сандро вылетел, как вихрь, из-за печки, шашка визгнула в воздухе, и никто и охнуть не успел, как начисто отсеченная голова Бродского, с глухим стуком, точно упавший со стола кочан капусты, покатила к ногам Магдалины Георгиевны. Обезглавленное тело покачнулось, и медленно, струя фонтаном кровь, повалилось на пол.

Как новая Саломея, бледная до синевы в лице, с горящими глазами, прижав обе руки к груди, стояла Магдалина Георгиевна. Томящая, гулька до звона в ушах, кругом стала тишина. Вскочивший с дивана Акантов услышал, как металлическим, звенящим голосом сказала Магдалина Георгиевна:

— Какой вы молодец, Сандро!..

Она пошла, покачиваясь, из столовой, Гайдук подбежал к ней и взял ее под руку.

В ту же минуту, совсем близко, казалось, что в самом поселке, раздались выстрелы, и вбежавший в трактир доброволец крикнул:

— Господа!.. Красные нас атакуют!..

XVIII

С этой тяжелой, кровавой ночи счастье победы покинуло Добровольческую армию. Точно присутствие женщины, артистки Магдалины Георгиевны Могилевской, принесло несчастье, сглазило былые успехи.

В ту страшную ночь выскочили с трудом. Денщик Белоцерковского на батарейной тачанке умчал полковницкую барыню в тыл. Батарея стала на позицию у самой станции, на площади, подле трактира, и беспорядочными, частыми выстрелами остановила наступление красных и дала возможность кое-как собраться пехоте. Сандро, во главе ординарцев и конных офицеров, с безумной отвагой кинулся навстречу красным казакам, и был убит, но красных опрокинул, несмотря на то, что красных было в десять раз больше.

Утренний густой туман прикрыл отступление полка Акантова.

А там и пошло...

Осенний ветер срывал последнее золото листвы с белых берез, темнели и набухали влагою высокие тополя и узкими метлами торчали у въезда в селения. Черноземная грязь широких степных шляхов губила людские и конские силы. По железнодорожным путям тянулись бесконечно длинные составы товарных поездов. Увозили добычу, беженцев из покидаемых городов, офицерских жен и детей, всех тех, кто, в той или иной мере, помогал добровольцам. Судьба тех, кто, по легкомыслию, или потому, что поверил обещаниям красных, или просто не пожелал расстаться с насиженным гнездом и имуществом, и остался, была ужасна.

За Добровольческой армией ползли слухи о невероятных пытках, которым подвергали всех тех, кто когда-то радовался победам «белых» и встречал их, как триумфаторов. Заживо сожженные монахи и священники, посаженные на колья люди, офицеры, с которых с живых снимали кожу, выкалывали и выжигали глаза, изнасилованные толпою пьяных красноармейцев девушки, — страшными призраками шли по следам отступающих. Они стояли над ними жестоким, омрачающим совесть, упреком...

Арьергард добровольцев, лучшие их полки, кидались в контратаки, жертвуя собой, чтобы задерживать настигавшую армию красную нечисть. Главные силы отступали неудержимо, почти не останавливаясь. Сыпной тиф косил армию. Силы людей были надорваны, дух утерян...

Наступила зима.

Полк Акантова, с батареей Белоцерковского, остановился на дневку в большом селении. По случаю дня рождения Магдалины Георгиевны, Акантов получил приглашение к Белоцерковскому на обед.

Обед устраивался в доме волостного правления. Сам Белоцерковский жил неподалеку на краю селения.

Акантов пошел на обед с доктором Баклагиным. В серебряной оправе иная были нарядные высокие тополя. Раскидистые яблони и груши, с налипшим на черные их ветви снегом, стояли недвижно, как зачарованные. Закатное солнце позолотило их белый, снежный убор.

Акантов шел рядом с доктором, и тот говорил ему ворчливым баском:

— Помните, осенью, в тот ужасный день, когда был у нас бой на станции, я рассказывал вам про патологию гражданской войны... Подтверждения кое-какие уже имеются, Гайдук при Могилевской в роли «кавалье серван», то есть, по-нашему, — хахалем околачивается... А благороднейший рыцарь наш, Николай Иванович, туча тучей... Ревнует... По писаному идет и к нехорошему приведет...

Гулко стучали сапоги по обмороженным, покрытым льдом и посыпанным песком, ступеням крыльца. На перилах, на подоконнике, на ставнях, на пологой железной крыше пуховыми подушками лежал толстый слой снега. Предзакатное небо казалось зеленым, розовые лучи солнца клали нежные, переливающиеся краски на снежную белизну. Мягко и душисто был мороз.

Акантов приостановился на крыльце и посмотрел вдоль улицы на север. За селением, в ровной, далеко идущей степи, курились голубые туманы. И почти на горизонте, в безлюдном просторе, лиловым островом стояло селение: там был неприятель, — большевики...

Потоптавшись на досках ступеней, чтобы стряхнуть налипший на сапоги снег, Акантов и Баклагин вошли в избу...

В просторном помещении, с белеными известкой стенами, густо пахло капустой и горячим тестом. Большие, длинные пироги, только что вынуты из печи, стояли на столе и точно дышали золотистой масляной, хрусткой корочкой.

Батарея постаралась угодить любимому командиру. Деревянный, стул в голове стола был увит еловыми ветвями. Шарообразные кусты бледно-зеленой омелы с прозрачными белыми ягодками были подвешены над праздничным столом. Но хозяина и хозяйки еще не было. Старший офицер батареи, капитан Бондарев, встретил гостей:

— Николай Иванович просил извинить его, — сказал он Акантову, — он чуть-чуть припоздает. С час тому назад, он с поручиком поехали попробовать в санках нового рысака, которого увели из-под Курска. Вы не видали его?.. Темно-серый, совсем стальной... Побегка изумительная.

— Беговой, наверно, — сказал другой офицер-артиллерист, Навагин. — Им уже и вернуться время, — добавил он. — Темнеть начинает...

Солнце, заливая румяным светом белые стены, и, поиграв перламутровыми красками на расписных морозом стеклах, скрылось, и темнота, по-зимнему уютно вошла в теплую комнату.

Солдаты-артиллеристы зажгли лампы. Офицеры батареи, их было шесть, Акантов, Баклагин и два пехотных офицера, толпились около стола, поджидая хозяев. Кое-кто закурил папиросу. Создавалась некоторая неловкость. Разговор не вязался. Посматривали в окно, закрываясь от света ладонями, выходили на крыльцо... Кто-то сказал:

— Идут...

На дворе под окнами раздался топот конских ног и шелест санных полозьев. Из освещенной комнаты в сумрак наступившего вечера не было видно. Акантов вышел на крыльцо посмотреть рысака.

Сани остановились у крыльца. В них неподвижно лежал человек в светлой длинной шубе. Другой, — Гайдук, — соскочил с саней, и, обмотав вожжи около веревки крыльца и отталкивая Акантова, вбежал по ступеням в зал:

— Полковник Белоцерковский сейчас застрелился! — взволнованным голосом сказал Гайдук.

— Где он?..

— Я привез его. Он в санях... Все бросились в двери...

Быстро убрали со стола ароматные пироги, сняли бутылки, столовые приборы, составили все по скамьям и на полу.

Поручик Навагин размотал со стула еловые ветки и разбросал их по полу. К запаху капустных пирогов и лука примешался смолистый аромат ели, напоминающий о празднике Рождества Христова и о покойнике...

Тяжело топоча ногами, впуская морозный пар в теплую хату, офицеры и солдаты внесли тело полковника Белоцерковского, и, по указанию доктора Баклагина, положили его на длинный стол, на белую, холщовую скатерть.

Мертвая, скорбная тишина стала в зале. Все растерянно жались вдоль стен. Доктор Баклагин приступил к осмотру тела самоубийцы:

— Так... так, — бормотал он, осторожно приподнимая голову Белоцерковского, с белым, точно восковым лицом и седеющими, залитыми кровью волосами. Темно-красное пятно расплылось по чистой скатерти, слышнее стал противный, пресный, металлический запах свежей человеческой крови.

— Господа, — сказал Баклагин, оглядывая взглядом офицеров, — если бы кто-нибудь из вас, не приведи Бог, вздумал бы стреляться, куда и как стрелялся бы он?..

— В рот.

— В сердце...

— В висок, — раздавались несмелые голоса.

— Хорошо... В висок?.. С какой стороны? Навагин потянул руку к своему виску:

— С правой, Иван Алексеевич.

— Конечно, с правой, — подтвердил и юный юнкер.

— Господа, вы не примечали, Николай Иванович не был левшой?..

— Ну, что вы, доктор... Да когда же?.. Самый нормальный человек...

— Ну, так... так... Поручик Гайдук, с какой стороны от вас сидел полковник?..

Но поручика Гайдука в комнате не было. Кинулись к крыльцу, где была привязана лошадь, но там не было ни лошади, ни саней... Все, кто в чем был, в рубашках и кителях, без шапок, побежали на квартиру Белоцерковского...

Там никого не было... Денщик Белоцерковского с утра ушел в волостное правление готовить обед. Хозяин хаты довольно безтолково объяснил, что барыня с ночи уложила все свои вещи по сундукам и увязкам, и вот: «зараз приехал офицер за нею, с санями и со всеми вещами, увез ее в санях. Да шибко так погнались»...

— А куда?..

— Кто ж их знает-ведает... Вот, Сенька видал, сказывал: к краснюкам подались. Кнутом так и нашпаривал он коня-то... Вскачь пустил лошадь-то, вихром умчались...

Вышли на улицу.

Ночь. По черному небу загораются звезды... Ничего не видно в мягко сверкающей, как темная парча отливающей, снежной степной дали...

Какая тут могла быть погоня?..

Когда Акантов вернулся в волостное правление, он застал доктора Баклагина над телом Белоцерковского. Доктор сказал ему:

— Вот вам и патология!.. Какое там к черту самоубийство?.. Самое настоящее, и при том же чекистское, убийство...

С врачебной безцеремонностью, Баклагин приподнял голову мертвеца:

— Извольте видеть: в затылок с левой стороны и на расстоянии не менее шести вершков. И волосы не обожжены... Какой самоубийца так далеко дотянет?.. Какой там, к черту, самоубийца станет стреляться, имея рядом с собой другого человека?.. Все у них было обдуманно и сговорено. А такие люди, как Гайдук?.. Им что?.. Им все одно, кого пристраивать: красного или белого, — один черт!.. Да, я слышал, мне сейчас кто-то из офицеров сказал, будто родной брат Гайдука в Петроградской чека служил... Только теперь додумались понять это!.. А она?.. Выходит, полковник Арчаков не ошибался. Нюх у него, как у хорошего пойнтера... «Молитву офицера» читала, плакала слезами жалости и благоговения, а душа-то ее была с ними, с красными... Там и платят щедрее, и чувственность там острее... Звериная чувственность... Такова-то, батенька мой, патология гражданской войны!.. Не дай Бог никому ее испытать...

Акантов больше никогда ничего не слышал ни про Магдалину Георгиевну, ни про Гайдука. Ушли, словно в другой мир...

И, конечно, Дуся и капитан Лапин — не Магдалина Георгиевна и Гайдук: года не выходят... Но похожи... Странно как-то — повадкой всей похожи...

XIX

Подобно длительному, мучительному, кошмарному бреду разворачивалось далекое прошлое в памяти Акантова: «Да, вот, как оно было... Вот какая была моя жизнь, жизнь нашего поколения. Тяжелые бои, рукопашные схватки... разстрелы пленных коммунистов... Кровь и ужас... непревзойденная храбрость, мужество, и тут же — гнусная подлость и предательство... Патология гражданской войны... Началось-то это когда?.. Эге, вот оно, когда началось-то... Когда мы... Да, мы... Не коммунисты... Не какие-то там Ленины и Троцкие, нет, именно мы, Русские офицеры и солдаты, жидовской лжи поверили и Государю изменили и предали его толпе... Вот за то и пришли за границу безславные, пришибленные, не смеющие громко слова сказать, и разбрелись по мелким, не нашим, работам... Да, вот как!.. Помню: пришел ко мне как-то товарищ, видный когда-то, блестящий офицер, голодный, отрепанный, на «шомажном» пособии из милости прозябающий, пришел и говорит: «Мне бы хотя какую-нибудь там работишку достать!.. С голода жена пухнет!..». Что у нас? В прошлом — кровь и ужас неповторимый гражданской войны, худшей из войн, в настоящем — бедность и «работишка»... А, ведь, в эти годы складывалась и формировалась душа моей Лизы...».

Незаметно стало светать... Ни души не было на площади, в сквере и на улицах, звездой разбежавшихся по городу. Никого. Ни шороха шагов, ни шума колес. Спал город. Блаженным, тихим, мирным сном спал, и в нем столько лет спала Лиза. Ей не снились, ей не вспоминались кровавые кошмары, видения замученной, истерзанной Родины...

Вдруг, как-то сразу, ожил город. За сквером через площадь потянулись длинной вереницей желтые вагоны трамваев. С гулким грохотом промчался большой, двухэтажный желтый автобус, совсем пустой, Газетчик в красной шапке появился на углу у сквера. Проехал грузовик, груженный капустой и еще какую-то зеленью, и появились первые прохожие. Пошли хозяйки с веревочными сеточками на рынок за провизией. Все сильнее и оживленнее становился грохот и шум вдруг проснувшегося города...

Акантов закрыл окно.

Шесть часов. Новый день наступил. День отъезда в Париж, на новую жизнь, с Лизой. В десять часов милая девочка обещала зайти за Акантовым, чтобы вместе идти по магазинам. Ей так хотелось показать отцу, что, вопреки всему тому, что тот слышал во Франции, — в Германии «все есть»... И вдруг назойливая мысль встала в голове: «в одиннадцать... в одиннадцать, он, как будто, обещал ждать Лапина, этого страшного капитана, совсем не похожего на капитана, чтобы ехать с ним в Кайзергоф завтракать и знакомиться с Тухачевскими... Все это страшно интересно, но именно — страшно. Почему-то от всего вчерашнего вечера, от радио, от стихов, прочтенных

Дусей, осталось нечто смутное и зловещее. И сейчас стало страшно идти с Лапиным. Заскребло на сердце. Снова поднялись видения гражданской войны, Гайдук и Магда Могилевская, но это продолжалось лишь одно мгновение. Вдруг навалился на Акантова сон, завладел им, повалил на постель, и не успел Акантов сообразить что-нибудь, как уже спал крепчайшим своим обычным, солдатским сном. Все исчезло. Точно сразу кто-то отпустил колки туго натянутых душевных струн, и струны ослабели, повисли безжизненно и беззвучно, и легкий шум в ушах заглушил все думы и воспоминания...

Акантов проснулся в десятом часу. Все было ясно в голове. Никаких Лапиных, никаких Тухачевских!.. Не мальчик он, чтобы поддаваться, быть может, на провокации. День он проведет с Лизой, как и было уговорено, а вечером, в вагоне третьего класса, они уедут в Париж, и все будет с Лапиным и Дусей покончено... А как же быть с капитаном?.. Если он и правда обещал?.. Черт с ним совсем... Ну, попросить Лизу передать через хозяйку, что он извиняется, что неотложные дела заставили его уйти раньше, вот и все... Стоит ли морочить голову из-за этого...

И, совсем готовый, чтобы идти в город, Акантов стал ожидать Лизу.

XX

У Лизы в тот вечер, который ее отец провел у знакомого-незнакомца, случайно встреченного на концерте, были назначены ее проводы. И Лиза была очень рада, что кто-то пригласил ее отца и она могла освободиться. Она проводила отца в его пансион, вернулась к тете Маше и сейчас же стала одеваться, как на бал.

— Куда это ты? — спросила ее Марья Петровна.

— К Верховцевым, — притушивая блеск глаз ресницами, сказала Лиза привычную и неизбежную ложь. — Меня хотели проводить мои подруги.

Молодежь в таких случаях собиралась у старого и богатого холостяка, барона Эриха фон Альвенберга. Но говорить об этом «предкам» ни Лиза, ни ее подруга Соня Верховцева, никогда не решались. «Предки» не могут понять, что гораздо веселее проводить время в богатом и радушном доме барона, где большие комнаты и есть лакеи, где можно сколько угодно есть и пить, где не надо думать, что хозяевам потом придется мыть посуду что хозяева должны готовить для них ужин, где достаточно места, чтобы потанцевать под рояль или под радио, где к услугам молодежи есть моторные лодки и автомобили, чем сидеть в маленьких и тесных комнатках Верховцевых и мучиться, что бедной Аглае Васильевне приходится в это время для них торчать у плиты на кухне... Но «предки», даже и приученная к свободе Мария Петровна, не могут этого понять. У «предков» обо всем грязные мысли, и они не могут уяснить настоящих товарищеских, простых отношений...

Лиза надевала на себя бальное платье, с длинным, обнажающим спину по самого крестца, вырезом, и, поворачиваясь около тройного зеркала в комнате Марии Петровны, осматривала свою красивую, с желобком, хорошо загоревшую спину.

Марья Петровна залюбовалась на племянницу:

— Отчего ты, Лиза, не оделась еще при отце? Ему доставило бы удовольствие посмотреть на тебя в таком наряде...

— Ну!.. Что ты, тетя!.. Да разве можно?.. Папа такой старомодный. Он и то увидал мою завивку, и говорит: «Что это ты за рога нацепила на темя?». Он был так рад, что я не покрашена и губы без подмазки, что сказал: «как я рад, что ты не мажешься, как наши Парижские дуры»... А я сегодня и краску немножко положу, не хочется быть бледнее подруг.

Марья Петровна не спрашивала, кто будет провожать Лизу. Напрасный был бы вопрос. Ответ получился бы неопределенный: «кто?.. Подруги... их братья... Кое-кто из товарищей по школе... Ты их не знаешь, тетя...».

И еще — знала Марья Петровна, что вернется Лиза с разсветом, — свои ключи у нее, — и спрашивать, где провела она ночь, тоже бесполезно... Такой уж век. Молодежь завоевала себе свободу, и не любит, чтобы вмешивались в ее дела. Старикам позволено жить, дышать позволено. А заглядывать в молодую душу? Зачем? Можно получить не любезный ответ, который, в переводе, будет обозначать: «а вам-то какое дело?»...

Мы, молодежь, свободны и независимы. Это мы строим государство. У нас есть свои наставники и руководители. Мы маршируем и делаем гимнастику мы участвуем на праздниках, вы можете смотреть на нас, любоваться нами, а проверять нас — не советуем... Мы строим, мы движемся

вперед; вы, в свое время, разрушали и едва не погубили прекрасной нашей Родины, так уж сидите молча, и не беспокойтесь понапрасну...

Я хорошо загорала в этом году, — говорила Лиза, поворачиваясь перед зеркалом и щуря глаза, — ровно... Только не очень темно. А Соня вернулась с моря совсем негритянкой. Темная, темная...

Золотисто-смуглая, загорелая спина блестела молодым блеском тонкой кожи. Очень красива была она, стройная, гибкая, соблазнительно уходящая в стянутую юбку. Завитые в темени волосы отблескивали червонным золотом. Ясные голубые глаза шли счастьем и волнением ожидания...

Лиза думала: — «Сегодня все должно и решиться»... «Entweder-oder»...

Лизе не очень было приятно ехать в бальном платье, с длинным, узким шлейфом, по подземной дороге, но все так ездили, и Лиза с этим примирилась...

У Альвенберга ее ожидали. Все были в столовой, но за стол не садились. Лиза сразу увидела подле баронского председательского места, в вазе, большой букет прекрасных розовых гвоздик, перевитый голубой лентой. Кто-то подумал о ней. Неужели, Курт? Нет, конечно, милый баловник барон.

Едва Лиза вошла, как все встали:

— Achtung (*- Внимание! (Смирно!))!

Барон, высокий, лысый человек, безупречно одетый, с круглым, полным, веселым и добрым лицом, прекрасно выбритым и румяным, вставил в глаз монокль и пошел навстречу Лизе.

Большая люстра блистала множеством лампочек, отражалась пестрыми радужными огнями в хрустальных рюмках и бокалах, в темных разноцветных бутылках и фарфоровых блюдах, и бросала яркий свет на белую скатерть, усыпанную цветами.

Лиза сразу погрузилась в мир богатства, довольства, красоты и дружеского, товарищеского немецкого непринужденного веселья. Она любила этот мир. Она сейчас же позабыла об отце и о том, что ее ожидает завтра. Ей стало казаться, что этого не может быть, и то «entweder-oder», о котором она говорила тете Маше, вот-вот решится в ее пользу.

— Achtung! — барон подал Лизе букет. — Фрейлейн Лизе... Представлять вам никого не надо, вы всех знаете, но позвольте мне в этот наш прощальный вечер напомнить вам членов нашей дружеской компании, так опечаленной тем, что вы принуждены покинуть Германию, так гостеприимно вас принявшую, и где, я надеюсь, вы чувствовали себя, как дома... Я хочу, чтобы они все запечатлелись в вашей памяти навсегда... Если только в нашем мире есть такое понятие — «навсегда»?..

— О, барон, — сказала смущенная Лиза. — Могли ли я когда-нибудь и где-нибудь вас позабыть!..

— Вот этот, здоровый парень, — вы его знаете, — Курт Бургермейстер... О, я вижу, вы его очень хорошо знаете... Вы, как будто, даже немного покраснели... Славный парень, инженер, изобретатель и преданный сын Германии. Немножко узковат в своих воззрениях. И, пожалуй, — шляпа!.. Идет по цветнику, и не видит цветов, — удел ученых и, особенно, математиков...

Курт протянул Лизе большую, сильную руку. Какой-то ток промчался по жилам Лизы. Она посмотрела в глаза Курту. Она ждала, что скажет ей Курт. Может быть, это будет даже сейчас!..

Курт ясными, спокойными, уверенными в себе глазами посмотрел в синеву глаз Лизы, и, ничего не сказав, отошел в сторону, уступив место высокой темной шатенке, со стриженными на затылке волосами, с локонами на темени, и почти черною обнаженной спиной... Ее круглое, с выдающимися скулами, лицо сияло. Она едва удержалась от того, чтобы не прыснуть радостным смехом в лицо Лизе.

— Und das ist die slavische Seele (*- А это — славянская душа!), Софихен Верховцева. Ваш верный и неизменный друг. Преданный вам со всем пылом славянской души.

Темная, загорелая рука в нежном золотистом пуху обняла Лизу за шею, и Соня горячо поцеловала подругу. Лиза почувствовала запах водки.

— Вы уже пили, — с возмущением сказала она.

— О! Ja!.. — ответила, смеясь, Соня.

— Позвольте, фрейлейн... это Фред Ленфельд... Покажи ладони, Фред... А? Какие мозоли!.. Только из лагеря, где отбывал повинность на рабочем фронте... Видите, как трудился Фред на пользу Государству... А сам — белокур, синеглаз, настоящий Гессенец... Чистая раса...

— Zu Befehl (* - Слушаюсь)! — ломающимся, полудетским голосом сказал юноша, одетый в коричневую рубашку с воротником и галстуком, вобранную в шаровары.

— Его сестра, Эльза... Доктор медицины.

Высокая, худощавая девушка в больших круглых очках радостно пожала руку Лизы.

— Теперь пойдут все ученые... Кэт Бланкен... Не смотрите, Лиза, на легкомысленный, вид этой девицы, на ее столь развитую грудь и прочее и прочее; все в порядке; не смотрите, что она уже до вас порядочно выпила водки, Русской водки, — она, тем не менее, доктор политической экономии!.. Она даже любит, чтобы на письмах ей писали: Fraulein Doctor (* - Барышне доктору)... Ну, что скажу я вам о нашей маленькой Марихен Гутштабе?.. Вы посмотрите, можно ли довести свою плоть до такого полного отсутствия плоти?.. Один скелет... Статуэтка Хутшенрейтерского фарфора. Ни живота, ни груди, ни, словом, ничего того, что может волновать такого старого циника, как я... А волосы?.. Если не водород, то такого цвета ржаной соломы вы не найдете и у дев Гессенского Герцогства, где жили отважные Амазонки, прогнавшие римлян с высот Таунуса... Теперь... Кажется, мы все вместе смотрели Зудермановскую «Родину», с Зарой Леандер, в киношке. От Зудермана, как это всегда бывает в фильмах, ничего не осталось, зато Зара Леандер там сверх великолепно, и вы помните это?..

Барон прекрасным, будто и точно женским, низким, грудным контральто, пропел весьма выразительно:

Voll Verlangen nach der Liebe,

Und er wünscht, dass es ewig so bliebe,

Denn die Liebe macht so schön.

(* - Полон жаждой любви,

И желает, чтобы вечно так было,

Потому что любовь делает такую красивою.)

Монокль выскочил из его глаза. Круглое, полное лицо барона широко улыбалось, а молодой человек в синей матросской куртке с золотыми пуговицами с якорями, матрос немецкого торгового флота, высокий, темноволосый, с блестящим пробором на голове, припомаженный и очень красивый, вспыхнул ярким молодым румянцем, и большие, «карие, влюбленные глаза» его устремились на Лизу с таким обожанием, что Лиза смутилась...

— Игорь Верховцев. Германский подданный, — он немец! Но он в полной неприкосновенности сохранил свою Русскую душу и несет ее, как чашу переполненную драгоценным вином, полную горячей любви к Родине и ее олицетворению в вашем лице... Он хочет донести ее до счастливого часа освобождения России от жидовской власти большевиков... И я уважаю его, я ценю его, я люблю его, хотя и знаю, что, кликнет его Россия, настоящая, не большевистская Россия, не серп и молот, а двуглавый императорами орел, не красный флаг насилия, рабства и крови, но золотой Императорский штандарт, — и он забудет свое Германское подданство и побежит служить России... Я не осужу его тогда, я пойму его и прощу, потому что знаю, что нет ничего выше Родины... А сейчас Родина нашего Игоря — Германия... Не правда ли, мой милый?

— Zu Befehl, Herr Baron! (* - Слушаюсь, господин барон!)— ясно, четко, по-солдатски отчеканил Верховцев.

— А вот, Лизе, если будет у вас тяжелая минута тоски, если заговорит в вас ваша славянская душа, и захочется вам поплакать в жилет... Рекомендую вам — жилет этого немецкого философа из лучшей непромокаемой материи сделан... Если понадобится вам разумное слово человека, по-немецки, сентиментально влюбленного в вас тихой и преданной платонической любовью, — то приходите к этому верблюду в очках... Милый Ральф, откуда вы достали такие огромные и страшные очки? Такие носят только алхимики, американские студенты да еще... — барон выбросил монокль из глаза и добавил с необычайной серьезностью, — да еще очковые змеи...

Ральф Секендорф, милая Лиза, специалист по ядовитым газам. Он хочет изобрести такой газ, чтобы он действовал по всему земному шару, но только на неарийцев, — пустить такой газ, и в одно мгновение все жида подохнуть. Но, будучи таким кровожадным, сам Ральф, если случится, поползет по нему букашка, он бережно снимет ее и пустит на волю, за окно. Ральф Секендорф, Лизе, влюблен в вас самую чистую, кристальною любовью, и мы можете ему вполне верить. Он философ... Нет, не подумайте, он не шляпа, как Курт, который до того заучился, что не может отличить бриллианта чистойшей воды от мусора... Но Ральф философ, и знает, что верблюды питаются не розами и фиалками, но колючими мимозами и сухою травую пустыни... Вот, кажется,

и все... Ах, виноват, — еще лихой драгун Клаус Баум... Он и сабли не хотел снимать до вашего прихода... А, ведь, и тебя, мой милый Клаус, в один прекрасный день моторизуют, и ты с лихого коня переседаешь на вонючую мотоциклетку... Вот, Лизе, тут все ваши друзья. Они пришли сегодня ко мне, чтобы проводить вас, пожелать вам счастливого пути, и, ни буду скрывать, — скорого благополучного возвращения... А теперь, meine Damen und Herren, Volksgenossen und Volksgenossinnen (* - Дамы и господа! Мои товарищи и подруги!) ... тра-та-ти-та-та-ра-та-та-та!.. К водке!..

— Но, безобразники... Я вижу, что вы уже пили, — сказала Лиза, принимая из рук барона хрустальную рюмку, до верха полную водкой. — У Софихен щеки бурые и глаза совсем масляные... Фред, ты напоил свою невесту... Она стала совсем, как калмычка...

Не узнать было теперь Лизы. Длинные, загнутые кверху, ресницы не гасили синего пламени блестящих глаз. Душа была нараспашку. Эти немцы немки ей были, как самые близкие и родные, не нужно было здесь ни притворяться, ни лгать.

Лиза с шиком, по мужски, так как того не выносил ее отец, «хлопнула» рюмку, не поморщилась, и, не закусывая, протянула рюмку Курту:

— Курт, налей еще, мне надо с вами подравняться... Она «хлопнула» и вторую, и потянулась к омару:

— Обожаю омара... Где достали?.. совсем свежий... На Тауенциен-штрассе!.. О, барон!.. Как вы нас балуете!..

— Как вы нашли вашего отца? — спросил, наливая третью рюмку, барон.

— Я думаю, — глубокомысленно, вытягивая тонкую шею и точно становясь похожим на верблюда, тянущегося к ветке колючей мимозы, сказал Секендорф, — я думаю, это так странно, столько лет не видеть своего отца, и вдруг встретиться с ним... Как же вы узнали его?..

— Узнала сразу... Что-то толкнуло меня к этому человеку с короткими седыми усами. Его образ, смутно сохранившейся у меня в памяти с детства, изменился, что-то неумовимо милое и родное было в нем...

— Он генерал? — спросил Баум.

— Да, милый Клаусхен. И потому потрудись называть меня теперь — экселленц...

— Zu Befehl, Exellenz!

— А, главное, помогли мне признать его — усы... В стрелку закрученные. Такие теперь можно видеть только на экране, в драме прошлого века.

— Твой папа носит усы! — воскликнула Гутштабе, — Это, должно быть, ужасно.

— Представь, Марихен, потрясающе... Седые, тонкие... Да ведь так и должно быть... Предок... Человек прошлого века. Выправка военная. Получше, чем у Клауса, который все переламаывается в поясице... ну и еще... В руках порт-плед...

— Что такое порт-плед?..

— А?.. Не знаете! Это сверток такой, из шотландской материи. В него можно положить и один носовой платок, и, при желании, можно увязать в него целого... слона...

— Слона?.. Ну уж и скажешь.

— Ну, да, Марихен, целого слона, или гиппопотама... Сверток, затягивается ремнями. Если бы моего папу снять тогда, — прямо ставь в фильм Зудермановской «Родины».

— Твой папа, по-немецки?..

— Ни бум-бум... И потому я и должна была быть неотлучно при нем. Они вместо «guten Tag», или «guten Morgen» (* - Добрый день... доброе утро...) , говорит «gesund»...

— Что же это должно обозначать?..

— Он просто переводит, и так неумело, Русское «здравствуй», «здоровы»... Это единственное слово, которое он выучил, он так и приветствовал моего дядю Отто: «gesund»... Тетка в хохот, а дядя глаза вылупил, как бык и мычит, как корова...

— А как ты заговорила с ним, —спросила Верховцева, — на ты, или на вы?..

— На ты... Так вышло, и потом, мы переписывались всегда на ты... И, правда, я сама даже удивилась, так все сразу просто и по-родственному у нас пошло... Хорошо и сердечно...

— Ты ему понравилась? — спросила Эльза.

— Ну, еще бы! — воскликнул Игорь и покраснел.

— Молчи, уж, — сказала брату Соня Верховцева.

— Почему, Лизе, отец вдруг так и решил увозить вас? — спросил барон.
— Работать надо, — вздыхая, кротким голосом сказала Лиза... — Ну, и еще... Или замуж... или?..
— Но вы могли бы работать здесь...
— Здесь?.. Сложно очень... Доктор философии!.. Не знаю, барон... Но мне и самой стало казаться:
лучше, и правда, мне уехать. И куда же, как не к отцу?..

Голос Лизы прозвучал грустно, грустно. На несколько мгновений в столовой все примолкли. Игорь
внимательно, не скрывая влюбленности в глазах, смотрел на Лизу. Та не видела его взгляда. Она
опустила глаза. Все молча и сосредоточенно ели.

— Ну, — сказала Лиза, встряхиваясь, — «Лейтенант платит долги»... Стоить говорить об этом.
Нужно, и нужно... Отец нашел, что я стала немкой, совсем немкой. Он мне сказал даже, что ему
неприятно, что я так хорошо и красиво говорю по-немецки. Он хочет снова сделать меня Русской.

— Ты, Лиза, Русская, — сказал Игорь, — и ты должна быть Русской... Лиза пронзительно
посмотрела в глаза Игорю. Злой огонек горел в ее глазах:

— Это говорит мне немецкий подданный, матрос германского флота, и говорит... по-немецки...

— Что это значит, Лиза?..

Лиза пожала плечами:

— Подумай... Может быть, поймешь...

Барон разлил по светло-зеленым высоким, на тонких ножках, рюмкам бледно-золотистый
Мозель.

Костер разговоров угасал. Точно водой на него плеснули. Все знали драму любви Лизы; никто не
хотел говорить о ней. Надо было подбросить сухих сучьев в костер, заглушить сердечную тоску
молодых душ. Барон постучал вилкой по хрусталу, и запел своим почти женским контральто:

Trink, trink, Brunderlein, trink!...

Дружно приняли от него все гости:

Lasset die Sorgen zu Haus,

Meidet den Kummer und meidet den Schmerz,

Dann ist das Leben ein Scherz! ...

(* - Пей, пей, братец мой, пей...

Дома заботу оставь,

Горю не внемли и боль прогони, —

Шуткой всю жизнь живи! ...)

(Перевод А.Ф. фон Шлиппе).

— Ни тоски, ни забот, ни печали, — сияя блестящими, темными, увлажненными, хмельными
глазами, воскликнула Соня Верховцева и протянула Лизе свою рюмку.

— Клинг... клинг... клинг... — мелодично звонко зачокались, сталкиваясь, рюмки. Жидкое золото
взблескивало в них, отражая огни люстры.

— Наполните ваши бокалы...

— Prost!..

— Prost!..

Секендорф разливал вино. Его некрасивое лицо было красно, волосы на темени стали дыбом. За
толстыми стеклами круглых очков счастьем сияли добрые, хмельные глаза.

— Барон, — сказал он, — споемте нашу обычную, нашу любимую... Начинаем...

— О, только не ты, милый Ральф, — воскликнул Клаус, — у тебя слух, как у крокодила...

— И голос, как у дикой кошки, — сказала Эльза.

— А чувство ритма, как у пьяного велосипеда, — сказала Кэт Бланкен.

— Э, полноте, meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, дело не в крокодиле, и дикой кошке, и
даже не пьяном велосипеде, хотя я и позволю себе усомниться, чтобы велосипеды пьянствовали.
Дело в душе, в душевном настроении в переживании песни, а этого всего я дам в песне в
изобилии...

Секендорф встал, взмахнул вилкой, как дирижерской палочкой, и все запели в унисон,
молитвенно строго и стройно. Вел песню барон, ему вторила Лиза. Секендорф гудел низкой
октавой, и не портил хора:

Verschleucht die Sorgen, trink, liebet und singt,

Wen kummert, was morgen das Schicksal bringt,

Die Stunden verinnen, kommt keine zuruck
Rasch flieht von binnen mit ihnen das Gluck...

Легло, уносилось безвозвратное время. Лизе, — пьяненькая она была после водки и вина, — казалось: ощущает она неудержимый полет в вечность... Не остановить времени!.. Нельзя управлять событиями. К отцу, так к отцу!.. В Париж, так в Париж!.. Стряпать на кухне, чинить белье стареющему отцу, ходить за ним...

Звонким, чистым голосом пела Лиза, смотрела на Курта блестящими пьяными глазами, в них дрожала слеза, и, сквозь песню, думала: «Неужели он не понимает, что, если не теперь, не сегодня, то уже никогда!.. И, если сегодня, сейчас, этого не случится, то что остается ей делать, как не уехать от своей любви, от счастья, которое все равно прошло мимо, лишь поманив за собою?...». Она взглянула на золото вина в бокале, и, почти не думая о том, что поет, продолжала петь, покрывая сильным голосом весь хор:

Ich kenne eine Blute mit goldenen Schein
Dass Gott sie hute, sie heisst der Wein,
Er funkelt im Becher, er perlet und schaumt,
Nun trinket den Becher, nun trinkt und traumt...

Die Traume, sie steigen und schweben empor,
Sie tanzen den Reigen der Elten uns vor,
Sie bringen die Tage des Fruhlings zuruck...

Da schweigt jede Klage, da jauchzet das Gluck

(Гони заботы, пей, пой и люби,

Нам завтра нет дела до нашей судьбы.

Минуты летят все одна за другой,

И счастье берут безвозвратно с собой...

Есть цвет золотистый, - я знаю его,

Сам Бог на радость нам дал вино,

Шипит и играет в бокале на дне.

Ты лей, - и горе пройдет, как во сне...

Волшебные сны будут сниться тебе,

Все сказки и тайны увидишь в вниз...

Весну тебе дарит волшебный тот сон,

И горе замолкнет... И счастье кругом...)

(Перевод А. Ф. фон Шлиппе).

Лиза пела, мечтала, надеялась, ждала, и быстро, быстро билось ее юное сердце...

XXI

Молчаливый лакей барона, безшумно ступая, собрал со стола опустошенные блюда с закусками и бутербродами и пустые тарелки. Остались большие сладкие пироги: зеленый, уложенный виноградом и покрытый прозрачным желе, и нежно-розовый, земляничный. Лакей принес тяжелые серые, с синими узорами, каменные кружки и громадные зеленые пузатые кувшины с пивом.

— Неужели, господа, еще будем пить? — сказал Игорь Верховцев.

— А ты не можешь, — насмешливо сказала Лиза. — А еще матрос Германского флота!

— Мочь-то я могу. — Да только куда все это лезет...

— Можно немного погодя, — примирительно сказала Эльза. — Для здоровья пиво не вредно.

Лиза и Соня отошли от стола и развалились на широком диване с высокою прямою спинкой. Нервы Лизы были напряжены до крайности. Одно грубое прикосновение, и они лопнут, как слишком натянутые струны скрипки и, и она разрыдается или станет безумно хохотать.

Но... Кругом немцы... Не станет она показывать перед ним свою «slawische Seele»... Она — немка.

Она будет тверда, спокойна и разумна, как немка.

Но все ждала, из-под завесы густых прелестных ресниц блестящими темно-синими глазами поглядывая на Курта, ждала, и сама не знала, чего.

Курт, в дорогом светлом костюме, самый стильный, самый красивый, сильный, среди юношей, светловолосый, голубоглазый, настоящей молодой немец, сидел, задумавшись, в углу стола.

«О чем он думает?.. Высчитывает какую-нибудь кривую, решает в уме трудную задачу, устремлен в бесконечность, чтобы оттуда, из этой темной, таинственной, математической дали извлечь то, что ему надо для нового аэропланного приспособления, которое прославит Германское имя... А, вот, возьму и внесу в него смятение, загипнотизирую его»...

Лиза пронзительно смотрела на Курта и мысленно говорила ему со всею силою нежности своей любви: «Ну, оглянись!.. Ну, милый, дорогой Курт!.. Курт!.. Оглянись, посмотри на меня своими ясными глазоньками... Вспомни пережитое нами этим летом, как загорали мы с тобою на берегу Северного моря, когда часами лежали на песке... Курт вспомни, как чертил ты на песке свои кривые, как рисовал свои сложные машины, и когда твоя умная головушка запутывалась в формулах, кто ясным, светлым, вдохновенным Русским умом подсказывал тебе нужное решение? Курт, вспомни наши поцелуи, и тот огонь, что бежал от них по жилам, пьяня, как самое сухое шампанское... Знаю... Я — русская, ты — немец... Я бедная, ты — богатый... Курт, есть нечто высшее, чем сухой материалистический мир... О чем мы пели... Есть — любовь... Voll Verlangen nach der Liebe, und sie wunscht, j dass es ewig so bliebe, denn die Liebe macht so schon... (* - Полна жаждой любви, и желает, чтобы вечно так было, потому что любовь делает такую красивую)

Она была так прекрасна в эти мгновения своего таинственного колдовства, что все притихшие, было, за столом молодые люди и девушки, мочившие губы в холодном душистом пиве, любовались ею.

«Ну, оглянись, Курт!.. Курт!! КУРТ!!».

Курт не оглянулся.

Клаус принес гитару и сел рядом с Лизой. Звякнули струны, перебрали лады... Сначала невнятно, неопределенно, звуками, стонами, звонами заговорила гитара. Потом голос ее стал определеннее, яснее, громче, перезвоны словно подсказывали слова, слова вызывали картины.... Время шло. Уходило невозвратное время. Золотые часы перед разлукой таяли.

Отдернули тяжелые портьеры. Душно было в комнате, сильно накурено, пахло едою и пивом. Раскрыли настежь окно... Убывала, уходила, истаивала сентябрьская ночь, меркли в густой синеве неба угасающие звезды... Истаивала в тоске ожидания душа Лизы, меркли ее надежды...

Гитара играла бодрый марш. В такт с нею, за столом постукивали кружками. Кто-нибудь подымет свою, протянет к соседу или соседке:

— Prost!

— Prost!

Плыли, уплывали в памяти Лизы картины недавнего прошлого. На ней тогда была желто-коричневая куртка, белая блузка и черная юбка. Тяжелый ранец оттягивал девичьи плечи. В колонне по три шагала она с другими девочками за колонной юношей. Вон — впереди — Курт! Он выше всех, он ладнее всех. Его голова, как колос, блестит золотом волос на солнце. Чуть покачивается в такт шагу его ранец... Она его только и видит, точно в его ранце лежит ее счастье... Подле Курта — Клаус. Широкая красная лента у Клауса через плечо; на ней гитара... Вот так же заиграл он тогда, — совсем недавно — и Лиза тогда запела...

Кругом, как колонны огромного Божьего храма, стояли высокие сосны, задумчиво шумели широкими кронами вершин, кругом были песчаные осыпи, холмы, луга, и, впереди, за лесом, в зеленой арке выхода, блестит, блестит, блестит, извиваясь в изумрудной раме кустов; садов и плакучих ив Гавель, с его озерами, разливами, камышами, с белыми, косыми парусами чистеньких яхт... Разве там не было счастья?..

«Курт!.. Ты слышишь?.. Счастья?.. Счастья!.. Курт, оглянись!..».

Лиза выждала, когда Клаус вернулся к началу песни, и на всю столовую запела звучным, от природы хорошо поставленным голосом ту песню, что пели тогда...

Markische Heide, markischer Sand,

Sind des Markers Freuden,

Sind seih Heimatland...

Со всех концов столовой, по которой разбрелись гости, от открытого окна, из-за стола, от угла у портьеры двери, отозвались дружным хором на Лизин запевок:

Sind des Markers Freuden,

Sind sein Heimatland!

В такт марша, застучали башмачки девушек. Худенькая Гутштабе взяла под руку Игоря, и они зашагали вокруг стола, отбивая ногами такт. Барон широко улыбался круглым лицом и стучал в ритм песни тяжелой пивной кружкой...

Steige hoch, du roter Adler,
Hoch uber Sumpf und Sand,
Ueber dunkle Kieferwalder,
Heil dir, mem Brandenburger Land!..
(* - Рощи и поле, ровный песок,
Меркера радость, родной его кусок.
Подымись, орел ты красный,
Над лесом и песком,
Лети все выше, нам на славу...
Да здравствуй Бранденбург кругом...
(Перевод А. Ф. фон Шлиппе).

В два голоса — барон мягким баритоном, и Лиза звонким меццо-сопрано — продолжали песню... За окном небо посветлело, стали видны дали широких улиц, аллеи боярышников, из окна пахнуло свежестью осеннего утра, запахом орошенной росой густой листвы палисадников...

XXII

Когда молодежь расходилась по домам, было совсем светло. Барон фон Альвенберг приказал подать свой большой «Бенц», и забрал с собою Верховцевых, Кэт и Марихен.

— Обязуюсь в целостности и сохранности развезти всех по домам...

— Барон, — слабо протестовали барышни, — вы же устали!..

— Старый Немецкий студент никогда не устает после бессонной ночи. И так приятно теперь прокатиться по пустому городу...

Химик Секендорф и молодежавший, лихой драгун Баум подняли руки с приветливым жестом:

— Heil Hitler!

— Heil Hitler!.. — в пять голосов отозвались из серо-зеленой кареты барона.

Секендорф и Клаус зашагали по широкой улице к скверу, у входа в который горла в ярких солнечных лучах огромная буква «U», — «Untergrund» — подземная дорога.

Курт Бургермейстер подал свой маленький, изящный «Адлер» Лиз. Он всегда, отвозил Лизу после ночных пирушек.

«Вот... вот оно», — думала Лиза, ловким, гибким движением красивого, молодого тела забираясь под низкую крышу на мягкое, глубокое сидение подле руля. — «Вот, сейчас все и решится... И, может быть, мне завтра вовсе не нужно будет ехать в Париж, или, если и ехать, то на самое короткое время»...

Бурно колотилось ее сердце. Легкое, поношенное пальто шелковой подкладкой холодило обнаженную спину. Маленькая ножки в простых башмачках уперлись в переднюю планку. Лиза, в сознании своей молодости и красоты, не ощущала разницы между своим бедным, потертым костюмом и элегантной, очень дорогой одеждой Курта, хозяином усевшегося на шоферское место, и по-хозяйски большою рукой в свежей кожаной перчатке трогавшего винтики и выключатели прекрасной машины.

Машина мягко зашумела и понеслась по сырому, темному асфальту улицы. Курт молча правил.

Может быть, нужно было самой заговорить об этом? Самом главном, что решало ее судьбу, ее жизнь?... Лиза молчала. Гордость мешала ей сказать то, что неистовым криком кричало ее на смерть раненое сердце.

Улица сменяла улицу... Сейчас пересекут, объехав сад с безобразной постройкой станции надземной дороги, площадь, и будет тихий, темный, старый дом ее тетки...

— Курт, — тихо сказала Лиза, — тебе не было скучно у барона?.. Ты здоров?.. Ты был так задумчив... Ты вполне хорошо себя чувствуешь?..

— О!.. Да!.. Я выпил немного лишнего... Но это проясняет мозги... Когда вы с бароном пели, я думал, что, если на один миллиметр передвинуть тот волосок, о котором, помнишь, я говорил

тебе на море, и если придать крылу изгиб по формуле... Вот именно, та формула, все дни не выходящая у меня, встала теперь, как живая, — можно будет устроить такой аэроплан, который будет подниматься с места, без разбега, и который будет мягко, парящим движением, опускаться на любую точку земной поверхности... Ты понимаешь, Лиза, какая это будет новая победа авиации!.. Победа немецкого гения!.. Ты понимаешь, тогда не нужно будет ни аэродромов, ни посадочных площадок. Ты это понимаешь, Лизе?..

— Да. Я понимаю.

Вдруг сразу все натянутое, напряженное в ней, дающее силу, энергию, гибкость ее телу, ослабело и опустилось. Жалкой, бедной, беспомощной и ненужной увидела себя Лиза. Всем существом ощутила и растоптанные башмаки, и бедность бального, полного претензии, платья...

— Курт, зачем ты отвозишь меня? Я могла бы прекрасно доехать до дома на Унтергрунде...

Курт точно не слышал ее слов:

— Я все думаю, если только я не ошибся опять, я окажу громадную услугу Германии. Такого изобретения не было здесь со времен Лилиенталя...

— Да...

Автомобиль быстро приближался к дому тетки Лизы.

— Курт... Скажи... Ты иногда все-таки думаешь обо мне? Завтра я уеду. Может быть, навсегда...

— Мой разум, мое сердце, все мое я принадлежит Родине... Германии... Я богат этим, и ничего другого мне не надо...

Лиза поняла. Ей больше ничего не нужно было. Скорее, скорее бы доехать, не показать ему своих слез, которые вот-вот брызнут из ее глаз... Но... плакать и рыдать здесь, подле Курта, в низкой, душной кабине его автомобиля?.. Ни за что!..

Машина круто, под косым углом, свернула в тихую, узкую улицу и остановилась у спящего дома. Курт вылез из кабины и помог выйти Лизе. Обыкновенно, он останавливал мотор и, в тишине утра, входил в сумрак спящего дома на лестницу. Там они не зажигали огня, и Лиза иставала в сильных руках Курта, под его жгучими, ищущими губ, поцелуями. Огневые струи бежали тогда по телу. Тихие вздохи перемежались отрывистыми ненужными словами. В эти краткие миги закреплялось все то, что было недосказанным во время длинного вечера, или большой прогулки, на людях...

Лиза подошла к двери. Курт залез в машину Мягко застучал мотор. Будто и там билось чье-то нетерпеливое сердце.

— Прощай, Курт... Завтра я уезжаю в Париж...

— До свидания, Лизе. Счастливого пути!..

Курт вылез наполовину из кабины и помахал рукою. Что-то не ладилось в моторе, и Курт все копался в каких-то винтах, регулируя ход.

Лиза медленно открыла тяжелую дверь, вошла и остановилась на темном фоне лестницы. Ее пальто сползло с ее плеч, показывая обнаженную спину в пленительном повороте. Несказанно красива, была Лиза с повернутой к Курту головой:

— Курт!..

— Что, милая?..

Курт все возился в кабине.

— Курт!!

Он посмотрел на Лизу и нерешительно стал вылезать из машины. Мотор продолжал тихо шуметь. От этого шума, казалось Лизе, можно было су-ма сойти...

— Ш-шля-п-па!.. — по-Русски сказала Лиза, и уже не в силах была сдерживать себя, — залилась слезами.

Курт бросился к ней с протянутыми руками, чтобы обнять ее:

— Лиза, что это?..

— Поздно... Zu spat!.. — злобно крикнула Лиза, и, перед самым носом Курта захлопнув дверь, не зажигая огня, с громкими рыданиями, бросилась бежать вверх по лестнице...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Узкая улица, с чахлыми садами, на окраине Парижа. Странной постройки дом. Точно две большие белые коробки поставили одну под углом к другой и связали нелепым стеклянным переходом. Домики двухэтажные с плоской крышей. Вход со двора, сбоку. За открытую дверь застекленная галерея, за нею сад. Направо и налево узкие, деревянные лестницы во вторые этажи...

Егор Иванович засуетился, заволновался, пошел впереди Лизы по лестнице, не сразу мог открыть узкую дверь, без таблички, без имени:

— Вот, как тебе, Лиза, понравится?.. Я еще тут не жил. Раньше-то я в 15-м аррондисмане, в рабочем квартале, в отеле комнатку снимал, крохотную... Так в том отеле тебе неудобно было бы... Там всякие постояльцы бывают... Не хорошо... А мне что же?... Мне, право, ничего и не надо, только бы ночку переспать... Ну, а тут ты уже все устроишь по-своему, по-девичьему, — свое гнездышко совьешь... Кое-что я купил для тебя... Конечно, это не Берлинские хоромы тети Маши... Тут нам это не по карману... Но место, посмотри, какое хорошее... Тихое место... И ремонт мне один Терский казак седлал... Комнатку твою свежими обоями оклеили, полы покрасили... Вышло, как будто, и не дурно...

Входная дверь была тонкая, дощатая; ударь в нее хорошенько ногой, всю в щепки можно разбить. За нею была узкая прихожая, в одно небольшое окно во двор.

— Это будет моя комната, — сказал Акантов.

У стены — низкая и узкая походная постель, накрытая жидким и старым суконным одеялом. Над постелью, на веревках, полка с книгами. В противоположной стене глубокая ниша и в ней небольшая газовая плита, стол и табуретка. Кое-какая кухонная, новая, не бывшая ни разу в употреблении, посуда на полке и на столе...

— Тут тебе будет кухня... Кое-что я купил; если чего не хватает, со временем прикупишь. Я дома-то раньше не столовался... Но, кажется, все, что надо, купил для тебя...

За прихожей — несколько большая комната, упирившаяся в широкое до полу окно. Эта комната и составляла то, что называлось квартирой. Акантов обставил ее, как мог. Все это были вещи, купленные на блошином рынке

Подержанная, подозрительная дешевка. Егору Ивановичу, за шестнадцать лет рабочей полунищенской жизни, по грязным отелям, вся эта мебелишка казалась не так уж плохой.

Лиза тихо вздохнула.

Она ожидала, что будет бедно. Она знала, что, хотя в Берлин ее отца и называли General и Excellenz, на деле-то он был фабричным рабочим, Парижским пролетарием, — значит, — и обстановка должна была быть соответствующей. Но такой бедности Лиза все-таки не ожидала...

Комната была очень мала. На полу лежал — гордость Егора Ивановича — очень старый, очень потертый, выцветший, но настоящий Марокканский ковер. У стены было «сомье», разворачивавшееся на ночь в постель, у окна — старое кресло, показавшееся Лизе подозрительно грязным. Рядом с дверью из прихожей была еще узкая дверь. Там была уборная, с белой эмалированной сидячей ванной, с блестящими кранами холодной и горячей воды.

— Конечно, — не дворец, но все очень чистое... Дом новый... Тут еще и не жили...

— Ах, милый, милый папа! — обнимая отца, сказала Лиза. — Ну, конечно, все прекрасно... Все так трогательно прекрасно. И мы тут с тобою отлично заживем. Тебе легче будет со мною...

Шофер, привезший их со станции, в прошлом — офицер, втащил сундук

Лизин и порт-плед Акантова:

— Вот, ваше превосходительство, кажется, и все ваше имущество...

— Спасибо вам, Николай Семенович... Да что же, вы сами-то, я помог бы вам...

За ним в комнату вошла толстая, неопрятная женщина.

— Это наша консьержка, — успел сказать Акантов дочери. — Прощу любить и жаловать...

Консьержка протянула Акантову грязноватый листок бумаги и сказала:

— Мосье... Pardon, monsieur, я забыла вам сказать... Тут вчера приходила одна дама... Une russe (* - Простите, сударь! Русская...) . Очень сожалела, что не застала вас, и просила, чтобы я, как только вы приедете, дала эту вот записку... Акантов пробежал написанный карандашом строчки.

— Ах, Боже мой!.. Боже мой, — воскликнул он. — Какой ужас!..

— Что случилось, папа?

— Да вот что... Жаль, Николай Семенович уехал... Мне, ведь, ехать сей час надо. Тебя одну оставить придется... Вот, прочти, — Акантов подал дочери записку, и та прочла: «У Леонтия третий

удар... Лежит без движения двенадцатые сутки. Я с Татой сбились с ног. Зайдите, посоветуйте что-нибудь. Н. Февралева».

— Может быть, папа, я могу помочь, — поднимая на отца глаза, сказала

Лиза.

— Ну, что ты?.. Это такой ужас... Такая бедность!.. Февралев, подполковник, бывший подполковник... Он мой товарищ по корпусу и училищу... Страшный неудачник... У него жена и дочь твоих лет... Да, придется, придется мне ехать сейчас, надо что-нибудь придумать, помочь им надо...

— Хочешь, поедem вместе... Может быть, я могу быть полезной тебе и им .

— Ну, зачем?.. Только ты их стеснишь, в их бедности и горе... Да и тебе нужно отдохнуть после дороги, ишь, какая ты бледненькая стала...

— Ты, папа, хотя кофе напейся...

— После... После... Вот тебе пятьдесят франков... Консьержка тебе покажет... Тут, совсем подле нашего дома, есть лавки... Купи себе что-нибудь на завтрак, чаю купи, хлеба... От Февралевых я поеду на завод... К вечеру буду дома, вот тогда чайку вместе и напьемся...

Акантов торопливо вдевал руки в рукава пальто; он очень торопился. Лизе было жаль отца:

— Право, напейся раньше и закуси, я живо сбегаю в лавки. Куда ты так торопишься?..

Ехать далеко. Это в Латинском квартале, в центре Парижа. Хотелось бы к обеденному перерыву попасть на завод, заявиться надо, чтобы завтра с утра и на работу. Дорогой я где-нибудь перехвачу чего-нибудь... Ты обо мне не беспокойся, ведь, я здесь свой человек... Акантов быстро сбежал вниз и скрылся в стеклянном проходе. Хлопнула выходная дверь. Лиза вошла обратно в квартиру, заперла на ключ дверь, подошла к окну и опустилась в старое, просиженное кресло... За окном — пустыри. Утренний туман скрадывает дали. Скупое светит осеннее солнце. Под окном небольшой сад. Старая липа, два тополя, кусты боярышника и бузины, с почерневшими от городской копоти листьями. За садом — небольшой опрятный домик-дача, с черепичной крышей, за ним просторы «пустопорожних» мест... Серый забор из тонких бетонных плит окружает большую площадь, заваленную досками, бревнами и кучами каменного угля. Еще дальше — низкие и широкие постройки гаражей, сараи навесы; под ними лежат черные водопроводные чугунные трубы. Потом, до высокой железнодорожной насыпи, пустыри, поросшие бурьяном, бурой косматой травой, крапивой, лопухами и чертополохом.

За железной дорогой, под серебристым покровом тумана, голубеет даль полей, с пестрою россыпью маленьких домиков с красными крышами, — окраина... Шумы города несутся в окно... На дворе грузят автомобили, и резко раздаются удары падающих досок. По насыпи, сверкая окнами, промчался чистенький поезд электрической дороги и гулким грохотом наполнил комнату. В роскошной квартире тети Маши, на пирушках у барона, на его яхте, на его машине Лиза носилась по Германии... Она отдыхала... Отчего ей было отдыхать на серебристом пляже Балтийского моря?.. Она ходила с молодежью в длинные экскурсии по окрестностям Берлина... Там она... любила... Что будет делать она здесь?.. Она будет, конечно, будет верна своей любви, верна — до гроба... Она никогда и нигде не забудет Курта...

Солнце поднималось над пустырями. Пыльной скучной дымкой покрывались низкие постройки и поля. Снова гудел и мчался алый, блестящий поезд.

«Куда он мчится?.. Какие там поля, леса, какие живут там люди?.. Кого я встречу здесь?.. С кем буду работать?.. Что значит — работать?..».

С улицы доносились гудки автомобилей и шум проносящихся машин.

В самой комнате — могильная, глухая тишина.

Что будет тут делать Лиза?.. Работать?.. Лиза еще не работала: она училась. Она добывала право на работу, добывала знания... Доктор философии!.. Она читала доклады перед профессорами и на блестящем немецком языке говорила о самых сложных вещах... Никто и верить не хотел, что она не немка... Она жила полною, кипучею жизнью.

Лиза опустила голову и закрыла глаза. В комнате и в доме была будничная тишина, за окном — город, новый и чуждый, пел свею песню труда. Лизе сквозь шум города слышалась старая милая песня ее Родины.

Blauende Seen, Wiesen und Mohr,

Liebliche Taler.schwankendes Rohr...

Steige hoch, du, roter Adler,
Hoch uber Sumhf und Sand
Ueber dunkle Kieferwalder,
Heil dir, mein Brandenburger Land!
(* - Старые буки, темный, древний дуб,
Стройные березы, ровный, мирный луг...
Сонные воды, сочные луга,
Мягкие долины, легкая трава...
Подымись, орел ты красный,
Над лесом и песком,
Лети все выше, нам на славу,
Да здравствуй Бранденбург кругом...)
(Перевод А. ф. фон Шлиппе).

Красный орел Бранденбурга высоко парил в небе... Под ним стройные, бронзовые сосны, озера в зелени кустов и плакучих ив, извивы Гавеля, вся прелесть Лизина детства, девичества и первой любви...

Все это ушло... Ушло!.. Навсегда!..

II

Всякий раз, как Акантов бывал у Февралевых, он думал, как могут в Париже, в центре города, в Латинском квартале, рядом с аристократическим Сэн-Жермэнским предместьем, у самой Сены, с ее островами, вблизи от богатых особняков, быть такие совсем средневековые кварталы, с грязными, тесными улочками, кривыми и темными, жалкие домишки и такая ужасная беднота... Вкрапились эти тесные кварталы, как лишай в благородный дуб, и стоят вечным напоминанием неравенства, рабства и людской злобы. Пятая часть Парижа — *cinquieme arrondissement* — почти рядом, за Сеной, громады магазинов «Самаритэна» и нарядный «Hotel de ville» — дворец Парижского муниципалитета, статуи, бронза, простор площади, деревья бульвара, громадные театры. Здесь — грубая, гранитными плитами мощеная улочка, еще не в Римские ли времена мощеная? Облупленный, узкий, высокий дом в два окна по фасаду, и над дверьми с каменной тяжелой аркой, прямо на стене, полинявшая надпись черными громадными буквами: «Hotel»... Ни имени владельца, ни названия гостиницы. Над дверью — квадратное окно, кривые, наружные, темные, поломанные, щербатые ставни. За мутными стеклами старая, пыльная, тюлевая занавеска. За дверью узкий, сырой проход, с резкими, сложными и странными запахами, и деревянная лестница, темная и в светлый день.

Узкие коридоры в каждом этаже и комнаты.

В таких отелях ютятся дешевые проститутки, не гнушающиеся самым грязным развратом, живут карманные воры, здесь совершаются самые ужасные самоубийства людей, дошедших до дна человеческого существования, здесь же совершаются и самые нелепые убийства озверелой бедноты. Здесь пахнет нищетой, грязным развратом, болезнями и злобой.

Наверху, подле комнаты, занятой Февралевыми, давно сломалась оконная рама, и номер стоит не обитаемый. Там склад мусора. По ночам в нем возятся крысы. Днем их можно видеть, черных и больших, отвратительных, притаившихся под старыми бочками, кадками, досками, измазанными известкой, старыми сломанными печами и оконными рамами с разбитыми стеклами, затянутыми густой серой паутиной.

Кроме Февралевых, в верхнем этаже никто не живет. Шаги Акантова, поднимавшегося по лестнице, были услышаны, и Наталья Петровна встретила Егора Ивановича в дверях.

Крошечная узкая комната, упиравшаяся в квадратное окно, вмещала много вещей, и в ней жили трое. Четвертому даже и трудно было войти в нее. На широкой кровати лежал человек богатырского сложения. Он был по грудь покрыт солдатским серым американским одеялом, со тщательно заплатанными дырами. На высоко поднятой подушке с грязной наволочкой тяжело утонула большая голова, густо поросшая седеющими волосами, с давно не бритыми усами и со щеками, покрытыми неопрятной щетиной.

Красное, налитое кровью, лицо было одутловато. Из полуопущенных век тупо и неподвижно, в одну точку, на окно с розовой занавеской, смотрели тусклые, серые глаза. Грудь лежащего часто вздымалась и опускалась, и хриплое дыхание тяжело вырывалось из перекошенного рта с толстыми, сухими губами.

В комнате был спертый, душный запах лекарств, пищи и тяжело больного.

Наталья Петровна пропустила Акантова в комнату. Ее коротко остриженные седеющие волосы были растрепаны, пожелтевшее лицо в мелких морщинах хранило следы былой красоты. Сидевшая у окна, за швейной машинкой, девушка с густыми темно-золотистыми волосами, красиво уложенными на длинном затылке, осталась сидеть. Ее бледное, точно фарфоровое, лицо было устало. Она не могла встать навстречу гостю: ее колени и пол подле нее были завалены полотном.

Февралева заговорила, не обращая внимания на больного:

— Как это мило, генерал, что вы сейчас же отозвались на мою записку. Я вчера заходила к вам. Консьержка сказала мне, что ожидает вас сегодня утром... Вы прямо с поезда?..

— Благодарю вас.

— Простите, Егор Иванович, — с бледной улыбкой сказала девушка, протягивая руку Акантову — встать никак не могу. Видите...

— Татуша моя все пытается и тут шить. А уж какая теперь работа! Иголлка из рук валится. Только глаза понапрасну портит.

Голоса матери и дочери были глухи и усталы.

— Ну, как Леонтий?..

— Сами видите.

Акантов потрогал горячую, неподвижную тяжелую руку, выпростанную поверх одеяла. Больной не шевельнулся.

— Двенадцатые сутки... Кормим насильно, бульон вливаем... Лимонное желе... Глодает... И так... все исправно... Убирать приходится... Доктор Баклагин заходил... Говорит: надежды на поправку мало, но всякое бывает... Пил он раньше много, и вот, не надеется доктор, что организм справится, Лежать должен на спине. На бок повернется, голова свесится вниз, и тогда задыхается. Доктор приказал непременно переворачивать на спину, а то совсем задохнется и тогда — конец. Вот, мы обе и дежурируем. Он тяжелый, страшно тяжелый. Вдвоем едва можем перевернуть. Потому и отлучаться нам страшно. Я еще как-нибудь одна поверну, а Татуше где же поднять его, А пролежни пошли — нудится очень. Постель-то, ведь, не слишком мягкая, Ну, еще и перекладывать приходится, прибирать за ним... С ног сбились...

— Он слышит вас?.. Понимает что-нибудь?..

— Кто же его знает... Видите — лежит... Мычит иногда, когда что надо... Болезнь и грозно надвигающаяся смерть стерли стыдливость.

— Вы сиделку взяли бы, — сказал Акантов, и сейчас же понял всю нелепость своего предложения, — знаете, — поправлялся он, — есть же такие милосердные сестры, или монахини, что ради Христа делают...

— Ходила... Просила... Да разве к нам сюда кто пойдет?.. Приходила одна, посмотрела, сказала: «Умрет — похороним, а ходить за ним не могу». Монахини? Так, ведь, он не француз, не католик, да и какая монахиня в такую дыру и вонючку полезет...

— Д-да-а, — сказал Акантов, присаживаясь на «сомье» подле Февралевой. — Как же, все-таки, все это вышло? Отчего вы мне раньше не сказали...

— Просить не хотела... Мы с Татушей работали. Платья, белье тонкое шили. Татуша все свои глаза на этой работе испортила. Ну, а он, какой же он debrouillard (* - Человек, умеющий выпутаться, выйти из положения. Ловкач.)? Ничто ему не удавалось. Окна ходил мыть в магазинах — то сам с лестницы упадет, то стекло продавит... Сапоги пробовал чинить... Он, ведь, и всегда был неудачник. Вы, вот, товарищ его были, одного с ним выпуска, — вы генерала заслужили, а он подполковник. В Добровольческую армию поздно приехал: все колебался, все не знал, куда ему идти?.. Сначала большевикам поверил, потом у Гетмана служил, — так все и прогулял мимо, нигде ничего не наслужил. Все я, да Татуша, вдвоем работали. Татушу я из школы должна была взять, чтобы помогала мне. Да на что теперь и образование-то?.. А прошлый год, значит, — вот уж четырнадцатый месяц пошел, — и случился удар, и как-то сразу и второй... Лечить... Мы сначала в

госпиталь положили. Платить надо... Видим, не осилить нам. Вот и докатились до этой дыры. По второму-то удару он всё еще получеловек был, даже вставать мог... Конечно, не работник... хватил третий, — что делать?.. Кормить, питать его надо, ходить за ним; что и было, то все прожили... И работать... Да какая тут работа... Ночи не спим. Караулим, чтобы, не дай Бог, не завалился... Вчера...

Слезы показались на глазах Натальи Петровны. Татуша вскинула на мать большие суровые глаза и сказала:

— Ну, зачем это, мама!.. Не нужно, мама!..

Наталья Петровна сквозь слезы прошептала:

— Вчера последние франки за квартиру отдала, и со вчерашнего дня ни его покормить, ни самим пожевать нечего...

— Ни к чему это, мама, — хмуря прекрасные брови и блистая глазами, сказала девушка. — Вот, работу кончу, снесу, вот и деньги будут...

— Работу кончишь, — уже плача, сказала Февралева, — работу кончишь... Работу снесешь... А сама-то... сама... шьет и падает, глаза закрываются... И темно здесь... Свет его беспокоит, и душно. Окно открыть нельзя, сейчас замычит...

Акантов завозился на сомье. Достал свой старенький, еще в Крыму купленный, сафьяновый бумажник, и подал Февралевой сто франков.

— Вот, Наталья Петровна, пожалуйста, возьмите, нисколько не стеснясь. Меня только этим премного обяжете.

— Да, ведь, сами-то... сами... Я, ведь, знаю... Видала палаты-то ваши новые... мне консьержка показала, открыла... И дочь еще к вам приехала. стыдно мне брать от вас...

— Я обойдусь... Я на месте. У меня работа есть. Очень прошу вас... Февралева нерешительно взяла деньги:

— Татуша, сходи... Купи чего надо, — сказала она, отдавая деньги дочери. — Уж так я вам, генерал, благодарна...

— Помилуйте, Наталья Петровна, ведь, это только мой долг перед старым товарищем... И, ради Бога, если что еще нужно будет; без церемоний скажите, или напишите мне...

Акантов заторопился. Теперь, когда то, что нужно было сделать, было сделано, стало неловко и стыдно оставаться у Февралевых. И очень уж душно и смрадно было в комнате, и тяготил ко всему безучастный, неподвижно лежавший старик на постели. Его непрерывное тяжелое дыхание было страшно.

Акантов встал, поцеловал руку Натальи Петровны, пожал узкую длинную красивую руку Татуши и повернулся к больному:

— Ну, до свиданья, старина... Поправляйся...

Он потрогал тяжелую, горячую руку. Ничто не шевельнулось на лице Леонтия. Все так же, с мерным хрипом, вылетало дыхание и неподвижен был взгляд темных глаз из-за полуопущенных век.

Акантов боком вышел из комнаты и бегом бросился вниз по лестнице... Воздуха... воздуха, хотя горячего, знойного воздуха маленькой Парижской улочки, хотелось ему глотнуть. Ему казалось, что весь он пропах терпким запахом больного.

III

Длинный, жаркий день тянется без конца. На керосиновой плите, от чего еще жарче стало в душевной комнате, Наталья Петровна приготовила бульон и надала в стакан лимонного сока. Вдвоем с Татушей, — та держала тяжелую, лохматую голову отца, — Наталья Петровна, с ложечки, приоткрыв пальцем рот, кормила больного. Тот благодарно мычал. Наголодался. Потом сами, без аппетита, без удовольствия, поели, и долго и медленно, точно в полусне, жевали длинный, хрустящий батон белого, пшеничного, французского хлеба. Перекидывались тихими, страшными словами:

— Мама, когда то случится, мы всё по иному устроим.

— Не нужно говорить, Татуша, грех...

— А это не грех?.. Так мучить... И самому...

— Господь знает, что делает...

- Господь... Мама, я часто думаю... Ужели Господь видит все это и не... приберет?..
— У Господа все рассчитано... И жизнь, и смерть... И он не виноват... Наш долг...
— А?! Долг!..

Татуша отдернула занавеску и приоткрыла окно. Через окно видны высокие дома, черепичные, серые крыши, шеренга черных железных труб с коленчатыми изгибами, с покрывками над выходом. Они бросали сизую тень на белую стену огромного, нового бетонного дома, с редкими, узкими, небольшими окнами уборных. В окно тянет запахом дыма и керосиновой копоти, — городскими духами. Немолчный шум города несется в окно, поет сложную, дикую мелодию, так напоминающую симфонии молодых композиторов.

От окна несется грустный голос Татуши:

— Мама... Мы переедем отсюда... Мы начнем новую жизнь. Ты говорила, какая хорошенькая квартира у Акантова. Его дочь приехала. Мы познакомимся с нею, она, наверно, хорошо умеет шить, и мы втроем устроим свою мастерскую. Будем шить на большие магазины... Может быть, удастся своих клиентов завести... Господи, как хорошо будет... Можно будет, хоть раз в неделю, пойти погулять... В синема заглянуть... Есть, ведь, и дешевые... Господи... Так хочется жить, как люди живут... Как самые бедные люди...

— Грех, Татуша, так думать...

— Может быть, и грех... Да, ведь, жить, мамочка, хочется... Так хочется... Разве я об автомобиле мечтаю, о цветах и шампанском?.. О музыке и танцах?.. Я хочу только, вот, летом выйти в сквер, сесть под деревом... Цветы в клумбе напротив... Прилетят птички... крошки им бросать... Только и всего... Так неужели же это грех перед Богом?..

Наталья Петровна прилегла на софье, и лежала неподвижно и тихо, с закрытыми глазами.

— Мама, ты спишь?..

— Нет... А что?..

— Нет... Я так, мамочка... Грешу...

В окно было видно, как тянутся по белой стене огромного дома уродливые тени от тонких труб, поднимаются выше и бледнеют...

«Это идет время», — думает Татуша, — «солнце опускается за Париж. Быстро летит время, я вижу, как уходит день. Когда я говорила с мамой, тень той, самой высокой трубы едва касалась нижнего обреза первого оконца, теперь она переросла окно. И как побледнела... Вот и исчезла... Солнце зашло... Длинный день кончился, а я так ничего и не нашла... Все мечты... О чем, когда...». Татуша со злобой и ненавистью взглянула на отца.

Дыхание больного, бывшее все время ровным, вдруг стало хриплым и прерывистым. Больной мучительно замычал. Татуша оторвалась от окна. Со света, в комнате казалось темно. Больной свернулся на бок, голова свесилась к полу, глаза были выпучены, страшные стоны неслись из открытого рта с выпавшим языком...

Наталья Петровна крепко спала.

— Мама!.. Мама!.. Скорее, скорее, мама!..

— А? что?.. Опять?.. — приподнимаясь с софье, сказала Наталья Петровна. Ее глаза дико блуждали. — Зажги свет, Татуша, темно, я ничего не вижу...

Закоптелая лампочка, приспущенная сверху к машинке, осветила бледным, красноватым, печальным светом большую постель и больного. Обе женщины бросились к нему. С трудом, они приподняли распухшее, дурно пахнущее, давно не мытое тело и уложили больного на спину. Наталья Петровна пальцами всунула ему язык в рот, поправила подушку, дала лимонного питья. Но больной не мог пить. Наталья Петровна мочила палец в лимонаде, и больной, благодарно мыча, сосал его... Татуша сидела в кресле подле машинки. Она закрыла глаза, и дрожь отвращения пробежала по ее телу. От усталости, от тяжелого воздуха, у нее кружилась голова. Она была в полуобморочном состоянии. Она вытянула ноги и положила их на соломенный стул. Устроившись удобнее, она стала дремать. Сквозь дремоту, она все невольно прислушивалась к тому, что делалось в комнате. Больной перестал мычать. Ровное дыхание с легким хрипом вырывалось из горла. От методичной ровности этого дыхания можно было сойти сума. Казалось, что так будет всю ее жизнь...

Лампочка горела тускло. Покрасневшая угольная дужка была ясно видна. Вот-вот совсем перегорит, и в комнате станет последняя, крошечная темнота. И этого Татуша уже не сможет вынести, — она сойдет с ума от тоски и страха...

Ночь стояла над городом.

IV

Татуша!.. Татуша!.. Тосподи!.. Что я буду делать?.. Та-ту-ша!.. — В комнате — мрак. Лампочка перегорела. С постели несется! страшное мычание и хрип...

— Скорее, Татуша...

Девушка встает. В темноте видно, как сверкают широко раскрытые глаза. В них безумие...

— Пойдем, мама...

— Что ты?.. Куда?.. Повернуть его надо... Повернуть... Помогите мне... Господи!.. Отец задыхается...

— Пойдем, мама...

В темноте Татуша находит руку матери и берет ее повыше кисти. Крепко обжимает ее, охватывает, как железными тисками. Смотрит на мать странно сияющими глазами. В них такая страшная воля, что Наталья Петровна начинает дрожать. Ее ноги обмякают, и она бездумно, точно это и не она, выходит, вслед за дочерью, в темный коридор. Татуша притворяет дверь. В коридоре — крысиный скок. Легкий ляг задетого крысой железного ведра. Татуша ведет мать к лестнице, и они спускаются...

Должно быть, очень поздно, и скоро будет разсвет.. Сквозь небольшие окна на лестницу ложится мутный предутренний свет, и призрачно кажется в нем лестница. Обе женщины идут по ней, как во сне.

На узкой улице горит фонарь. Он не нужен. Уже светло. И — тихо... В Париже те короткие предутренние часы, когда жизнь замирает в городе. Ночная жизнь кабаков и баров, ночных притонов, кончилась; дневная — торговли и труда — не началась.

Обе женщины идут тихими, крадущимися шагами вдоль маленькой улочки. Все так же крепко держит Татуша мать за запястье. Точно боится, что та убежит.

Они выходят на Сену.

На реке чист, прозрачен и свеж воздух. Полною грудью вдыхает его Татуша, пьет горлом, ловит губами. Воздух пьянит ее. По разгоряченному лбу, по покрасневшим от неудобного сна щекам бьются бронзовые локоны. Щекочут Татушу.

Противоположный берег Сены — остров Cite — тонет в прозрачном тумане. В домах повсюду спущены серые ставни. Нигде ни одно окно не светится. Уличные фонари погасли.

Сена несется, покойная, ничем не волнуемая. Вода прозрачно-серая, темная — ночная. Внизу, под деревом, на разостланных листах газет спит оборванец. Смятая шляпа надвинута на лицо, левая рука засунута глубоко и карман, правая лежит на животе. Еще дальше, на камнях низкого парапета, над самой водой, полулежа, полусидя, устроились двое, должно быть, пьяных. Как шли, как сели, — так и заснули.

Наталья Петровна с ужасом смотрит на них:

— Они упадут в воду, — говорит она, и эти первые слова, сказанные ею с того времени, как они вышли из комнаты, пробуждают ее из ее, как бы сна. Она вырывает руку из руки дочери, и схватывает Татушу за плечи:

— Татуша! — дико кричит она. — Да что же мы делаем?.. Да ты знаешь... Он, может быть, уже умер...

Холодными, безумными глазами Татуша смотрит на мать. Она говорит спокойно и медленно, будто это и не Татуша говорит, а какая-то странная девушка, что снится Наталье Петровне в этом кошмарном сне:

— Что же, мама... Ты хотела бы, чтобы он и мы так вот спали бы на камнях, на берегу Сены?.. Чтобы это он упал с парапета в воду?..

Татуша!.. Что ты говоришь?.. Я не пойму тебя... Христос с тобою... О, Боже!.. Боже мой!..

Наталья Петровна бежит по улице. Татуша едва поспевает за нею.

В коридоре они задерживают шаги и затаивают дыхание. Наталья Петровна — с надеждой, Татуша — с ужасом прислушиваются, что там... за дверью...

Там... тишина...

Наталья Петровна вбегает в комнату и настежь распахивает окно. Мутный утренний свет точно нехотя входит в комнатушку. Леонтий лежит, свесив голову вниз. Рука тяжело упала и концами пальцев касается пола. Он не дышит. Татуша забилась в угол и стоит, закрыв руками лицо.

— Да помоги мне, Татуша, — говорит, задыхаясь, Наталья Петровна. Татуша не двигается с места:
— Не могу, мама... Мне страшно...

Наталья Петровна, напрягая все силы, поднимает тяжелое тело мужа. Ее поражает мраморный холод странно побелевшей руки. Она кладет растрепанную седую голову мужа на подушку. Стекланные, мертвые глаза выпучены. Наталья Петровна в них читает страшную правду. Она закрывает глаза восковыми веками, но они упорно приподнимаются. Тогда ужас охватывает ее. Она кидается на колени перед телом и, зарыв лицо в грязные, вонючие простыни, дико кричит:

— Леня!.. Прости!.. Прости!.. Ей-Богу, не хотела!..

Потом плачет. Татуша стоит тихо, недвижно в углу, все так же закрыв лицо руками. Ее тело вытянуто в струну, и все в ней дрожит жуткою, холодной дрожью...

Так проходят — часы...

Косой, утренний луч солнца заглядывает в их каморку. Шум города несется в нее, а в ней застыла такая страшная, неподвижная тишина, что, кажется, продлись она немного еще, и Татуша умрет от ужаса.

Наталья Петровна встает с колен. Ее лицо бледно, под глазами с опухшими, красными веками легли лиловые тени. Она говорит спокойно и твердо:

— Татуша, пойди к консьержке... Скажи ей... Потом беги к доктору Баклагину... Попроси приехать... От него поезжай к генералу Акантову, попроси похлопотать в Сестричестве о похоронах. Я останусь при нем... Надо обмыть... Приготовить...

Наталья Петровна опускается опять на колени и кричит:

— Прости!.. Прости!..

Татуша боком проскальзывает мимо страшного тела и матери, и быстро спускается с лестницы. Вслед ей несутся рыдания матери и дикие крики:

— Прости!.. Прости!..

V

Хоронило подполковника Февралева Сестричество. Отпевали ранним утром, в нижней церкви, на улице Дарю. На отпевание приехал генерал Акантов с Лизой, и собралось человек десять бывших офицеров, знавших Февралева по Великой войне. Кто-то из них привез шашку и помятую серую фуражку с кокардой и положил на гроб. Было два венка: один — из лавров, другой — из белых астр и георгинов. В углу церкви стояла дежурная сестра в черном платье, со значком на груди.

Служил очередной, молодой священник. Певчих не полагалось. Но пришедшие офицеры пошли петь на клирос.

Пели, как умели — ни хорошо, ни худо.

Лиза стояла рядом с отцом. Она держала в руке свечу. Широко раскрытыми, печальными глазами смотрела она на закрытый, черный, дешевый гроб, на казавшуюся ей такой нелепой смятую фуражку и обнаженную шашку, положенную крест-накрест с ножнами, на розовую подушку, к которой было приколото три ордена покойного. Лиза прислушивалась к пению на непонятном ей славянском языке, таращила глаза на вдову и дочь, стоявших подле гроба, одетых в дешевый траур, с длинными креповыми вуаля-ми, на свечи в их руках... Грустные мысли неслись в голове Лизы...

Все шло быстро. «Морбусы» — могильщики из бюро похоронных процессий — торопили. За восемьдесят франков за все похороны, — им казалось лишним такое долгое пение...

Еще не кончили «Вечную память», — очень тут старались офицеры не ударить лицом в грязь, — как вошли «морбусы», в черных фуражках на головах, и подошли к гробу. Офицеры хотели сами вынести покойника, но «морбусы» не дали им:

— Будьте спокойны... Мы лучше сделаем...

Они быстро продернули черные ремни в кольца гроба, подхватили гроб, как-то — так показалось Акантову — слишком уж непочтительно потащили по узкой лестнице в двери сбоку алтаря, потащили, как вещь, как тяжелый ящик, или как мебель...

Офицеры пошептались, собрали между собою денег, и передали Акантову для вдовы. Они не могли провожать тело на кладбище. У каждого было свое дело, своя служба. Акантов, освободившийся с завода до обеденного перерыва, Лиза, доктор Баклагин, вдова и ее дочь сели в автомобиль, в передней половине которого, в особом углублении, поставили гроб. Морбусы» побросали венки, сели к шоферу, и автомобиль помчался на окраину Парижа, на кладбище бедняков...

Погребали без священника. Часто крестился Акантов, плакала Наталья Петровна, недвижно, опустив глаза, стояла Татуша.

Могильщики быстро набрасывали землю на гроб. Все было кончено, Акантов шептал на ухо дочери:

— Это ужасно... Не дают покойнику покоя. Через три года его выкопают...

— Зачем? — поднимая на отца спокойные глаза, сказала Лиза.

— Чтобы дать место другому. Места в Париже очень дороги. Лиза вздохнула:

— В сущности, папа... Не все ли равно... Мертвому?.. По моему, лучше, гигиеничнее — сжигать.

— Помилуй, Лиза... А родным, близким?.. На могилку придти?.. Посидеть, вспомнить, помолиться... Цветы посадить...

Лиза хотела сказать: «Вечного ничего нет, так не все ли равно?», но удержалась.

— Я, папа, пойду. Позову к нам Февралевых...

— Да, да, конечно...

— Ты, папа, с нами?

— Нет, куда же мне... Мне надо на завод. Я тут, в бистро, с доктором перекушу чего-нибудь...

Февралевы охотно приняли приглашение Лизы позавтракать вместе в Бийянкюре. Уж очень тяжело им было сейчас возвращаться в свой «hotel», на улицу Saint-Julien-le-pauvre...

VI

Теперь, Егор Иванович, самое бы лучшее — самовар, — говорил, усаживаясь под зеленым навесом вьющихся растений, на железном стуле, доктор Баклагин. — Жарко-то как!.. По ихнему 4 сентябрь, по нашему — конец августа. Самовар, пускай, хотя и плохочищенный, деревенский, но большой, полуведерный, Тульский. В Петербурге такие на Большой Садовой продавали. Помните, может быть, уже там, за Сенною площадью, напротив Юсупова сада, был такой специальный магазин Тульских изделий. Во втором этаже окна — и все самовары разных величин выставлены. От маленьких игрушек, куда и стакан не войдет, до громадных, на ведро. Ну, и ружья там стояли охотничьи: дробовики Тульских наших мастеров-оружейников, что ухитрились аглицкую блоху, пляшущую с вариациями, — помните, в рассказе Лескова — подковать на все шесть ножек. Березовые и ореховые ложа полированные были у тех ружей; я, гимназистом, часами не мог оторвать глаз от них... На станциях железных дорог, помните, раньше какие самоварища были, золотом сияли, как в кривом зеркале, коверкали ваше лицо, аж страшно было посмотреть на свою рожу. Подойдешь, заглянешь, а лицо длинное-предлинное, как огурец, и глаза узко поставлены. Рожа, а не лицо. Потом уже все кипятильники пошли никелированные, на керосине или газе, — не тот вкус и стиль, и чай, как будто, стал керосином пахнуть. Да и вид уже не тот... Deux cafe creme (* - Два кофе со сливками), — небрежно кинул Баклагин подошедшему к ним гарсону с зеленым передником. — Чаек не рискую тут спросить, и возиться будут долго, и бурду дадут, а не чай. Придется по заграничному, кофейком помянуть покойника... Да... Вот, жил человек, и умер, и нет ничего. Развязал вдову с дочерью. Вы, Егор Иванович, обстоятельства-то его кончины знаете?

— Да, мне вдова говорила. Плакалась... Напрасно она это рассказывает. Я посоветовал ей молчать. А то, сами знаете, люди-то нынче — э-эх!.. — хмуро сказал Акантов.

— Ведь, это, Егор Иванович, по старому-то, по довоенному, — уголовное преступление. У нас, конечно, присяжные в полной мере оправдали бы. Кони там какой-нибудь Плевако, или князь Урусов, Карабчевский, какую речь сказали бы, сколько аплодисментов у толпы сорвали бы! Ну, и то, ведь, вдова-то еще и сейчас интересная, а дочь — прямо бутон... А тут... Тут каким буржуям попадет?.. Для дочери это гильотиной могло обернуться, а для матери Гвианской каторгой... А теперь? Я по чистой совести французскому врачу диагноз поставил, не путая никого, и совесть нисколько даже и не мучит.

Баклагин хлебнул из поданной ему чашки и сказал:

— И кофе не важнец... Кладбищенский какой-то, покойником отзывает. А, ведь, поди, раньше и совесть мучила бы... Пособником преступления назвала бы. Вот, что значит в пролетарской-то шкуре побывать и познать настоящее страдание. Бедность жестока, Егор Иванович...

— Я думаю, Иван Алексеевич, тут не столько воспитание бедностью и деклассированием, сколько уроки войны и, особенно, гражданской войны. Ожесточились очень наши сердца. Раньше, убил человека, — да, ведь, это отщепенец!.. Проклятый. С ужасом смотрят на него. А теперь?.. Кого убил?.. Если кого надо, то вот вам и герой. Ну, убил и убил, значит, так и надо. Велика важность... Или, скажем, палач. Убивает безоружного, «несчастненького». Средневековьем, темным ужасом, овеена вся его фигура. Правительство какие деньги платит палачам, и то найти, у нас, по крайней мере, не могло палача. И палачи у нас, помните, водкой заправлялись на свою работу Спивались потом, совесть замучивала...

— Нынче совести нет, — вздыхая, сказал Баклагин.

— В этом и дело... Помните, в такие же сентябрьские знойные дни, 17 лет тому назад, когда мы взяли ночью железнодорожную станцию, уже не помню и названия, на Курском направлении. Там казнили китайцев и коммунистов, и, помните, как там пьяный сотник-кавказец рубил голову пленному?..

— Как такое не помнить? Умирать буду, и тогда буду помнить... Как голова-то стукнула о пол... Кочан капустный. Помню и артисточку эту, Магду Могилевскую... Большевичкой потом оказалась...

— Представьте, пять дней тому назад, в Берлине, случайная встреча: на концерте Донского казачьего хора подходит ко мне капитан Лапин. Затащил к себе, с женой познакомил. И тоже декламация, как тогда Магда. Обстановка, конечно, не такая, но странно, чем-то она мне Магду напомнила. А он, ну, точно тот палач наш, комендантский адъютант Гайдук...

— Вы мне про Дусю Королеву рассказываете, наверное?

— А вы разве знаете?

— Кого я здесь, батенька мой, не знаю... Так и мне показалось: Магда, да только. Ну, только — года не выходят... Обманывает нас эмиграция с годами...

— Где же вы ее видели? Разве Дуся в Париже? Когда она приехала?..

— Да, верно, тогда же, когда и вы. Был я в Дамском комитете по устройству вечера в пользу бывших воспитанников X-ского училища. И там, у генеральши Кусачевой, познакомили меня с этой обворожительной Дусей Королевой. Такая Русская бабенция, насквозь Русская. Все с молитвою, с именем Божиим, с поклонами, и на все сейчас же и согласилась. И декламировать, и петь, и продавать шампанское, все, что хотите... Всех знает, кого и как пригласить...

— Да, вот как!.. Странно...

— Что странно?

— Да, вот, так странно. Зовут петь, играть, а кто такая она, не спросят...

— Так, ведь, не паспорт же ее спрашивать?

— Вот именно, Иван Алексеевич: паспорт. Помните, как наша передовая интеллигенция возмущалась на дворников и паспорта... Выходит, паспорта-то как еще нужны.

— И собака, Егор Иванович, свой жетон с именем носить обязана...

— Собака, Иван Алексеевич, имени своего не подделает. Какое имя написано, на то и отзовется, а человек? Сегодня — Баллах Финкельштейн,— вор и грабитель, а завтра — Литвинов, всеми уважаемый Максим Максимович, кумир жидовок из Лиги Наций. Сегодня — Бронштейн, паршивенький газетный еврейчик, а завтра — Троцкий, главковерх Российских армий... И одуроченный офицер и солдат ему повинуются и идут за ним... Сегодня — Джугашвили, полужид, полугрузин —бомбометатель и вор, а завтра — Сталин, некоронованный монарх обманутого, дикого, жидами поработенного народа, и так далее, до бесконечности... Мы живем в век каких-то псевдонимов... Так и Лапин... Кто он такой?.. Он и паспорт покажет, а поди, узнай, кто он на деле... Мне однако, пора, Иван Алексеевич. На завод пора. Пока доберусь...

— Гарсон, — крикнул доктор проходившему вдоль столиков лакею, — l'addition s'il vous plait (* - Счет, пожалуйста)!..

Акантов потянулся к карману. Баклагин полной, белой рукой удержал его за локоть:

— Полноте, батюшка... Позвольте мне угостить вас скромным кофе с круассанами.

Акантов не возражал. В его кошельке была только мелочь: несколько медных су...

VII

Только теперь, когда Лиза водворилась на маленькой Бийянкурской квартире, понял Акантов, какое ответственное и непосильное бремя он на себя взял. И собаку, или кошку завести, и то сколько хлопот и забот. А тут поселилась у него взрослая барышня, с печальными глазами, грустная, задумчивая, с неровным характером, — его дочь...

Надо было заниматься с нею, разговаривать, учить ее. А когда? Акантов вставал по будильнику в шесть часов утра и уходил на завод. Возвращался он в восемь часов вечера, усталый и измученный. Дочь ожидала его с ужином. Вечерняя беседа не клеилась, сводилась к пустому разговору. Расчет Акантова был на воскресенье. Думал, по старинке, по-семейному проводить этот день. Напиться утром вместе уютно чаю и поехать по подземной дороге в церковь, к обедне. Не очень-то и сам Акантов был богомолен, но думал, что все придет само собою. А потом — позавтракать скромненько, и тихая беседа. Не вышло... Лиза, как оказалось, не знала ни церкви, ни Православного богослужения:

— Душно, папа... И толкают. Трудно стоять... Почему не устроят, как везде за границей, чтобы сидеть? И слушать легче, и не устаешь. И порядка больше. Ходят, толкают, свечи ставят. Смешно как-то... И суетно...

Не вышла и беседа. Лиза оказалась образованнее отца, а когда тот попытался, по воспоминаниям юношеских лет, рассказывать Лизе Русскую историю, про древлян и кривичей, про речные пути и варягов, Лиза сразу увяла.

На второе воскресенье Лиза не пошла в церковь. Она уговорилась с Фовралевыми ехать куда-то искать работу, устраивать свою мастерскую.

Акантов остался один. Он сел в Лизиной комнате у открытого окна. В комнате было аккуратно и чисто прибрано, чересчур, как показалось Акантову аккуратно, слишком все было чисто, так, что Акантов боялся накрошить где-нибудь седым пеплом папиросы.

В раскрытое окно поздняя осень дышала летним теплом. Липа тихо роняла на землю золотой убор увядшей листвы. Тополя еще сохранили зелень, но была она бледная и прозрачная, точно больная, умирающая от чахотки. Прелым листом, густым, терпким, пивным запахом осени несло в окно. Без облака было синее небо. По воскресному, тихо было в Париже.

Дымок папиросы сизой лентой стоял перед глазами Акантова. Тело в кресле наслаждалось давно не испытанным покоем. Акантов очень был счастлив быть на своей квартире и сидеть в своем кресле. Ноги отдыхали. Голова ушла в воспоминания, в думы, в соображения.

«Лизе нужно общество. Она девушка на выданье. Значит, по-нашему, надо ее вывозить, надо, чтобы она где-то бывала, видела людей, надо, чтобы и ее видели... Кто же этим всем займется? У его покойной жены, когда он был женихом, была семья, были сестры, были тетки, была дряхлая бабушка, кухни, подруги, словом, был семейный дом... У Лизы?.. Напрасно, однако, он так понадеялся на себя, и взял Лизу... С кем она?.. Февралевы?..»

Он знал Леонтия только кадетом и юнкером, потом их дороги разошлись. Они так, до самой эмиграции, и не встречались и даже не переписывались. Встретились в Париже, на корпусном обеде, узнали друг друга, сразу заговорили на «ты», как старые товарищи, но опять виделись редко... Некогда было... Кто такое была Наталья Петровна, Акантов не знал... Леонтия Наталья Петровна называла неудачником. Работала она за троих, билась изо всех сил, шила, готовила, стирала белье, бегала за материалом и работой, она была достойна самого большого уважения, но какого была она происхождения, какого круга, каких понятии? Она бойко и грубо говорила по-французски, по самоучителю научилась говорить по-английски, с ужасным произношением, научила и Татушу двум этим языкам. Узнав, что Лиза владеет, и очень хорошо, тремя языками, Февралевы ухватились за Лизу и воспылали какими-то необычайными надеждами: устроить салон... Одевать богатых американок и жидовок... Может быть, делать им маникюр, поступить в Institut de beaute... И дочь, и мать очень скоро оправились после смерти Леонтия, и черное вдовье платье шло к похоронившей Наталье Петровне. Они теперь — и Лиза с ними — носились по Парижу в поисках большого заработка, хорошей добычи... Но хорошо ли это для Лизы?..»

«Вчера Наталья Петровна сказала мне: «Париж нам тесен. С талантами вашей дочери и с нашим умением, мы настоящий размах получим только в Америке. Мы созданы для большого... Мы миллионы заработаем...» Очень это не понравилось Акантову.

«Нет», — думал он, — «лучше как-то обойтись без Февралевых и их широкого размаха... Но тогда кто же?..».

Разбуженная память листала страницы прошлого. В далеком, довоенном прошлом, были друзья, родственники, товарищи по полку, их семьи, был уют маленького гарнизона... На Кавказе были куняки-горцы, — славный, сердечный народ, отзывчивый и прямой. На Волге и вовсе было хорошо. Были вечера, балы, театры, церковные службы, где встречалась молодежь, и где завязывались романы. Там просто, на гулянии, на бульваре можно было показать Лизу... И, ведь, есть что показать!.. Прелестна Лиза... Но где все это?.. Где Родина?.. Где друзья, товарищи?..

Глядя вдаль, и не видя пустырей окраины Парижа, Акантов вел мысленно переключку своим друзьям. И всякий раз, как вставал перед ним образ лихого офицера-стрелка, сердце тяжело, болезненно стучало и память отзванивала похоронным звоном: «Убить... убит... убит... Умер от ран... Разстрелян большевиками... замучен в советской тюрьме... Убит в Крыму... На Перекопе; умерь от тифа в Галлиполи...». Никого... никого...

Заграничная, парижская жизнь стала перед ним, как ровный степной шлях зимой. Блестит, блестит накатанными колеями, нигде ни столба, ни куста, ни хутора, ни слободы, ни церкви, ни креста, ни часовни. Далеко за горизонтом, где пылает закатное небо и красным, морозным, громадным шаром, налитым кровью пузырем, садится солнце — цель пути... Дойду ли до нее, пока не сядет солнце, или закатится солнце жизни раньше, чем достигну я цели пути — России... Ничего на зимней дороге. Нечем отметить уже пройденный путь. Маячит замерзший, почерневший, колючий, будто сахаром посыпанный, обындевевший чертополох-могильник, ничего он не отмечает, и опять снежная, ровная пустыня пути-жизни...

Гудок... будильник, завод... и опять гудок, будильник и завод... завод... завод...

Быстро пронеслись эти шестнадцать лет трудовой фабричной жизни в Париже, ничем не отмеченные для Акантова. И лето, как зима, и зима, как лето...

Кругом толпа... Народ... У фабричных ворот, на заводе, в мастерских, в вагоне подземной дороги, в бистро, в Русском ресторанчике, завод... везде давка, людская толпа... а людей-то и нет. Все чужие, незнакомые, иностранцы. Свои, как чужие, чужие, как свои...

Был кое-кто, появился и в этой каторжной, рабской жизни, но годился ли он для Лизы?..

После военной формы, даже той скромной, походной, серой, поношенной формы, с потертыми погонами, которую носили на войне и в Добровольческой армии, само штатское платье, очень плохое, бедное, на рынке купленное, с рыжей английской шинелью на плечах, показалось унижением.

Толпа у железных заводских ворот. Приемная контора. Грубые, на «ты», вопросы. Tu, toi, comprends tu!.. Et alors!.. Rien a faire (* - Ты... Понимаешь ты... И потом!.. Ничего не поделаешь)!..

От воспоминания об этих часах и теперь становилось тошно...

В старые годы, с негибкими пальцами, непривычными к работе, трудно усовершенствоваться, выбиться из серой рабочей массы... Тут не спрашивали, кто ты: генерал, или солдат?.. Wrangeliste, белый Русский, по жидовскому приказу, большевистскими штыками выгнанный из России, голодный и отрепанный, белый раб, заводское мясо... Становись к станку, работай, получай номерок...

Особенно мучительны были Акантову те минуты, когда, сняв рабочий

«комбинезон», надев городское платье, он, в толпе рабочих, подавался к выходному турникету, и нужно было поднять руки и дать ощупать себя контромэтру: не уносишь ли с завода какой-нибудь гайки, не украл ли чего-нибудь.

Акантов в детстве никогда не украл яблока из чужого сада, не взял у матери из шкафа пирожного... Мысль, что вообще можно украсть, никогда не приходила ему в голову. Поднять руки?.. Позор... Ведь — это сдача труса!..

Лицо Акантова побурело от возмущения. Внутренняя дрожь потрясала все тело, когда ловкие, привычные пальцы контромэтра ощупывали его карманы. Акантов пошатнулся от отвращения к самому себе, когда выходил из пропускного турникета.

За его спиной раздался могучий, ядреный, громкий, смелый, вызывающий голос:

— Да вы, ваше превосходительство, чего их стесняетесь... Вы глядите на их просто, как на собак. Ну собака вас обнюхает, так что вам с того?.. Какая же это обида?.. Рази они понимают в нас чего, аль нет?..

— Wrangeliste... Wrangeliste... — заворчали в толпе. И тот же голос обратился к рабочим:

— Ну, ты, espece de nouilles, ты того, полегче, а то кубыть я на твоей поганой роже Вранжелиста не прописал... М....е!

Грубое французское слово сорвалось с уст говорившего, и в толпе примолкли.

Пройдя узкий проход у турникета, Акантов остановился, чтобы посмотреть на того, кто ему говорил. Он его сразу и узнал в толпе рабочих. Рослый, широкоплечий, могучий, как Донской выкормленный маштак, и спрашивать не нужно было, кто он, — казак — вышел на улицу. Рукава его рабочей блузы были засучены по локоть, и сжатые, крепкие кулаки были, как кузнечные молоты. Загорелое, бурое лицо, с русыми усами, освещалось блеском смелых, дерзких, голубых глаз.

Акантов подошел к казаку и спросил:

— Вы почему же узнали, кто я?..

Казак снял фуражку, молодежато, по-строевому, подтянулся, и тем же самым, громким голосом, каким только что говорил рабочим, ничем и ни кем не стесняясь, ответил:

— Угадал-то почему?.. По обличию вашему, больше ни по чему. Попа, говорится, и в рогоже угадаешь. Ить, мы с вами, ваше превосходительство, встречались. Только где же вам меня упомянуть?

— Простите, не припомню...

— Разрешите, я провожу вас, поговорим дорогой. Казак зашел с левой стороны Акантова и пошел с генералом в ногу.

— Вы в Херманскую войну стрелковым полком командовали, а я к вам с взводом для связи от нашей дивизии приезжал. С неделю при вашем штабе, на реке Стоход, прожил. Ну, известно, моложе тады был, бороду опять же носил... Изменила меня теперешняя жизнь... А вы никак не переменялись... Как были, так и остались...

— Вы тут на заводе работаете?

— Уже с полгода будет, как по контракту сюда из Сербии прибыл... Меня здешние товарищи хорошо знают.. Вран-же-лист!.. Сволочи они все, ваше превосходительство... Бог им судья... Дозвольте, однако, представиться Боковской станицы, Всевеликого Войска Донского, хутора Дальнего, есаул Чукарин... Пошел я в Херманскую войну урядником во второй очереди полку, все четыре креста Егорьевских заслужил, аглицкий король мне ишо медаль свою пожаловал... В пятнадцатом году окончил я у полковника, теперь генерала, Секретева, антомобильную школу в Петрограде, а в гражданскую войну воевал с большаками и дослужился до есаульского чина.

— Как ваше имя и отчество?

— Авдей Гаврилович я... Дозвольте и мне, ваше превосходительство, поспрошать вас, кто вы такой будете?.. Ихфизономию вашу упомянул хорошо, а хфамилию вашу запомнил...

— Акантов... Егор Иванович... Бывший генерал, а теперь рабочий в 14-ой мастерской, — сказал Акантов, протягивая руку казаку и останавливаясь.

— На станке, значить, тачаете... Вот она, как жизнь-то ваша обернулась!.. — сокрушенно сказал Чукарин.

Они дошли до скромного отеля, где жил в ту пору Акантов.

— Заходите ко мне, Авдей Гаврилович, покалякаем с вами. Я тут совсем один...

— Холостые, али как?.. Может, не дай Бог, жену там оставили...

— Вдовый я... Жену в Югославии потерял. Дочь у меня маленькая, в Германии учится...

— Скажи, какая оказия!.. У меня тоже жана в Белой Церкви померла от тифа, а дочка тут, при мне... Пять годков ей... Вот, в школу французскую отдал ее...

И то, что оба они вдовцы, недавно потерявшие жен, что у обоих остались дочери-сиротки, почти одноплетки, словно толкнуло одного к другому, и Акантов протянул руку Чукарину, и, крепко пожимая ее, еще раз повторил:

— Так будем знакомы... Приходите ко мне когда в воскресенье и дочку приводите с собою... Легче будет нам вместе на чужбине...

— Покорно благодарю, ваше превосходительство, на ласковом слове, — скидывая фуражку и вытягиваясь по военному, сказал Чукарин.

Акантов еще посмотрел, как бодро, смелым шагом, помахивая руками, пошел казак вдоль по узкой улочке и стал подниматься к себе в комнату.

VIII

Каждый год, осенью, в Париже, в «Grand Palais», возле Елисейских Полей, устраивался автомобильный салон, — выставка автомобилей. Это бывало событием в жизни не только автомобильного мира Парижа, но и всей Франции. Да и со всего света приезжали знатоки и любители посмотреть новинки, новые изобретения и усовершенствования. К этому «салону» готовились целый год, и один автомобильный завод щеголял перед другим красотой, легкостью на ходу быстротой, изяществом форм, экономностью на горючее своих машин.

Как раз в эту пору готовился к выставке и тот завод, на котором работали Акантов и Чукарин.

Директор и главный инженер завода в сборочной мастерской с тревогой следили, как, не спеша, лениво и медлительно, будто даже нарочно медлительно, копошились рабочие французы подле машины. Рослый, могучего сложения, Русский «Вранжелист» им помогал, был у них на побегушках, на черной работе: «Поди, подай то, принеси это...».

Была суббота, надвигался вечер. Ярко загорались в мастерской большие фонари, осветили наполовину собранную машину, принесенный из мастерской, не вполне готовый, мотор в ящике, коробки с мелкими частями управления, нервами машины, разложенные на столах, по листам бумаги, и лежавшие и на полу манометры, показатели количества бензина, часы, указатели скорости, свитки тонких трубок, проволоки, свертки с винтами и гайками. В ярком свете фонарей стало ясно, что работа далеко не окончена, что она мало подвинулась за день, и что необходимо еще день работать, чтобы закончить сборку машины.

В обычное время прогудел фабричный гудок, рабочие побросали инструменты и, с веселым разговором, отошли от машины.

— Пойдите, товарищи, — кинулся к ним инженер, — А как же машина? Завтра вы придете?..

— Завтра воскресенье, мы не работаем, — ответили из группы рабочих.

— Подумайте... Что же вы это делаете?.. Машина, ведь, выставочная... В понедельник она должна стоять на стенде.

— Выставка ваша, а время наше, — грубо ответил молодой рабочий, бойкий, развязный француз.

— Вы, мосье, сами понимаете, что, и пожелай мы работать, мы не можем этого, — сказал старый, седой и лысый, контролёр.

В тысячи пар глаз рабочие следили друг за другом, чтобы никто не посмел нарушить завоеванных долгою борьбою, голодовками во время забастовок, рабочих прав и свобод и тогдашней 48-часовой недели. Директор и инженер знали, что ни сверхурочная плата, ни угроза расчета не могли заставить рабочих нарушить сделанные ими постановления. Время было такое, когда рабочие постепенно овладевали предприятиями и, руководимые коммунистической партией, упорно старались устранить администрацию завода от управления... Коммунизм входил в жизнь французских рабочих... «Rien a faire (* - Ничего не поделаешь!...)»

Мастерская быстро опустела. В ярком, наглом, точно смеющемся на директором, свете фонарей стояла посередине мастерской каким-то допотопным чудовищем неоконченная машина: без колес, без механизмов управления и без мотора...

Из глубины мастерской выдвинулся тот рабочий, Русский, «Вранжелист», который помогал рабочим, и не ушел почему-то из мастерской. Он как был, так и остался, в синем комбинезоне. У него было добродушное широкое, красное от здорового загара и утомления, лицо, с русыми, крепкими, солдатскими усами. Он смелыми шагами подошел к инженеру, тряхнул головою в густых волосах, и сказал на том простом жаргоне, на каком говорят во Франции арабы:

— Pas craindre... Automobile lundi exposition pret... Sois tranquille...

— Кто вы такой? — спросил директор, с невольным уважением глядя на рослого, сильного человека, который носил в одной руке пару тяжелых ошинованных черным блестящим каучуком колес.

— Cosaque... Cosaque du Don...

— Ah, cosaque, — с разочарованием протянул директор, и сделал шаг, собираясь уходить. Казак осторожно коснулся громадной рукой края изящного, широкого пальто директора:

— Laisse... Attends... Moi chercher camarade Ivan, nous deux — automobile it... Attends ici dix minutes (* - Не бойся... Автомобиль в понедельник к выставке — готов... Будь покоен. Казак. Донской

казак... — Ах, казак!.. — Оставь. Погоди. Я позову товарища Инина, мы вдвоем — автомобиль готов. Погоди 10 минут...).

Терять все равно было нечего. Посмеиваясь, директор закурил папироску и остался с инженером в пустой мастерской дожидаться этого странного человека. Тот вернулся минут через десять, со своим товарищем. Товарищ его был поменьше ростом, но такой же сильный и коренастый, могучий и широкий в плечах, как молодой бычок. Он был бритый, с красивыми, мелкими чертами лица и с ясными, серыми, остро глядящими глазами. Он был моложе первого. Он пришел, уже переодетый, по-домашнему, в сером дешевеньком пиджаке и в мягкой шляпе. Он скинул шляпу, снял пиджак и жилет, и, вместе с «Вранжелистом», подошел к машине. Они внимательно, тихо переговариваясь, осматривали новую, с новыми усовершенствованиями, машину потом перекрестились и взялись за инструменты...

Работа закипела...

То, что целый рабочий «экип» в двенадцать человек делал час, они делали несколько минут Щипцы-кусачки, щипцы плоские, отвертки, ключи, молотки, клещи сменялись в их руках одно другим. Они знали, что нужно делать, и это сразу заметили и инженер, и директор... Быстро снимали они бумагу с колес, накатывали их на оси, примеряли, пригоняли, тут же, на станке, где нужно — вручную, подтачивали, подпиливали, пригоняли по лекалу. Нигде не соскользнет у них отвертка, не поцарапает винта. Все делалось тщательно, осторожно, привычными, опытными руками.

Директор уехал, и в два часа ночи вернулся с корзиной съестного и двумя бутылками вина. Инженер, остававшийся с рабочими, встретил его:

Этим людям, — сказал он, — можно доверять... Они знают машину не хуже меня. И при том же сила!.. Плечом, без домкрата, машину поднимают... Это необыкновенные люди... «Необыкновенные люди» от вина отказались:

— Опосля, мусью шеф... Apres... d'abord fini (* - После... Раньше — кончим...). Они работали всю ночь, все воскресенье, всю ночь с воскресенья на понедельник. Работали любовно, вдохновенно, как умеют работать казаки, как они пашут под палящим весенним солнцем без роздыха, как сутками косят доставшуюся им деляну общественного луга, как запоем жнут, молотят, не думая об отдыхе...

Когда, в понедельник, в семь часов утра, пришел рабочий экип продолжать ненавистную работу по сборке для «капиталиста-фабриканта» машины, — машина стояла, готовая к отправке, и двое Русских Вранжелистов-рабочих возились подле нее с тряпочками, подмазывая и подчищая ее сверкающие части.

Это было так удивительно, что в ту минуту никто не нашелся, что сказать! и только, когда рабочие провожали машину, увозимую на выставку на гру-зовике, дружно поднялись вслед им кулаки, и кто-то угрожающе свистнул! На свист, один из рабочих обернулся. Широкое лицо его в русых усах расплылось в счастливой, победной улыбке. Он поднял в сторону рабочих свой кулак, блестящий от машинного масла, и кулак этот был так внушителен, в глазах «Вранжелиста» было столько добродушной иронии и силы собственного достоинства, что поднятые кулаки медленно опустились...

— Ну, погоди, топ vieux (* - старина), мы с собою еще посчитаемся... — раздалось вслед шедшим за грузовиком рабочим.

Русый усач был Чукарин, его помощник — его товарищ по Секретевской школе, урядник Полтавцев...

IX

Но посчитаться рабочим с казаками не пришлось. В ту зиму по всей Франции, по металлургическим и машиностроительным заводам, прокатилась волна забастовок.

Забастовки были бессмысленны. Большинство рабочих были довольны заработками и своим новым положением, и не хотели бастовать, но по заводам, по мастерским прошли незнакомые люди, часто не французы даже, но евреи, поговорили об общей забастовке, о постановлении о том синдиката рабочих, потом вдруг раздавался свисток, машины останавливались, станки прекращали свою унылую однообразную песню, безжизненно провисали широкие, кожаные, приводные ремни, рабочие бросали инструменты, и, с громким говором, покидали мастерские.

Было нечто стихийное, непонятное, психическое в этом движении толпы, и остановить его не могли никакие переговоры с заводской администрацией. Это была болезнь, лечить которую еще не было придумано способа.

Акантов, с толпой рабочих, вышел из мастерской. На набережной Сены Чукарин нагнал его:

— Что же, ваше превосходительство, видно, и мы с вами бастовать будем, как коммунисты какие. Ить, сила зараз на их стороне, а сила солому ломит. Сдурел, значит, народ, как у нас в пятом году. Тут бы надо-ть нашего брата послать, чтобы плетюганями уму-разуму поучить. Вы, ваше превосходительство, гляньте, что тут только деется... Жид во всем верховодит. Всему у их жид учить. Ить и они, гляди, допляшутся в жидовской своей пляске до того, что с протянутой рукой по чужим краям пойдут... Тольки, куды-ж они пойдут?.. Рази, к нам спастись пойдут...

Зимний день был по южному ярком. Синее небо, ясное солнце, заголубевшая в его лучах холодная, тихая Сена.

Вдоль земляной набережной стояли густые толпы рабочих. Кое-где на перекрестках улиц были видны синие плащи и каскетки французских мордастых «ажанов». Полицейские пересмеивались с рабочими. В толпе было много женщин, жен и подруг рабочих, торговков папиросами и газетами, продавщиц съестного...

— «Paris Midi», «Excelsior», «Intransigeant», — неслось с одного конца. Звонкий голос отвечал с другого:

— «Humanite», «Ceuvre» (* - Названия парижских газет)...

— Ну, чистая ярмонка, ваше превосходительство, совсем, как на масляной неделе у нас, — говорил Чукарин, пробираясь через толпу к мосту.

Вдруг в спокойной, смеющейся толпе, произошло движение. Кто-то сказал, что на завод прошел «штрейкбрехер». Никто не разсуждал, никто не думал о том, что мог делать штрейкбрехер в пустых мастерских. Но все насторожились. У калитки собралась толпа: ожидали выхода штрейкбрехера.

Вскоре из калитки вышел невысокого роста, бедно-одетый, щуплый человек, с бледным лицом. Какая-то женщина указала на него:

— Это он!..

Толпа подалась за ним. Кто-то ударил его сзади, и он закричал тонким, жалобным, словно заячьим, голосом:

— Au secours, Au secours (*— На помощь! На помощь)!.. — и побежал. Толпа бросилась за ним.

Тут стояли «ажаны»; они не тронулись с места. Это их не касалось.

Бледнолицему человеку удалось выскочить из толпы. Но кругом были люди, и все кричали: «Лови!.. Держи его!..».

Ему некуда было податься. Он как-то боком, быстро скатился к Сене, кинулся в воду и, как был, в одежде, поплыл к противоположному берегу

Толпа растянулась вдоль набережной. Женщины и мужчины сгрудились и смотрели на плывущего человека. Подле толпы оказалась груда камней. Кто-то схватил камень и кинул им в пловца. Мгновенно толпа стала расхватывать камень и кидать ими, норовя попасть в голову плывущего. Блестящие всплески воды вспыхивали серебром на солнце вокруг пловца, и все приближались к нему. Вот, должно быть, камень хватил по спине: пловец дрогнул и изогнулся, но сделал усилие и опять со стороны в сторону замоталась в воде его голова.

— В голову, в голову, бей его, — кричали в толпе в диком, охотничьем азарте. — А-та-та-та!..

Женщины визжали от восторга и топтали ногами по мостовой.

— Так его!.. Так, так, так!.. А-га-га-га!.. Чукарин стоял подле Акантова:

— Бож-жа мой, — сказал он, — сдурели!.. Чисто сдурел народ. Ить, чего де-лают?.. И полиция... Чего она-то смотрит? Аж глядеть тошно...

Ловко пущенный камень попал в голову пловцу, и тот погрузился, было, в воду, но сейчас же выплыл, но плыл теперь, неровно и вяло махая руками и часто погружаясь в воду.

— Утонет!.. Теперь утонет! — восторженно ревела толпа.

— Подержи, ваше превосходительство, — задыхаясь от негодования, сказал Чукарин, скидывая пиджак, штаны и ботинки, и бросился в воду.

Он плыл по казачьему, на саженках, легко, мерно и сильно выбрасывая руку, извиваясь винтом и режа плечом воду, Голова его высоко торчала над рекою. Он быстро настиг утопавшего, подхватил его под себя, и поплыл обратно.

Толпа смолкла. Пораженная и пристыженная, она притаилась. Во мгновение ока, изменилось ее настроение. Все симпатии были теперь к пловцу и его спасителю. Те самые женщины, что несколько мгновений тому назад улюлюкали и жаждали увидеть смерть человека, теперь стояли у самой воды и жадно всматривались: живой ли рабочий, или уже захлебнулся совсем... И, когда мокрый, облепленный намоченным водою бельем, Чукарин вылез на берег и вытащил еле живого пловца, толпа встретила его аплодисментами.

Полиция взяла рабочего и повела его в участок. Чукарин отказался дать объяснения, торопливо надел на мокрое белье штаны, жилетку и пиджак. Акантов, живший недалеко за мостом, повел Чукарина к себе, чтобы дать ему обсушиться и обогреться...

Х

В ближайшее воскресенье, в послеобеденное время, Чукарин явился к Акантову с дочерью Варей. Чукарин был при полном параде: в свежей, зеленоватой, форменной рубашке, с есаульскими, серебряными, потемневшими от времени, погонами, с крестами и медалями на груди, в высоких сапогах и шароварах с алым лампасом. Старым военным духом повеяло на Акантова от этого крепкого, кряжистого человека. Пахнуло дегтем и, казалось, что казачий запах седла и лошади пришел с ним вместе в маленькую каморку генерала в Парижском отеле на пятом этаже.

Варя была крепенькая, темноволосая девочка, с большими, поразительно красивыми, синими глазами. Маленькие точеные руки и прямые крепкие ноги сулили, что будет она высокой, стройной и гибкой. На груди ее чистенькой блузки висел орден на алой ленте: свидетельство, что она всю неделю прекрасно училась и вела себя.

Варя робко присела, взглянула быстрым, лукавым взглядом на Акантова, и сейчас же опустила глаза.

— Первой идет в школе, ваше превосходительство, — с гордостью сказал счастливый отец. — Вот, гляньте, какую цацку ей навесили. Каждную субботу так... А ты, Варюшка, поклонись генералу. Это наш ирой... Генерал... Его уважать надо... Ручку ему поцелуй...

Девочка еще раз робко присела. Акантов не дал ей целовать руку, но погладил по гладко причесанным, заплетенным в две толстые косички, нежным волосам:

— У меня такая же в Германии растет, — вздыхая, сказал он.

— Моя — чисто, как жена покойница... Волос и все... Только глаза, как у меня...

Девочка молчала, густо покраснела и опускала прелестные глаза.

— Ты по-Русски учишься, Варя?..

— Да... Нет, — чуть слышно сказала девочка.

— Иде-же, ваше превосходительство... Она у меня в школе на полном пансионе... Только по воскресеньям беру на часок к себе. Ну, гутарим помаленьку... Покель мать живая была, как-то смелее она говорила, а теперь и вовсе примолкла. Науками больно мучают ее. А ты, Варюшка, не стесняйся. Генерал — он, ить, добрый. Она, ваше превосходительство, чужих боится... Не приобыкла... Дикая...

— А ты хотела бы учиться по-Русски?..

— Mais certainement (* - Ну, конечно). Да, очень хотела бы...

И опять замолчала, опустив голову, и слезы алмазами засветились на черных, кверху загнутых, густых ресницах. Чукарин поспешил на помощь дочери:

— Конечно, — сказал он, — казаком мамаша побаловала бы меня крепче. Так ить и дочь — все кровинушка моя, прирожденная, наша, Донская казачка...

Они посидели не долго, и ушли...

+++

Каждое воскресенье они приходили к Акантову, пили у него чай, и сидели часа два. Акантов купил Русские буквари и стал учить девочку. Он скоро заметил, что девочка вовсе не робкая, но смелая и уверенная, но она совсем забыла говорить по-Русски.

Чукарин оставлял дочь с генералом, уходил вниз за кипятком, за чайным прибором, и за эти минуты отсутствия отца, а потом, осмелевши и разогревшись, и при отце, Варя рассказывала по-французски про школу, про *mere superieure* (* - Начальницу), которая очень любит ее и не дает в обиду другим девочкам:

— Там, — говорила Варя, — разные девочки, они стали смеяться надо мною, что я казачка, что я Русская, и я им все, все объяснила. Я сказала им, что, если бы не Русские и не казаки, их на Марне побили бы боши и занят ли(был-?) бы Париж, и они сейчас сидели бы теперь беженками у нас в Новочеркасске. Я сказала им, что они должны Русских любить и уважать... *aimer et l'estimer*... И они побежали к *mere superieure* жаловаться, и *mere superieure* сказала: «Правда, *mademoiselle Warja*, нужно гордиться своим отечеством даже и тогда, когда оно в несчастьи».

Чукарин, с подносом и чайниками, стоял в дверях маленькой комнаты, слушал дочь, и нагибал голову то в одну, то в другую сторону. По его лицу ползла счастливая, довольная улыбка. Так солнечный луч, прорвавшись сквозь густые тучи, постепенно заливает золотым светом приникшие, отяжелевшие под дождем нивы, и все радостнее и радостнее сверкает алмазами на оставшихся на колосьях каплях.

Видно было, что он ничего не понимал из того, что говорила Варя, но ловил отдельные слова и упивался музыкой красивой, по-Парижски, картавой речи своей маленькой дочери:

нужно гордиться своим отечеством даже и тогда, когда оно в несчастьи Это про Марну я ей гутарил... Запомнила, дорогая золото!.. Ить, как гутарит-то!.. На хутор возвернемся, — Бог даст, — так заговорит: чисто барышня. У нас, до войны, за хутором барышни, генеральши Себряковы, жили; придешь к ним, а те промеж себя вот так же гутарят. Она у меня, ваше пре-восходительство, и аглицкому языку за особую плату обучается... По всему Тихому Дону прославится Чукарина Варя... Прироженная Донская казачка.

Акантов грустно улыбался. Все было ему понятно. Девочка отходила от отца, девочка забывала Русский язык, и боялась показать это отцу.

После чая, Варя сидела у окна и тщательно срисовывала из букваря в тетрадь Русские буквы. Чукарин сидел подле Акантова и говорил взволнованным шепотом:

— Страшно мне, ваше превосходительство, за дочку, страшно мне. Как вспомяну все наши войны, бои, сражения, — Чукарин похлопал себя по широкой колодке с георгиевскими крестами, и те нестройно звякнули у него на груди. — Бож-жа мой, сколько крови!.. А в гражданскую!.. Брат у меня единоутробный у Миронова остался, к красным служить пошел; значит, брат на брата!.. И как в Крыму, помните, корпус Жлобы мы окружили, рубились тады: от шеи и до самой поясницы... Брат, значит, на брата... Что, ваше превосходительство, Бог все это видит?.. А что, не отошьется наша эта кровь на их, на детях наших, невинных?.. Поймут они нас, или осудят наше все иройство, проклянут нас за нашу лютую такую вражду?.. Молчал Акантов. Он вспоминал, как порубили у него знойным летним номером роту детей, как после, в деревенском трактире, рубили голову коммунисту а, может быть, и просто невинному, случайному человеку... Он тоже вспоминал всю кровь, и теми же мыслями, что и Чукарин, думал о Лизе.

У окна, нагнув темную головку, нахмутив черные брови, мусоля в маленьком рту карандаш, шептала Варя:

— «О», «п», «р», «с», «т», «у», «ф», «х», «ц», «тше», «тште», «тшта»... О, какой трудный язык... *Mon general*, я никогда его не осилю...

В тишине номера, чуть слышно, шептал на ухо Акантову Чукарин:

— Ваше превосходительство, ежели теперь пойти домой?.. Туг, гугарили наши станичники, есть такой Союз возвращения. Наши станичники туда ходили... Нюхались... Ить, поди?.. разстреляют?..

— разстреляют, Авдей Гаврилович.

— Я и сам так располагаю, ваше превосходительство, что разстреляют... Ну, а ежели я с дочкой, с дитем, маленькой, невинной, приеду, с сиротинушкой, ужли-ж все одно разстреляют?..

— разстреляют.

— Это точно. От них пощады не жди... Ить и мы их не пощадили бы... И куда пойдешь? Писали мне, ваше превосходительство, с дома. Давейшно писали... Курень мой начисто снесли, и звания его не оставили. Значит, кому-то он помешал. Двор ишло в гражданскую в запустение пришел, затравел, плетни позавалились... Ничего, значит, не осталось от родителява куреня. Жид, писали, на Дону начальствует... Никогда раньше жида на Дону не было, с того и стоял Дон крепко... Д-да... не

возвернешься. В 1920-м году, каких казаков с Лемноса французы обманом в Одессу увезли, — слышать, кого позабили, кого заслали на самый на Север, в Архангельскую губернию и в Сибирь. Померли там, слышать, казаки...

Меркнут, гаснут Парижские сумерки. Варя сложила букварь и тетрадку. Пора по домам. Mere supérieure отпустила до сумерек...

XI

Варя выростала красавицей. Прежняя ее «кубастость» с годами пропала, вылилась в крепкую стройность и гибкость. На диво ладная выравнивалась девочка, и еще потемнели и гуще и длиннее стали и волосы, и красивыми, упругими змеями мотались теперь по спине.

Все реже и реже приходила она к Акантову с отцом. Некогда было. А когда являлась она, была еще молчаливее, и этим молчанием своим сильно досаждала отцу.

— Ну, чего ты все молчишь, Варюшка?.. Верите ли, ваше превосходительство, она и дома со мною все в молчанку играет. Чисто немая какая... Прошибиться в каком слове боится... А ты, Варюшка, не бойсь. Я и сам-то не дюжа ученый, Гутарь с нами по-домашнему. Я ейную начальницу просил, чтобы ее и Русскому учили. Ну скажи, чему тебя учили...

— Histoire, geographie (* - История, география)... еще эти, которые писают, *ecrivans russes*...

— Ну, во, во, — обрадовался Чукарин... — Ить ты мне прошлый раз правильно называла... Ну, назови генералу... Какие же Русские писатели были?.. Как тебя учили?..

— Пусскин... Гоголь...

— Ну, вот... Отлично... Это, ить, она только вас стесняется... Ну, дальше?

— Моголь... Распутин...

— Так я же тебя, Варюшка, поправлял... Чему их и только учат, ваше превосходительство!.. Конечно, я сам малограмотный, ну, стало быть, начали ее про Русскую историю спрашивать, про великую войну, про Платова, — и чего несет! — и с Дона, и с моря, и не разберешь ничего... Все у нас кнут и рабство... Казаки — опричники...

— Ты, папа, *orgichnik*, — смеясь и тоненьким пальчиком тыкая в грудь отцу так, что звенели его кресты и медали, задорно, кокетливо сказала Варя. — Опришник!..

— Чисто с нею и смех и горе. Ну, рази могу я на нее сердиться?.. Уж вы, ваше превосходительство, нашли бы свободную минуту когда, погутарили бы с нею, разъяснили бы ей чистую правду, а то приедет на Дон — срамота одна: ничего-то она про нас не знает...

XII

С приездом Лизы, посещения Чукарина и Вари стали еще более редкими. Лиза и Варя познакомились, но не подружились. Заговорили по-Русски. Чуткая Лиза сейчас же поняла, что Варя не говорит свободно на родном языке, и перешла на французский. Акантов из своей каморки прислушивался к разговору. Разговор стал серьезным, не девичьим. Они не ссорились, но в чем-то не соглашались друг с другом. Потом замолчали, и Варя стала собираться уходить. Лиза ничего не сказала отцу о том, какое впечатление произвела на нее Варя, а Акантов уже знал, что, если Лиза чего не сказала, то и спрашивать ее об этом не следует...

Наступила зима, — редкое в Париже явление: выпал снег, — и на несколько дней стали морозы. Акантов ожидал к себе Чукарина с Варей. Должно было состояться второе свидание с Варей Лизы. Но Лиза собралась уходить.

— Ты куда же, Лиза? У нас Чукарины будут...

— Прости, папа... У меня дело. Мы сговорились с Натальей Петровной и Татушей, поехать вместе. Работа налаживается. Платья, сделанные по моим рисункам, очень понравились. Может быть, где-нибудь устроимся...

— В воскресенье?

— Да, в воскресенье, так сговорено.

— А нельзя это отменить?

— Зачем, папа?

— Варя у нас будет и Авдей Гаврилович.

— Ну, так в чем же дело?..

— Видишь ли... Авдею Гавриловичу ты очень понравилась. Особенно то, что ты так хорошо говоришь по-Русски. Он очень просил меня устроить так, чтобы ты и Варя возможно чаще были вместе, чтобы ты влияла на Варю...

Лиза улыбнулась.

— Думаю, что, это ни к чему... Мы говорили с Варварой Авдеевной... По-французски, конечно. По-русски оказалось невозможно... Ничего не выходит. Учить — можно... Но надо долго, и нужно, чтобы на это было желание самой Варвары Авдеевны. А она этого не хочет... Совсем не хочет... Отец ее этого очень хочет.

— Папа... Мне не хотелось тебе говорить... И боялась я, чтобы ты обо мне чего-нибудь не подумал... Но Варвара Авдеевна... Она — француженка... Па-ри-жанка... И мне... Кроме всего этого, трудно быть с нею... Она так несправедливо и неверно и, главное, гадко говорить про Германию. Убеждать ее бесполезно... Она просто не слушает, и не верит; наши жизни разные. У нее своя жизнь, а у меня — своя, вернее — никакой...

В дешевенькой, потертой шубке из фальшивого леопарда и в такой же шапочке, привезенных из Германии, Лиза стояла у двери.

Глубоко взволнованный словами дочери, Акантов встал и, стоя против Лизы, сказал глухим голосом:

— Что же это будет, Лиза?.. Ты думаешь, как немка, тяготеешь к Германии... Варя — француженка... Парижанка... Что же будет?.. Когда вы все вернетесь в Россию?..

— Да... Если вернемся, — быстро и жестко сказала Лиза, открыла дверь и застучала башмачками по деревянной лестнице.

Почти сейчас же пришел Чукарин, без Вари.

— Здравие желаю, ваше превосходительство, — сказал он, пожимая руку Акантова. — Я к вам покамест один. Варюша припоздает маленько. У меня ишшо и дельце до вас имеется... А Лизавета Егоровна ушли куда?.. Я встречался с ними... Возвернутся, ан нет?..

Акантов не ответил. Он видел, что Чукарин был озабочен и как будто и печален. Он был не в форме, не в обычной праздничной рубашке, с орденами и при погонах, а в новом, сшитом у казачьего портного, пиджаке, неловко сидевшем на его могучих, широких плечах...

Ить, вот, какая у меня до вас просьбица, — начал он, и лицо его точно лаком покрылось. — Дочь у меня растет... Значит, по завету родительскому, надоть ей приданое готовить, жениха искать. Приданое — вот оно у меня, — и Чукарин, не торопясь, достал из бокового кармана большой пакет, завернутый в газетную бумагу и аккуратно перевязанный бечевкой.

— Советовали мне, чтобы какие-то там бумаги купить... Займы, там, разные... Ну, только веры у меня к ним нет... Жидовские все это махинации. Старый я воробей, на мякине меня не проведешь... А тут, вот, у меня приданое Варюшке, в американских долларах: пятьсот долларов тут... Вот, и просьба моя в том, чтобы вы взяли их к себе на сохранение. У вас сохраннее будет, чем у меня...

Пока Акантов считал и прятал деньги в несгораемую шкатулку, где хранил суммы своей организации, Чукарин говорил медленно и спокойно:

— У вас дочь, ваше превосходительство, и у меня дочь растет. Большая забота... Нужно женихов искать, чтобы те сватов засылали. А где женихи, где сваты, где весь старый, святой, дедами установленный, обычай? На хуторе — кажного насквозь знаешь. И соседних хуторцов знаешь — у кого какая положения. Знаешь, кто к тебе за невестой придет, кто сватов зашлет, товар твой смотреть... А туг?.. Одна антимония, а не люди...

Чукарин помолчал, ожидая, не скажет ли что-нибудь Акантов, но тот молчал...

— Есть тут один казачишка... Ну, и шустрый такой малец... Три года тому назад наш Донской корпус в Сербии окончил. Там чего-то не поладил, сюда приехал. Дюжа он мне понравился. И нашего, при том же, и Округа... Отец войскового старшину в германскую выслужил, теперь на минах в Болгарии работает. Соседской станицы и хутор их: и шестидесяти верст нет от нашего хутора. Тот, знаю, сватов безпременно заслал бы... Не погнушался бы нами. Все, хотя и не офицерами мы были, а богато на Дону жили... Ну, да это, богатство-то наше, — Чукарин тяжело вздохнул, — чего там вспоминать... Было и прошло и быльем поросло... Миша Безхлебнов, того казачишку зовут... А надьсь собирались мы в войсковой праздник: посмотрел я его. Веселый такой казачишка... Песни играет... Танцор... И с лица гладкий. Сразу он, вот, как в мое сердце вошел...

Чукарин замолчал, положил голову на руки, примолк, пригорюнился.

— Варя видала его? — спросил Акантов.

— Нет... Куда-ж?.. Не вышло... Не то оказалось... Пошел я, чтобы ближе его наблюсти... В ресторане он служит, в Русском. Глянул на него... Во фраке... Ваше превосходительство, ить как это мне горько стало: казак и — во фраке!.. Ить это... В станице... Срамота... Тарелки носит... Хрянцузы сидят, Я Жиды... Он им рыбу подает... Чистит ее им, услужает... Салфетка белая, нак-1 рахмаленная, подмышкой у его... Так мне это больно стало... Как ножом бы по сердцу... Казак! Донской казак!.. Хрянцузу!.. Жиду!.. С салфеткой... Нет. Пушай и сватов Николай Михайлович Безхлебнов ко мне не засылает... Какая же это кальера?.. Жидам услужает!..

— Я видел Безхлебнова, — сказал Акантов. — Прелестный юноша. Вполне пара вашей Варе. Очень хорош...

Чукарин поднял голову, прищурился, остро пронзительно посмотрел на Акантова:

— Хорош-то, хорош... Да только не такого жениха моей Варе надобно...

— Свет не клином сошелся, Авдей Гаврилович.

— Кабы дома то было — и точно — не клином... А тут... Нет, ваше превосходительство, нет тут людей... Поглядел я. Этот хорош; вот как хорош, и отец у его генерал, и сам место хорошее имеет, в банке японском служит; чистое место... Ну, только... Французинку богатую ищет, с «шатор», аль американку, чтобы сразу им же, своя чтобы машина, по курортам разъезжать, в Монте Карлу играть... Купчиху аль старую листократку ему надо. По дансингам ходит, срамные танцы танцует, — такой пусть и сватов не засылает... Л бывает у меня... На Варьку глаза пялит, приценивается... Слышал, что и Варюшка не безприданница... Конечно, без «шатов» каких, а квартиру в две комнаты купить всегда бы смог...

И опять замолчал Чукарин... И долго молчал, и заговорил тихим, печальным голосом:

— А пуще всего, ваше превосходительство, страшит меня: ну, как хрянцуз какой, явится?.. Аль — жид?.. Лакомы они очень на наших-то девок... Тады, — Чукарин махнул отчаянно рукой, — кажись, и кровинушки своей не пожалею... Проклянун...

Он встал:

— Прощенья прошу, ваше превосходительство, что задержал вас глупыми своими разговорами. Уж очень тяжело у меня все это на сердце залегло...

Прощаясь, Чукарин прищурил свои синие глаза, искательно-ласково заглянул в глаза Акантову и сказал:

— Ваше превосходительство, сегодня, как уговорено, в два часа у вас урок истории. Очень я надеялся, что Лизавета Егоровна будут... Ну, все одно... Я нароком ухожу, пусть Варюшка с вами побудет одна, стесняться не будет... А то она все меня боится... Очень я буду уже просить вас... Погударьте вы с нею по-отцовски... Меня-то она не слушает. Могёт быть, что и не понимает, как следует; вас поймет и послушает... Погударьте с нею обо моем... о вере отцовской... о казаках... о славе нашей великой, Донской... Оберните сердце ее девическое: ведь, воск оно, оберните в сторону Тихого Дона... Вот, какая у меня к вам ишшо просьбица, ваше превосходительство... Слезы блеснули в прищуренных глазах Чукарина, по полному, загорелому лицу сетью растянулись мелкие морщины, русые большие усы приподнялись, сверкнули под ними крупные, белые, чистые, ровные зубы.

— Одна она у меня, вся моя достояние, казачка прирожоная, кровинушка моя... Прошу вас, направьте вы ее...

— Постараюсь, — сказал Акантов.

Глухо прозвучал его голос. Сильно был он смущен. Своя дочь не шла у него из головы. Казалась трудной и невыполнимой данная ему казаком задача...

XIII

Варя пришла с большим опозданием. Прекрасно одетая, в длинном меховом мантио серебристого меха, в такой же шапочке, едва державшейся на макушке ее головы, в модной вуальке, прикрывавшей только лоб и глаза, она вошла оживленная и веселая. Она раскраснелась от мороза и стала еще красивее. Она была подмазана, и от нее пахло дорогими, тонкими духами, морозом и свежестью. Не снимая перчатки с красивой руки, она присела в кресло у окна, и заговорила быстро, быстро, по-французски, изящно картавя и грассируя. Акантов смотрел, как

мелькали ее перламутровые зубы между маленьких пухлых подкрашенных губ, и не успевал следить за ее речью, невольно любуясь ее красотой, молодостью, оживлением и гибкими движениями ее тела.

— Excusez, mon general, d'etre en retard (* - Простите меня, генерал, что я опоздала), — начала Варя. Она разстегнула нарядную шубку распахнула ее на груди и красивыми складками положила по бокам кресла. Под шубкой было дорогое платье, какого еще не видал на ней Акантов. Запах духов стал сильнее. — Мне очень, очень трудно было сегодня поспеть к вам, general. Но отец непременно хотел, чтобы я была у вас, что вы мне что-то должны сказать. Он был у вас... Et bien, mon general, j'excuse (* - Итак, генерал, я вас слушаю)...

Акантов, по-французски, как умел, стал говорить Варя, что ее отцу больно, что она так мало знает свою Родину, так мало интересуется Россией, плохо говорит по-Русски и не знает Русской истории... Точно она не любит России.

Варя с досадою дернула плечами.

За окном, над покрытыми снегом пустырями, казавшимися особенно печальными сегодня, надвигались тихие зимние сумерки. В доме напротив засветилось окно. Из-за снега в Париже было тихо, и город пел новыми, другими, нужными голосами. Промчался поезд электрической дороги с безстыдно ярко освещенными окнами вагонов, прошумел быстро несущимися колесами. Шум их, смиряясь и стихая, умолк вдали. Полумрак вошел в комнату. Акантов хотел встать, пустить электричество. Варя, рукой в перчатке, изящным жестом остановила его:

— Laissez... Laissez done... Pas de lumiere... Il n'en faut point, — быстро сказала она. — Vousdites: monperemeprie... Да, я знаю. Он много теперь гово- ^ ритсомною. Croyez, mon general, j'el'aime bien fort et, je comprends ... Я все понимаю... Mais voila!.. Между нами всегда — ложь!.. Oui, oui, mon general, ложь! — делая останавливающий жест рукой, повторила Варя. — Je m'en suis ouverte a la mere superieure, qui s'est montree indulgente. «Это неизбежно», сказала она, «ваш отец — казак, вы — француженка»... Vous admettez, mon general, я не могу сказать правды отцу. Он не поймет меня, и осудит, а я не чувствую себя виноватой, Мы разные люди... C'est terrible, mais qu'y puis je faire?.. Он мне говорит о staniza, khoutor, kourjene, — tout ca des mots qui ne me disent rien (* - Оставьте, оставьте же... Не надо света... Вы говорите, отец просит... Я люблю моего отца. Я его очень люблю. Я ему всем обязана... Я каялась начальнице, и она простила меня... Это ужасно, но что я могу поделаться... Я не понимаю этих слов) ... Я никогда ничего такого не видела. У меня — Paris!.. Oh Paris! Vous vous rendez compte, mon general, de tout ce que peut représenter Paris pour une vrai parisienne (* - Но, правда, генерал, я же настоящая Парижанка) ... Я делаю, что могу mon general. Я хожу в церковь, но мне неловко, что мой отец надевает эти страшные мужицкие сапоги, рубашку, и навешивает кресты на старых, вылинявших ленточках. Я боюсь, что мои знакомые увидят меня с ним. C'est bien vilain d'avoir honte de son pere, je m'en rends compte et sens que je suis fautive, mais je n'y peux rien. Nous sommes de deux especes differentes. Il me parle de Platoff et le Souvoroff, mais en fait de heros, j'ai les mienes: Napoleon et le marechal Foch (* - Это гадко стыдиться своего отца, я понимаю это, я виновата, но что я поделаю... Мы разные люди. Он мне говорит про Платова и Суворова; у меня свои герои — Наполеон и маршал Фош)!..

— Pourquoi done, Varia, ne cherchez-vous pas a apprendre russe correcte-ment (* - Почему, Варя, вы не стараетесь научиться, как следует говорить по-Русски)?..

— О, это так трудно! Это ужасно, какой трудный язык. Mere superieure говорила мне, это — как китайский...

В полутьме, Варя встала, и, застегивая шубку, продолжала:

— И зачем?.. Зачем, mon general? Зачем? Мне так хорошо во Франции. Я люблю Францию и Париж... Почему я не могу быть счастлива в Париже?..

— Но вы — казачка...

— Prirojonaja kasatschka, как говорит мой отец, — с коротким смешком сказала Варя, нервно пожала плечами и добавила серьезно и грустно. — Quelle betise... Au revoir, mon general (* - Какая глупость... До свидания, генерал), я должна спешить...

Акантов пустил электричество. В ярком свете, видением из какого-то иного мира, мира богатого и пустого, картинкой модного журнала, стояла у двери Варя. Синие глаза ее блистали молодым счастьем, темные волосы выбивались тугими блестящими косами из-под маленькой серебристо-серой шапочки.

— Я вас провожу, Варя... Варя точно испугалась:

— О, нет, нет... Ни за что я вам это не позволяй, — по-Русски, настойчиво воскликнула она, крепко, по-мужски, пожала руку Акантова и выбежала из комнаты Лизы.

В комнате остался волнующей запах Вариных духов, и все казалось Акантову, что он слышит Варин картавый, красивый французский говор.

Акантов надел пальто и вышел на улицу. В серебряной ночи, засыпанная снегом, по Русскому, по провинциальному была тиха маленькая улочка. Никого не было на ней. Акантову показалось, что он увидел вдали, у выхода на проспект, стройную Варину фигурку. Варя сейчас же и исчезла за углом. Там вдруг загорелись ярким светом автомобильные фонари, бросили лучи света вдоль проспекта; большая, нарядная машина, медленно набирая скорость, проплыла по снегу, пересекая улицу...

Акантов тяжело вздохнул и тихо пошел по скрипучему снегу к проспекту. Душно было ему в морозную ночь. Он понял, что между старым Чукариным и его дочерью — пропасть. Варя навсегда ушла от отца...

А его Лиза?..

XIV

У Лизы была большая забота, что надеть на тот бал, что устраивался дамским комитетом, под председательством генеральши Кусачевой, в пользу воспитанников X-ского училища. Отец сказал Варе, что вечер этот будет совсем особенный, что на нем будет Великий Князь, будет цвет Русской эмиграции, офицеры гвардейских полков и те немногие иностранцы, которые сохранили дружественные отношения с Русскими и в пору их несчастья. На вечере будет музыкально-вокальное отделение, где будет петь Надежда Васильевна Плевницкая и декламировать стихи Дуся Королева.

Про Дусю Королеву эти дни Наталья Петровна прожужжала Лизе все уши:

— Дуся Королева нас устраивает в Америку... Я обо всем с нею договорилась... Ангел Божий, не женщина... И связи!.. Она все может... Все ей доступно... И министры, и депутаты, и чиновники министерств... Тут мы ничего не добьемся, только силы порастратим... Сколько тут всяких стеснений. Работать без «карточки» мы не можем, а карточки с разрешением на работу нам не дают... Вот, мудрый Эдип, разреши, как это выходит!.. Тут нас просто голодом задавят, а в Америке, Лиза, с вашим талантом, с нашими умением и работоспособностью, мы миллионы наживем... Ей-Богу, правда... Сначала вы оттуда будете помогать отцу, а потом и его выпишем: будет он наши работы развозить по заказчикам... Генерал! — это в Америке даже понравится... Там Великая Княгиня как хорошо работает!.. На балу все решится. Давайте ваш паспорт, — Дуся нам все нужные визы на нем устроит.

У Лизы было прелестное платье, привезенное из Берлина, Русской портнихой там шитое, то самое, в котором она была на прощальном вечере у барона фон Альвенберга. Но у него была обнаженная спина, и Лиза понимала, что показаться в таком виде при отце — просто невозможно. Посоветовавшись с Натальей Петровной, Лиза перекроила это платье, сделала подходящую вставку, оставила обнаженными только грудь до ключиц и шею; вышло не так нарядно, но вполне прилично, красиво и оригинально, Наталья Петровна и Татуша одобрили платье. В нем и решила Лиза ехать.

По своей Бийянкурской квартире, по тому, как устроились в Париже Февралевы, по приятелям отца: казаку Чукарину доктору Баклагину и шоферу Николаю Семеновичу, Лиза ничего ни нарядного, ни блестящего не ожидала от бала: беженский бал и только... Отец ехал на бал — в пиджаке!.. Лиза знала, что у ее отца не было смокинга...

Будет что-нибудь серенькое, эмигрантское, беженское. Жалкое и отнюдь не волнующее...

Но, когда свернули в темноватую улицу, между садов, где помещалась та вилла, где будет бал, и Лиза увидела, что улица по обеим сторонам заставлена автомобилями-такси, когда вошла она на ярко освещенное крыльцо и увидела свет, пробивающиеся сквозь ставень больших окон, почувствовала, что сильнее забилося ее сердце и краска прилила к ее лицу так, что уши загорались...

Красивый, ловкий юноша в Русской рубашке, подпоясанной ремешком, и высоких сапогах, помог раздеться Лизе и Февралевым, приехавшим вместе с Акантовыми, принял их шляпки и шубки и выдал номерок.

Через открытую дверь, Лиза увидела много света, много народа, и Лизе показалось, что военный оркестр играл марш из какой-то оперы.

— Великий Князь уже прибыл, — сказал на ухо отец Лизе, и, сжимая ее руку повыше локтя, повел в залу.

Марш играл граммофон. Народа было не так уже много. Зал был невелик, потому и казалось, что много народа. Над головами стоящих гостей Лиза видела ярко освещенные тремя электрическими люстрами стены, увешенные портретами и картинами в золотых рамах. Все тут было добротное, настоящее, не рыночное. Какие-то генералы, в эполетах и пестрых мундирах, в седых усах, бакенбардах и бородах, смотрели со стен. Лиза видела еще верх громадной батальной картины, небо, деревья, холмы, войска по ним и пушечный дым...

Они остановились у стены. Там был высокий шкаф, и в нем, за стеклянными стенками, Лиза увидела много старинного, художественной работы, серебра. Все говорило о чем-то богатом, славном, былом, о чем так любил рассказывать Лизе отец, и чему Лиза плохо верила.

Зал был заставлен рядами стульев и, когда гости стали садиться, Лиза окончательно рассмотрела все то, что было кругом.

Крыльями старинной славы повяло на Лизу. Душа, воспитанная в материализме Запада, почуяла непонятное дуновение иных сил, сил великого прошлого, и смутилась. Зал был, как музей. Сколько в нем было реликвий, старины, золота, серебра, чепраков, густо расшитых золотом, старых ружей, пик, значков, знамен, воспоминаний побед и славы...

Отец показал Лизе Великого Князя... Лиза не имела понятия, что такое «великий князь». Она никогда не видела таких особ, и читала о них только в истории. С любопытством, сама удивляясь охватившему ее волнению, смотрела она на красивого, статного, безукоризненно одетого в смокинг человека, к которому почтительно подошел ее отец.

Думала Лиза: «А как подошла бы я сама к Великому Князю?». И сознавалась, что подошла бы, волнуясь, с сильно бьющимся сердцем, что отвесила бы низкий поклон, и не сразу нашлась бы, что сказать... Она — доктор философии...

Впереди, между флагов, знамен, значков и ружейных пирамид, у задрапированного сукном окна, была невысокая эстрада. На ней стояло пианино и старый пианист, — вернувшейся к Лизе, Акантов шепнул дочери, что пианист этот почтенный генерал, — сел за пианино.

И сейчас же в зале дружно стали аплодировать.

Из боковой двери на эстраду вышла декольтированная высокая женщина, с темными густыми волосами. Она была полная, немолодая, в том возрасте, когда писаться в старухи еще рано, а молодость уже прошумела, ушла в далекое прошлое, — певица Плевницкая.

Она переглянулась с аккомпаниатором, приветливо и широко улыбнулась публике, и стала, опустив руки. Зазвенели струны рояля. Точно упали по листьям капли летнего дождя. Что-то простое, несложное, пропели под клавишами струны.

Сильный, немного усталый голос, все еще свежий, далеко несущийся, понесся по залу. Зал восторженно и застыл в молитвенной тишине:

По старой Калужской дороге,

На сорок девятой версте,

Стоит при долине широкой

Разбитая громом сосна...

Акантов сидел рядом с дочерью. Было тесно, и их плечи касались. Их головы были близко, близко, а так по-разному воспринимали они пение.

Акантов закрыл глаза и опустил голову. Он видел все то, о чем выразительно пела певица. Он видел бор и по нему разбитую колеями дорогу. Он видел длинные, темные лужи, с глубокими промоинами колеи, обрамленные травой и мелкою порослью берез и осин. Он видел высокие сосны и дубы, темень леса, и как выходила дорога из леса на широкую долину между полей. Он видел покосившийся, белый, в выцветших, запыленных темных полосах, деревянный столб с кубышкой наверху и с цифрой сорок восемь на ней. Он видел и корявый красно-сизый ствол разбитой громом сосны, пустыню долины, по которой шуршит по засохшим травам знойный

осенний ветер. Он видел, как качаются на ветру колючие будяки, растущие по краю широкого шляха, как ветер завевает пыльные, скучные смерчи, как несет по воздуху длинную паутинку и гонит серое «перекати поле» по низкой стерне. Он слышал все запахи Русской земли, черноземной пыли, полыни и хлебного зерна и мяты. Он видел Россию...

Шла лесом, шла темным, бабенка,

Молитву творила она.

В руках эта баба ребенка,

Малютку грудного несла...

Совсем по иному воспринимала песню Лиза. В ее понятие не входило то, что рассказывала певица... Лиза видела черные, прямые, гудроном залитые дороги-аллеи, обсаженные деревьями, частые указатели, то с номерами, то с треугольниками, то с решетками, желтые доски с черными названиями селений, уютные городки, местечки, деревни... Видела Лиза и бабенку... Бабенка была в городской шляпке, из-под полей которой выбились светлые завитки волос. Она катила на велосипеде, бодро педалируя толстыми, крепкими ногами. Перед нею, в корзиночке, прикрепленной к рулю, сидел ребенок в венке из пестрых цветов и улыбался матери ясными, синими глазами...

И лес видела Лиза — тщательно расчищенный, с убранными сучьями валежника, с оранжевой фольгой прямых сосновых стволов; через лес, широкой лентой, в два пути проложен — гордость Германии, сверкающий свежим настилом — автобан... По нему стремительно несутся автомобили, грузовики, мотоциклетки...

Лиза покосилась на отца. Тот низко склонил голову и чуть кивал в такт пения головой...

«Сейчас заплачет», — подумала Лиза.

Акантов не заплакал. Он слушал и думал: «Все кровь... всегда и везде на Руси кровь... Разбои, убийства, грабежи... войны... И теперь, как тогда, и везде теперь, как на старой Калужской дороге, на сорок пятой версте... Господи, когда помилуешь Ты ту страну, где, как мы верим, обитает Мать Твоего Сына? Не потому ли Она там и обитает, что больше всего Она там нужна, чтобы усмирить и утишить кровавые страсти лихого народа?..».

Рукоплескания прервали мысли Акантова. Кругом него кричали, топая ногами:

— Замело тебя снегом, Россия...

— Да, разве, господа, не надоело?.. — с тихим упреком сказала певица, — сколько разов пето и перепето...

Еще настойчивее стали кричать:

— Замело тебя снегом!! Замело!.. Замело!..

— Вот, для них спойте, для молодежи нашей!..

— Она и снега-то настоящего не видала!..

Звучный голос, с трещинкой, с надрывцем, понесся по залу. Точно запела в телеграфных проводах вьюга зимнюю суровую песню, зашуршала по снегу стеклянной хрупкой поземкой, застучала досками гнилой веревкой завязанных деревянных ставень:

Замело тебя снегом, Россия,

Закружило седую пургой,

И печальные ветры степные

Панихиду поют над тобой...

Прозрачная слеза показалась из прикрытых глаз Акантова, наполнилась и тихо упала на борт тщательно выутюженного Лизой черного пиджака...

Плевицкую сменила Дуся Королева. Она царила в Русском Париже в этом сезоне. Она столько добра сеяла кругом, так широко помогала, так привлекала к себе сердца, что ее встретили почти такими же дружными рукоплесканиями, как и всем хорошо знакомую и всеми любимую и уважаемую певицу Плевицкую.

Дуся вышла в Русском костюме. Широкая, полная, костистая, настоящая Русская баба стояла перед залом. Накрашенная, с подведенными глазами, в свете, падавшем на нее сверху, она показалась Акантову много старше, чем казалась в Берлине, и опять странно напомнила Могилевскую...

Должно быть, та же мысль о Могилевской пришла в голову и доктору Баклагину. Тот неслышными шагами подошел сзади к Акантову.

Акантов потеснился на стуле, потеснил Лизу, и Баклагин сел на край стула подле Акантова.

Тот же колдовской голос, каким читала Дуся в Берлине, и тот же голос, что раздавался в трактире подле станции, когда читала «Молитву офицера* Магда Могилевская, раздался в затихшем зале: Мы — серые птицы. Мы — птицы печали... Мы песни страдания, — одне можем петь... Мы здесь... на чужбине... С гнезда нас согнали... Нам некуда —дальше лететь... Тихие вздохи легким стоном прошуршали по залу. Баклагин нагнулся к уху Акантова и прошептал: — Вы, наверно, подумали: она?.. Нет!.. Не она... Все-таки так не подделаешь, не помолодеешь... И знаете, кто она?.. Баклагин замолчал, прислушиваясь к ясному, четкому чтению: Вернитесь, родные!.. И вновь наша стая Слетится из дали на зов... Мы ждем тот призыв... Но... Безбрежные дали Несут лишь туман нам сырой... — Она... Жидовка... Уверяю вас, — до боли сжимая руку Акантова. прошептал Баклагин. Дуся кончала с жуткою, безпредельною печалью: Мы серые птицы... Мы — птицы печали. С усталою... Русской душой... (* - Стихотворение Князя Ф. Н. Касаткина-Ростовского.)

XV

Вальс... Конечно, это был вальс. Старый, милый, немецкий вальс, какой столько раз играли в немецких залах «Diele». Его заиграли разом появившиеся на эстраде пять музыкантов Русского джаз-банда. Прислуга... Акантов объяснил дочери, что все эти люди в скромных, черных пиджаках и Русских рубашках, были офицеры или юнкера, по собственному желанию, чтобы лучше устроить бал, взяли на себя обязанности прислуги, — проворно разставила стулья вдоль стен и освободила место для танцев.

Лиза танцевала с шофером Николаем Семеновичем. Они же и начали танцы. За ними в зал вступила очень еще молодая барышня, почти девочка, хорошенькая блондинка с длинными, узкими, мечтательными глазами и красивыми локонами волос, вьющимися за спиной. Пошла и Татуша с плотным, лысеющим кавалером в смокинге.

Лиза хорошо танцевала, и знала это. Она любила танцы. Ее кавалер оказался искусным танцором, и Лиза радостно улыбалась. Со знамен и значков, с ружей и старых киверов, с картин и портретов, на Лизу смотрела Русская слава. Еще ни разу не испытанное Лизой, чувство национальной гордости наплывало на нее, сердце замирало в неясном томлении. Лизе казалось, что здесь, в этом зале, между этими мало ей знакомыми людьми, под сенью Русской славы, она попала домой.

Она кончила свой тур с Николаем Семеновичем; ей сейчас же подвели другого кавалера, — она была замечена, — она не сидела, и это тоже было приятно и согревало сердце радостью успеха. Она подумала о Курте: «Вот тут посмотрел бы он на меня и на всех нас, он не стал бы смеяться над беженцами», не сумевшими спасти своей Родины и победить»... И какие были безукоризненные манеры!..

— Mademoiselle! — слышала она вокруг себя... — Madame!.. — красивая французская речь мешалась с Русской...

Еще и еще танцевала Лиза: с секретарем французского посольства еще в Императорской России, так хорошо говорившем про Россию и про Русских, а потом с милым полковником, кавказским казаком, тем самым, что оклеивал обоями их квартиру. И Лизе было забавно смешение положений и профессий...

Отец любовался Лизой, и Лиза это чувствовала. Когда кончился вальс, и гости парами ходили по залу, Наталья Петровна, сидевшая у самой эстрады с Дусей Королевой, поманила Лизу к себе:

— Садитесь, Лиза, к нам... Вот, Евдокия Помпеевна, позвольте познакомить вас и со второй моей помощницей... А художница!.. Такие раз в сто лет рождаются — та-а-лант! Поблагодарите, Лиза, милую нашу покровительницу, очаровательную Дусю!.. Все готово! На всех наших паспортах поставлены все нужные визы; въезд и проживание в Америке нам разрешены, и даже место у нас

есть. Мы будем работать в торговом доме Брухман и Ко, работающем на самые богатые семьи Нью-Йорка...

— Вот, Лизонька, в добрый час со молитовкой, и собирайтесь с Натальей Петровной, — сладким голосом сказала Дуся, пристально глядя в Лизу и так разсматривая ее, что Лиза покраснела.

— На будущей неделе и пароход есть хороший, не очень большой, но такой уютенький, я вам на нем всем трем каютку даровую устрою... Ладненько и спокойненько доедете...

— Какая вы прелесть, Евдокия Помпеевна, — встряхивая коротко постриженными волосами, восторженно воскликнула Наталья Петровна. — Вы необыкновенная женщина... Сколько добра, Боже мой, сколько добра вы сеете кругом себя!..

— Ну, что-о вы, — протянула Дуся. — Я так рада оказать помощь моим соотечественникам. Если я могу...

Оркестр заиграл танго... Волнующие, влекущие, раздражающие, пленительные звуки понеслись по залу. Николай Семенович точно поплыл, шаркая ногами, к Лизе; та протянула ему руки, и они стали выступать в танго.

Теперь Лизе не хотелось, чтобы отец видел ее в этом танце, Лиза знала, что отец назвал эти танцы безстыдными...

XVI

Акантов не видел дочери. Еще не кончили танцевать вальс, как к нему подошел высокий лысый старик в пенсне, его бывший корпусный командир, генерал Атаренко, и, протягивая ему карту, сказал:

— Егор Иванович, у нас четвертого партнера не хватает для бриджа... Пожалуйте...

В карточной, за полупритворенной дверью с портьерой, было тихо. Редко, негромкими голосами, переговаривались игроки. С тихим шелестом падали сдаваемые карты. Играли на шести столах. В самой глубине Великий Князь играл с красивым генералом в смокинге. У генерала были густые седые волосы и длинные «гусарские» усы. Их партнерами были полная пожилая дама и очень худой человек в очках.

Как только Акантов уселся и начал игру, к их столу подошел генерал Гвоздиков и стал за стулом Акантова:

— Я вам не мешаю... — сказал он, и стал следить за игрой.

Сквозь полупритворенную дверь доносились из зала звуки музыки. Играли танго, потом фокстрот. Ладно, в такт, пристукивали ноги танцующих, и в напряженной тишине карточной комнаты эти звуки казались Акантову далекими и чужими. Акантов любил бридж, но, по бедности и усталости после заводской работы, ему приходилось редко играть. Он ушел в игру. Сквозь соображения ходов, он смутно слышал, как снова заиграли танго и зашаркали ноги танцующих. Кто-то от двери шепотом обозвал:

— Ваше превосходительство...

Гвоздиков сказал:

— Егор Иванович, к вам человек...

Акантов обернулся. В дверях стоял высокий, стройный молодец в шароварах и высоких сапогах, в Русской рубашке; Акантов знал его: Миша Безхлебнов... Он подавал Акантову знаки, прося его подойти.

— Простите, господа, — сказал Акантов, — разрешите Гвоздикову доиграть за меня. Я сейчас, узнаю только, в чем дело...

Он подошел к двери:

— Что случилось, Миша?

Они стояли у тяжелой портьеры, ею отделенные от играющих. В полуоткрытую, дверь была слышна музыка и видны танцующие.

— Ваше превосходительство, чистая беда, — взволнованно и торопливо шептал Миша. — Варвара Авдеевна сюда приехали...

— Какая Варвара Авдеевна?

— Чукаринская дочка, ваше превосходительство... И волосы у нее острижены... И сама с хахалем своим... И Авдей Гаврилович тут...

— Каким хахалем? — хмуря брови, спросил Акантов. Он еще ничего не понимал.

— Жених ее... Варвара Авдеевна замуж выходят... Через неделю в мэрии подписываться будут. Француз ее жених... Богатый, страсть... Сейчас на своей машине приехали... «Эспано», — последняя модель нынешнего года... Кароссеры такое, что просто ума потрясение... Да, главное самое: волосы обрезала... Ведь, это...

— Ну?..

— Да отец, говорю вам, ваше превосходительство, здесь. Если увидят, не постесняются: такой скандал поднимут. Беда!.. Он убить может... Такой человек, первобытный... Вы Авдея Гавриловича не знаете... Старого режима человек. Он этого сраму не снесет. И опять же, дочь до страсти любит... Вы, ваше превосходительство, пошли бы к Авдею Гавриловичу. Он вас послушает. Увели бы его куда-нибудь, чтобы только не увидел дочери... Я как увидел, кто к нам приехал, и гардероб бросил, на кухню Авдея Гавриловича по темной лестничке провел, на кухне станичник его поваром... А только боюсь, ну, как выйдут, танцы посмотреть, музыку послушать... Старик это любит... Чистая беда...

Акантов шире открыл дверь и заглянул в зал. Оркестр играл Аргентинское танго. Рыдала скрипка, ворча, по-негритянски, выл клаксон. Что-то дикое и страшное показалось Акантову в музыке.

Танцевали две пары. Небрежно, с каким-то высоким, лысым господином, переступала Лиза. Акантову стало стыдно и противно за дочь. Все не мог он привыкнуть к циничным и безстыдным движениям новых танцев. В другой паре шла Варя.

С остриженными сзади коротко волосами, с колбасками черных локонов на темени, подкрашенная коричневой модной краской, с подведенными пунцовым сердечком губами, с огнем задора горящими синими глазами, высокая, тонкая, гибкая, стройная, с крошечными ножками, со спиной, до неприличия обнаженной, с руками в браслетах, она вызывающей красотой своей обратила внимание всего зала. Ее вел в танце молодой француз во фраке, в штанах с атласным лампасом, высокий, тонкий, как и Варя, о полным, наглым, самоуверенным лицом, с синими щеками; он облапил Варю и танцевал с нею, как танцуют танго артисты в «варьетэ»...

Эта пара заколдовала Акантова. Он не мог оторвать глаз от нее. В ней было то гнилое, «европейское», чего не выносил Акантов. Ничего предосудительного с точки зрения теперешних приличий, но какое циничное!..

Они кончили танцевать, и Варя, под руку с французом, подошла к буфету где продавали шампанское. Они взяли по бокалу. Варя «со значением» подняла свой и осушила его медленными глотками. Потом одними губами сказала что-то своему кавалеру, и тот достал бумажник и подал его Варю. Варя вынула пестрый пятисотенный билет и небрежно кинула его на тарелку. Они сейчас же и вышли. Точно для того только и приезжали, чтобы показаться перед всеми...

— Идемте, ваше превосходительство, — с тревогой в голосе шептал Миша.

«Зачем», — думал Акантов, — «зачем Варя делает это?.. Кому и что хочет показать она?.. Неужели же она, зная, что отец ее будет здесь, ему хотели показаться во всей своей красоте и воле?.. Неужемная, буйная отцовская кровь заговорила в ней. Как Авдей Гаврилович плыл не по течению, но всегда против течения, работал в неуточные часы, пёр, куда хотел, презирая товарищей-французов, их правила и законы, по своему ломая жизнь, имея одну цель: вернуться домой, на Дон, богатым и с богатою, образованною дочерью, как он плевал на все новое и не хотел видеть его, и думал только о старине, о сватах, которые придут к нему за дочерью, и как он будет ломаться перед ними и хвастать образованием дочери, — так и Варя, став французенкой, захмелела от парижской отравы, наплевала на старые корни, и, захмелев, решила загулять смело, отчаянно, лихо, по-казачьи!.. Не думая о том, что будет из этого потом, но наслаждаясь тем, что есть...».

Так, потерявшая стыд казачка, наденет лучшее платье, шелковую, пеструю юбку в сборках, разукрасит кофту лентами и монистами, вденет в уши тяжелые серьги, заплетет тугие косы, венком украсит голову, и, хмельная от счастья, от задора, обнимет своего любушку и мчится в бричке по станичной улице, наплевав на отца и мать... Что ей ее срам?! Знай наших! Люблю, и все тут!.. Гуляю, пока молода и прекрасна, пока любушка, пестуемая женихом, а не жена, подневольная работница, что первая встает в курене, чтобы вздуть огонь в печи и готовить хлеба, что первая выйдет на базы кормить птицу и животину, и последняя ляжет, разув загулявшего мужа... С трудом оторвал глаза Акантов от Вари и пошел за Мишей, по черному ходу, на кухню...

XVII

На кухне, за кухонным столом, сидели повар в белом колпаке и фартуке и Авдей Гаврилович в форменной рубашке, с крестами и медалями. Перед Авдеем Гавриловичем стоял нетронутый стакан красного вина.

Уже по бурому лицу, с выпученными, растерянными, синими глазами и налитыми кровью белками, Акантов понял, что Чукарин видел дочь.

Авдей Гаврилович встал, тяжело опираясь о стол, пошел навстречу Акантову и сказал глубоким, за душу хватающим голосом:

— Пойдем, ваше превосходительство.

Он взял Акантова под руку, и они вышли боковым ходом, через палисадник, на улицу.

Была Парижская зимняя ночь. Должно быть, недавно прошел небольшой, мелкий, холодный дождь. Густой туман упал на землю. Длинною, непрерывной вереницей вдоль узкой панели стояли черные автомобили такси. Чуть слышно гремел за рекой город: пел ночную песню...

Было сыро и холодно. Акантов был в одном пиджаке, Чукарин — в одной рубашке; оба — с непокрытыми головами. Они не замечали холода. В одном шла страшная внутренняя душевная работа, и буйное биение его взволнованного сердца передавалось другому.

Чукарин крепко держал за руку, выше локтя Акантова и бережно вел его по узкой панели пригородного местечка, мимо уснувших домов со слепыми, холодными окнами, со спущенными ставнями, мимо палисадников с голыми ветвями деревьев и кустов, откуда падали им на головы тяжелые, холодные капли.

В тумане, по мосту через реку пронесся поздний поезд электрической дороги, проблистав ярко и весело окнами пустых вагонов. Улица полого спускалась к реке...

— Сраму-то!.. Сраму-то сколько!.. — глухим голосом сказал, наконец, Чукарин.

Его горячее дыхание донеслось до Акантова. В нем не было ни водочного, ни винного духа, и то, что Чукарин был совсем трезв, было страшно.

— Ить это, как сказать, ваше превосходительство... У нас, ежели хвост коню обрезать, так и то какой позор считается!.. А тут?!

Чукарин махнул с отчаянием рукой:

— Девка косы себе обрезала...

— Это мода нынче такая, — тихо сказал Акантов.

— Мода!!

Чукарин резко остановился и остановил Акантова.

— Твоя, ваше превосходительство, волос, небось, не обрезала. Здешняя полковница с косами, все, которые себя уважающие — с косами... А эта... Варюшка!.. Да что же эт-то?!.. Да рази же я для нее чего не жалел?!.

— Старая Февралева обрезала и ее дочь тоже...

— Ты меня, ваше превосходительство, не учи!.. Не сепеси!.. Та старуха... Кому она надобная?..

— Ваша дочь... — начал, было, Акантов, но Чукарин перебил его. Он дико зарычал:

— До-о-очь!.. У меня нет дочери!.. — Чукарин обеими руками схватил Акантова за руки. — Курва мне не дочь!.. Проститутка мне не дочь!..

— Ну, полноте, Авдей Гаврилович... Зачем так говорить?.. Варя честная девушка... мне говорили, она замуж выходит...

— За хрянцуза, — с лютым презрением прохрипел Чукарин. — За хрянцуза!..

— Чем она виновата?.. Во Франции живет, во французском пансиона воспитывалась... Полюбила француза... Против сердца не устоишь...

— Чем виноватая, говорите, ваше превосходительство... А што она меня, отца своего, спросила о чем?.. Пришла, сказала: «благословите, мол, батюшка, на законный брак»... Ничего такого промеж нас не было. Ничего она не спросила... Что она, в церкви венчаться будет?..

— Во Франции этого, Авдей Гаврилович, не требуется... Я слышал... Мне говорили, что в мэрии, как следует, будет заключен брачный союз...

— Говорили... Уже гутарят про нее, значит... Смеетесь, ваше превосходительство... В мэрии... брачный союз... Это что же?.. Как кобель с сучкой, округ тумбы обегут, почикут вместе на тумбу

— то и вся их *собачья свадьба!*. У людей, ваше превосходительство, это таинство... Таинство было, таинством и остаться должно... Я так, по глупому моему разумению казачьему, полагаю...

— С волками жить, по волчьи выть...

— Так ить мы не волки, ваше превосходительство, а донские казаки, и дочь моя кровная казачка... Они остановились на набережной. безшумно, под белесым пологом тумана, пронеслась темная река. На недалеком мосту тускло горели фонари, и сквозь туман не было видно их отражения в воде. Пронизывающая зимняя сырость шла от реки. Акантов продрог до костей. От этой холодной сырости, оттого, что главное, жестокое, было сказано, стал отходить Чукарин. Он уже не говорил больше Акантову «ты», как начал, было, сгоряча, когда все накипело в нем, и он оставил локоть Акантова.

— Простите, ваше превосходительство, — тихо сказал он, — ежели я что, по грубости своей, не так сказал... Я человек простой, не ученый, академиев никаких не кончал. Говорю то, что Бог на душу крепко, накрепко положил... Сам понимаю: не виноватая она... Это жизнь наша виноватая... Я, как увидел ее, как она на машине подъехала, как срам ейный увидел, зараз хотел идти и проклясть ее при всем честном народе. При Его Императорском Высочестве, при генералах, при портретах Царских, при всех проклясть! И не пошел я... Пошел за ею... Видел, как Мишка, подлец, шубку ейную снимал, пальто хрянцузское вешал, все снизу, с лестницы, видел, и понял... Не виновата она... Это вы, ваше превосходительство, это я виноватые... Это генерал Врангель виноватый, что не победил большаков, что Родины мы лишились, что не померли там все, защищая родные курени... А она, Варюшка, чем виноватая?.. Рази же не я радовался орденам ее, отличиям школьным?.. Первою шла... Со скубентками мериканскими вместе в общежитии жила... Я виноватый!.. Я! Я!! Я!!!

Медленными шагами, они шли обратно от реки... Шагах в двадцати от собрания, Чукарин остановился:

— Виноватые, конечно, большаки, коммунисты. И наш долг, ваше превосходительство, священный наш долг — бить их, где ни попало... Дочку себе я не верну... Все одно, она мне теперь не дочь... Так отомщу за нее, ваше превосходительство... Я знаю, что я исделаю. Я на кухне со станичником сидел. Молчали оба. Он — хуторец мой, годами много старше, а чинами не вышел: всего только приказный. Подошел он ко мне, бутылку выставил, вина стакан нацедил: «Выпьем», говорит, «Гаврилыч»... Я молчу «Что», говорит, «али не пьется?». «Не пьется»... Понял он меня, ваше превосходительство, насквозь меня понял. «Ничего», говорит, «Гаврилыч, ты не жалкуйся... Все мы потеряли... Хутора, курени наши пооставляли, Тихий Дон спокинули. Матерей, жен бросили... Большакам, мужикам на разгром Дон сдали... Так, что, уж тут, снявши голову, по волосам-то плакать»... Сказал, выпил стакан вина, как припечатал, и говорит: «Не пьешь?..». Я молчу, а в самом нутре-то, самом, в сердце-то, так и гвоздит, так молотом кузнечным отбивает. Отомстить, за все, за все!.. За Варюшку за свое чужеземное, разбитое счастье, за Тихий Дон, за курень свой разоренный, — большакам отомстить!..

Они дошли до крыльца дома и опять повернули обратно, к реке. Шли медленно и молча.

— Ить к ним не проберешься? — чуть слышно спросил Чукарин.

— Трудно, Авдей Гаврилыч, узнают вас.

— Гутарили... И в газетинах тоже писали... Проволокой земля наша опутана. Посты везде с собаками сторожевыми; на сорок верст, писали, луга пожжены, как выбрита земля... Вот она, какая положение... И точно, что не пройти, не пролазить...

— Не пройдет, Авдей Гаврилович. Опять стояли молча над рекой.

— Читал я в газетах, ваше превосходительство, — тихо, потаённо заговорил Чукарин. — Большаки по всему свету войну ведут. И здесь, подле Франции, в Испании — те же большаки. Наши офицеры, которые похрабрее, посурьезнее, порешиместее туда подались бить большаков...

— Да, там тоже война, — сказал Акантов. Замолчал Чукарин, стоял в тихом раздумье. Холодная дрожь пробивала Акантова.

— Пойдем, ваше превосходительство. Не застудились бы вы без пальта-то вышедши?..

И, когда подходили к дому, решительно сказал Чукарин:

— Мне, ваше превосходительство, теперь все одно не жить. Антиреса к жизни нет никакого. Для нее жил, для кровинушки своей, растил казачку Донскую, чтобы казаку Донскому отдать. Мишкой Безхлебновым брезговал... Покарал Господь... Так я там большакам за все отолью...

— Где? — тихо спросил Акантов.

— У Франки... У генерала... Я сумею добраться до его... А там... По казачьи расправлюсь... Полным рублем заплачу... Всем бы нам... Давно бы так... нигде большакам пощады не давать...

Чукарин открыл дверь дома и пропустил вперед Акантова.

XVIII

За это время, что Акантов с Чукариным бродили взад и вперед по тихой приречной улице, многое изменилось в собрании. Линия автомобилей поредела. Исчезла роскошная карета «Испано-Сьюза», в которой приехала Варя. В самом собрании казалось теперь пусто. Почетные гости, Великий Князь, французы, кое-кто из руководителей эмиграции, Плевицкая с мужем, Дуся Королева, музыканты джаз-банда уехали. В залу внесли длинный стол. Большую и одну из боковых люстр погасили, и, после яркого света, бывшего во время бала, в зале казалось темно. Зато стало и уютно. На столе стояли тарелки с остатками бутербродов открытого буфета, блюдечки с жженым миндалем в крупной соли и бокалы с вином.

Генерал с седыми усами сидел в голове стола, подле него сгруппировались Атаренко, Гвоздиков и еще человек пять старых, седых, в потертых пиджаках, генералов. За ними, к другому краю стола, уселась молодежь. Кто в смокингах, кто в пиджаках, кто и просто в рубашках, как служил во время бала, так и остался, и сел вместе за общую дружескую беседу, где сидели генералы и полковники, юнкера и бывшие кадеты, — молодежь, не видавшая гражданской войны. Всех их сравнило изгнание, одинаковость тяжелого, непривычного, физического труда, все жили одною мыслью, одним устремлением: вернуться и спасти Россию. С ними сидели их жены и дочери... Жена Николая Семеновича, золотоволосая блондинка, ее дочь-девочка, Судакова, Февралевы, и с ними была Лиза.

Генерал Тимофеев, жизнерадостный старик с рыжеватой в седилах бородой, стоял у буфета и с Николаем Семеновичем разливал по бокалам шампанское. Миша Безхлебнов, с серебряным подносом, принимал бокалы. Он понес седоусому генералу. Тимофеев дребезжащим тенором запел:

Просим младшего корнета...

Мгновенно, без дирижера образовавшейся хор, женщин и мужчин, подхватил:

Поднести бокал вина...

Хороша традиция эта...

Пей до дна!..

Генерал с гусарскими усами встал и нерешительно принял бокал:

— Кажется, я должен выпить это, — сказал он, лукаво поднимая густую седую бровь.

Еще воодушевленное и дружнее, грянул хор:

Пей до дна!.. Пей до дна!..

Пей!., пей!., пей!..

Генерал осушил бокал, широким жестом поблагодарил всех, и сел, указав стоявшему у двери Акантову чтобы тот сел подле него.

— Спасибо... Спасибо, господа, — сказал он. — Все это мелочи, господа... Иному, штатскому человеку, это — «младшему корнету поднести бокал вина» — покажется глупыми и пошлыми мелочами... Традиции-то эти... Песни наши хоровые... Чины наши... Корнет, поручик... Скажут, напишут... Продёрнут... Пьянствуют, господа... По пивнушкам Россию спасают... Банкетами занимаются. Чашка чая... Смешно кажется все это... Так надо знать, и вы, молодежь, послушайте, что такое была Русская армия... Сколько племен, сколько народов в нее входило, сколько служило с нами тех, кто недавно еще был кровными нашими врагами. Немцы, поляки служили в ней, и как служили!.. Как дай Бог Русским служить так... А сколько горцев Кавказа, татарских, черкесских, грузинских князей, ханов, беков было в ней!.. А в солдатских рядах — какое смешение языков и народов. И строй, муштра, дисциплина, и, вместе с ними, вот эта, такая вот песня в офицерском собрании, где с песельниками-солдатами вместе пели господа офицеры, где генералы братались, пили на «ты» с молодыми корнетами, беседы на биваке у костра, соединяли наши души в святое полковое товарищество. И каких, каких только песен не пела наша армия! Каждый полк имел свою историческую боевую песню... С нею и в бой шел... Были песни Кавказские, Туркестанские, Сибирские, в песне вылилась и отразилась вся наша военная история, это — путь славы,

запечатленный великим народом-артистом... В песнях этих, в лихом, пьяном, — да, господа, что греха таить, часто и пьяном, — загуле мы сливались с народами чужеземными, мы принимали их обычаи, им давали свою великую Русскую душу... Азиатские народы внесли в наши грубоватые Русские нравы восточную цветистость речи и деликатность манер... Бывало, обведешь глазами собравшихся гостей, увидишь друзей, — генерал подмигнул Акантову — и скажешь: «Аллаверды... Стрелки!»... От стола дружно ответили:

— Якши йоль!..

— Хорошо, господа молодежь!.. А вытравили эти обычаи, сменили вольную Русскую песню на воспевание коминтерна, на величание «великого, любимого вождя народов, товарища Сталина», заменили Русский гимн интернационалом, и, вместо храброго Русского войска, стало стадо... Отлетела душа армии, осталось одно грязное, невытое, трусливое, похотливое тело... И былой лихой военный кутеж сменился пьянкой, безобразной пьянкой красноармейца-раба, затравленного политическими комиссарами... с доносами... убийствами из-за угла... с кровью...

В зале стало тихо. Углы тонули в тени, и в них поблескивала парча знамен и серебро труб и копий...

— Еще, господа, — продолжал генерал, — смягчала нас цыганщина. Чисто Русское явление... Когда доходила молодая тоска до предела, когда от любви ли неразделенной, от обиды ли горькой, от тоски ли по дому, по семье, — ведь, не легка была казарменная обстановка, — доходила молодая душа до точки, когда хотелось ей пожаловаться, попечаловаться кому-нибудь и пьяными слезами залить горе-тоску, ехали к цыганам, а там такие песни!.. Ну-ка, Миша, угости нас гитарой...

Миша, стоявший у буфета и внимательно слушавший генерала, вытянулся, покраснел, улыбнулся, выбежал из зала, и сейчас же вернулся обратно. Гитара позванивала струнами в его руках...

Лиза смотрела, слушала, воспринимала все это, такое для нее новое. Чуть напоминало это и то, что бывало у барона фон Альвенберга, когда там собиралась молодежь. Но тут было углубленнее и сердечнее. Лиза должна была сознаться: в глубине ее души, как эти струны гитары, дрогнули какие-то нервы, что-то колыхнулось в ней новое, незнакомое, и, вместе с тем, будто родное... Там, внутри, разгорался незнаемый ею огонь... Лиза гасила этот огонь. Не давала ему разгораться. Это была бы измена ее собственному прошлому, измена Курту... Курт может не любить ее; она ему не изменит...

Гитара звенела в руках Миши. Дала аккорд, другой, третий, заиграла, запела, и к ней примкнул молодым, сильным, красивым баритоном Миша:

Расскажи и спой ты мне,

Подруга семиструнная,

Вся душа — полна тобой,

А ночь!.. Такая лунная!..

Эх раз! Еще раз!..

Еще много, много раз...

Все бывшие в зале, и мужчины и женщины, дружно и красиво подхватили:

Эх, раз!.. Что там — раз?..

Еще много, много раз!..

Все знали эту песню, все певали ее при разных обстоятельствах. Пели в тоске и темноте корабельного трюма, когда ехали в страшное и темное неизвестное, пели в палатках, среди голых камней и песков Галлиполи, пели и здесь, в Париже, в холодных мансардах рабочего квартала.

Лиза слушала, ловила слова и мотив, и все сильнее и сильнее боролась с собою, с тем новым чувством, что охватывало ее здесь. Миша продолжал:

Две гитары за стеной

Жалобно запели...

XIX

Когда Акантов, Лиза и Февралевы садились в автомобиль, через открытые двери собрания неслась стройная хоровая песня. Лиза разбирала ее героические слова:

Полков родных былую славу

С собой на Дон мы принесли,

И в их страницы боевые
Венки терновые вплели...
В автомобиле молчали. Устали от бала и впечатлений. Февралевы и Лиза выпили лишнее. Акантова, весь день проработавшего на заводе, клонило ко сну. Николай Семенович не особенно уверенно правил машиной. Он отвез Февралевых (...) и поехал с Акантовыми в Бнианкур.
Когда отец и дочь остались на своей квартире одни, Лиза, блестя глазами, сказала:
— Папа, ты видал Варю Чукарину?
— Какая прелесть!..
С Акантова и сон слетел.
— Да что ты?.. Какой удар нанесла она отцу... Подумай: волосы остригла...
— К ней это так идет. Она совсем мальчишка стала... Какая при том прическа!.. А платье?.. Модная картинка!..
— Голая спина, Лиза... Стыдно было на нее смотреть...
— Но какая спина, папа!.. Какая Варя красавица... Настоящая француженка... Парижанка... Я поняла ее всю вчера...
— Она, Лиза, казачка... Донская казачка...
— Что ты хочешь сказать этим, папа? Ведь, она воспитывалась и выросла в Париже. Мне говорили, что она и замуж выходит за того француза, с которым она была... И выходит по любви... Как это прекрасно...
— Если бы ты знала, Лиза, до какого отчаяния это довело бедного Авдея Гавриловича... Она убила отца... И я не знаю, чем это все кончится...
— Папа... — сказала Лиза, и замолчала.
— Ну, что?..
— Папа, — голос Лизы стал скучным, она завяла, точно вся усталость ночи вдруг свалила ее. — Трудно тебе все это объяснить... Но... Неужели ты сам того не понимаешь?..
— Я не понимаю, Лиза... Авдей Гаврилович ее отец... Он ничего для нее не жалел, он жил только ею, он все отдавал ей...
— Папа, — тихо и настойчиво сказала Лиза, — но каждый хочет жить по своему...
— Мне помнится, я тебе говорил: не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит...
— Я помню, папа, ты учил меня Русским пословицам, и ты мне сказал тоже: всяк своему счастью кузнец... Но... После, папа... Это очень длинный серьезный разговор, а ты и я устала... Когда-нибудь, после, я тебе скажу, что думаем мы, молодежь, и не пословицами скажу, а по настоящему... после, папа... Покойной ночи, папа...
Какая-то тень покрыла лицо Лизы. Глаза ее потухли и прикрылись длинными ресницами, лицо стало грустным и усталым... Пахнувшими вином устами Лиза небрежно поцеловала отца в щеку и тщательно затворила за собою дверь.

XX

Шестнадцать лет работы у заводского станка, — как тяжелый, сплошной кошмарный сон. Вычеркнуты эти годы из жизни. Акан-тов не замечал, как весну сменяло лето, как наступала осень, и шла за нею, в туманах, дождевых брызгах и холодных, простудных ветрах, гнилая Парижская зима. Она несла с собою гриппы, лихорадки, воспаления легких, чахотку Русской молодежи и смерть. Исподволь, сверху и снизу вымирала Русская эмиграция, годы проносились, незримые, неосязаемые, как бледная, сырая тень...
В утреннем тумане и мгlistой сырости, отправляясь на завод, видел Акантов, как на набережной каштаны покрывались большими шишкастыми зелеными почками, как разворачивались из них бледные, полупрозрачные узорные листья, как вдруг покрывались аллеи бульваров и маленькие пригородные скверы густою тенью и наступала жара...
Иногда, переходя по мосту, Акантов остановится. В утреннем солнце золотыми блестками покрыта мутно-зеленая Сена и задумчиво нависли над нею высокие, нарядные, плакучие ивы. Акантов на мгновение задумается. Какая красота!.. Он вспомнит что-то другое, мучительно дорогое, и поспешит на нудный заводский гудок. Он боится опоздать... Так жгуча бывает обида, когда контромэтр «на ты» сделает замечание...

Раб!..

И вдруг задуют резкие западные ветры с океана, понесут тяжелые тучи, закроют на половину Эйфелеву башню и польет холодный дождь, зазвенит по длинным лужам вдоль тротуаров и покроет их серебряными пузырями... осень... Которая уж осень в Париже, на заводе!.. Нога скользит по опавшему мокрому листу, валяются темные каштаны, выскочившие из зеленых ежей увядшей скорлупы. Короче становятся дни. Переставили часы, чтобы обманом продлить свет, — и, вот, уже стали голыми деревья, темную кисею ветвей накинули на бурлящую на ветру свинцовую Сену... Нижние набережные, приволье рыбаков удильщиков, залиты водою, крутится снег в воздухе, падает на черный гудрон мостовых. На день, на два белым заячьим мехом оденется Париж... И опять солнечные дни, голубое небо, южное тепло, на улицах продают букеты лиловых фиалок, и золотой дождь мимоз падает из корзин цветочниц...

Почти не замечал Акантов этой смены красот природы. Вечно перед глазами стучал станок, стальное лекало било по медному листу, крутилось колесо токарного станка, шумела, стучала, по змеиному шипела, шелестела, на разные лады пела мастерская, что-то падало в ней с металлическим грохотом через равные промежутки времени... Прикатывали вагонетки, забирали сработанные «детали», стружка летела в лицо, царапала руки, пропитанные маслом, и так до гудка... Пора шабашить... Время на обед...

И когда — в летнем ли сумраке, в розовых отсветах солнца на домах, или в ярком блистании оконных стекол, или зимою, в темноте и непогоде, когда вдали алым заревом огней реклам, как кровавым куполом, накрыт Париж, возвращался Акантов домой, — бездумна была его голова, все стареющее тело ныло от усталости, распухшие ноги с трудом несли худое тело, и была лишь одна мысль, одно желание: протянуть ноги и забыться в тихом сне...

Зарплата не было. Все, что мог, посылал Лизе, чтобы побаловать ее в чужом городе, чтобы оплатить уроки Русского языка, чтобы напомнить ей об отце...

Цены все росли... Каждое «завоевание» рабочих вызывало повышение цен, и приходилось сокращать расходы. Чай пил дома с одним куском сахара на стакан, обедал в дешевой Русской столовой, ту же затягивал ремень блузы, — жил мечтами: приедет дочь, согреет, накормит, побалуует старика-отца. Тогда он отогреется и отдохнет...

Дочь приехала... Неожиданно красивая, чуткая, умная, изящная и... совсем чужая. У нее свои думы, свои намерения, свои планы, — своя жизнь...

Едет в Америку...

Всею душою возмущался Акантов против этого плана: ехать с Февралевыми искать счастья в Нью-Йорке... К кому она едет?... Кто такие Брухманы? Уж не жида ли они?

Акантов сказал о своих заботах Наталье Петровне.

— Что-ж, генерал, — ответила, дымя папиросой, Февралева, — по своему долгому опыту, скажу вам: лучшие заказчики — евреи. Лучшие плательщики — евреи... И евреи — не люди, что ли? Лишь бы эти Брухманы платили хорошо... И что мы можем поделаться? Нас здесь душат... Salles entrangers (* - Грязные иностранцы)... Не дают нам даже права на работу... Это же, ведь, издевательство!.. Видите сами, сколько здесь безработных... Ну, и вас, скажем, завтра с завода рассчитают куда вы денетесь со взрослою, да еще такую красивою, дочерью?... Надо счастья искать: само оно не придет, не постучит к вам...

И Февралева рассказывала Акантову о баснословных богатствах, приобретенных Русскими в Америке, о карьерах, созданных в Новом Свете...

Акантов спрашивал Лизу... Та молчала... Поднимет красивые дуги бровей, во всю ширину откроет голубые глаза, и в них увидит Акантов такую страшную тоску, такое томление духа, что замолчит, перестанет допытывать Лизу...

Чужая Лиза... Надо ее учить, надо все рассказать ей про былую Россию.

По вечерам и по воскресным утрам, если Лиза оставалась дома, он пытался учить дочь. Он ей рассказывал, как жили они, — отцы... Какая была Россия, и что в ней было. Пространно и хорошо говорил о вере, Царе и Отечестве, о всем том, чем сильна, красива и горда была Россия, о том, чем и он сам жил все эти годы за границей, что, как священную ладанку, носил в сердце своем эти страшные годы изгнания...

Лиза слушает... Никогда не проронит ни одного слова. Не задаст вопроса по существу. Разве спросит значение какого-нибудь непонятного ей, чисто Русского слова.

Чувствует Акантов, что Лиза образованнее его, что она знает нечто, чего он не знает, и что молчит потому, что не хочет задеть и обидеть отца своим превосходством...

Стена выростала между отцом и дочерью. Акантов эту стену видел. Ему часто казалось, что он, во время этих бесед, видит, как чьи-то быстрые, быстрые руки кладут кирпич за кирпичом, смазывают известкой, пристукивают, прилаживают, промазывают лопаткой, и неудержимо, день за днем, вырастает эта стена между ними. Скрывает Лизу от него: скоро скроет ее совсем...

Америка...

При таких обстоятельствах, пожалуй, отъезд в Америку был неизбежным выходом.

Беженцы... Растение без корней, сухое перекасти-поле, пыльным комком носились они по свету, ища, где жить, где можно временно зацепиться, где есть для них заработок...

Нет жизни без отечества... нигде не было жизни... Везде была только борьба за жизнь...

XXI

Дождь, гонимый ветром, как заряды дроби, бил по стеклам большого окна Лизиной комнаты, нес холод и сырость в опустившую комнату, с убранными книгами, девичьими безделушками, мелочишками, с уложенными чемоданами.

Завтра, чуть свет, придет за Лизой Николай Семенович, заберет Лизины «манатки» и повезет на вокзал, ехать в Брест. Ночью Лиза будет уже в океане...

Лиза сидит у окна. Все готово, все уложено, — переночевать эту ночь — и одна, совсем одна, она пустится в неведомый жизненный путь... Отец вернулся. Он прошел за ширмой в уборную, отмывает заводскую грязь, приводит себя в порядок... Лиза готовит последний раз ужин и чай отцу.

В окно со снятой занавеской бьют холодные порывы ветра. Звенит по стеклам дождь, течет плоскими струями, и слышно, как вода льется с подоконника в лужу... Холодный, зимний день.

Что-то будет завтра в море?

Отец вошел в комнату Лизы и устало сел к столу.

— Папа, мне не хотелось бы, чтобы ложь... или умолчание... ведь, умолчание, это — тоже ложь, особый вид лжи... остались между нами, — тихим, ласковым голосом сказала Лиза. — Позволь мне сказать тебе правду... Может быть, эта правда покажется тебе тяжелой, — прости меня тогда... Но лучше, если ты будешь знать. Это лучше лжи... Пускания пыли в глаза... Я говорю о себе, и, если я скажу молодежь... Это только я... Я одна. Я не смею говорить о других Русских молодых девушках и юношах... Возможно, что они другие, но я — такая...

Акантову показалось, что в комнату страшною тенью вошла тишина. За окном бушевала непогода. Непроглядная ночь стояла там. Чуть обозначались кое-где резкими светлыми точками фонари предместья, да вспыхивали сигнальные огни на электрической дороге.

Скромный ужин был кончен. Чай допит в молчаливом ожидании, что скажет дальше Лиза. Томная надвинулась ночь. В тишине комнаты тревожней отбивал время будильник...

— Говори, детка, я слушаю...

— Папа... Эти полгода, что мы прожили с тобой под одной крышей, я много слушала тебя, и много перечитала старых и новых романов...

— Романов, — с досадой сказал Акантов.

— Я знаю, папа, ты не любишь романы...

— Не только не люблю и никогда не читаю их, но я глубоко презираю и самих людей, которые занимаются таким пустым делом, как писание романов... В такое-то время!..

— Но романы, папа, мне многое показали. Они мне показали жизнь прошлого. Папа... И раньше были — отцы и дети... Но между тогдашними отцами и детьми лежали двадцать, тридцать лет спокойно текущей жизни. Теперь между нами точно столетия прошли. У вас была одна жизнь, у нас — совсем другая. У вас одни понятия, у нас другие... Это, как река текла, текла медленно, тихо, где-то по высокому, прекрасному плоскогорью, по равнине, по альпийским лугам, цветами покрытым, и вдруг, подошла к обрыву, низверглась водопадом, промчалась между скал, обрушила их, и, вот, несется совсем в другом краю, в узкой долине. Кругом леса, тесно сдвинулись отроги гор. Поглядишь, и не скажешь, что это та же самая речка, что сонно текла по высокому плоскогорью. Мы, молодежь, как та река, не похожи на вас...

Лиза хорошо говорила. Опыт чтения докладов в университете ей дал много. То, что хотела сказать она, было ею выношено долгими днями раздумья и бессонными ночами. Она продолжала, опустив голову, будто читая по записке.

— У вас была семья, у вас был дом, была любовь, был брак, были дети, был любимый, не проклинаемый труд. Но, главное, у вас было Отечество! Россия, — и вам в нем хорошо жилось... Папа, — Лиза, не поднимая головы чуть заметно усмехнулась, — все твои беседы вертелись около одного: «Вера, Царь и Отечество». Это была ось всей твоей жизни, и ты хотел эту ось передать в меня, и сделал так, чтобы и мне эти три имени стали так же священны, как были священны тебе, чтобы они мне заменили все...

— Как же иначе?.. Иначе-то как же?..

— Вера... Я знаю... Я чувствую, что Бог есть. Хотя наука говорит другое... Мне даже вдруг покажется, что Кто-то подле меня, направляет мною, удерживает меня... Мне тогда страшно и хорошо... Но потом подумаю, и станет стыдно... Чего это я?..

— Это и есть вера...

— Не знаю, папа... Нет... От этого ощущения только до веры, до православной веры, очень далеко... Я знаю, что Я крещена... Я православное имя имею — Елизавета... Но я никогда не учила катехизиса, я не ходила в церковь... Я видела, как легко тетя Маша, в угоду дяде Отто, оторвалась от веры... Где же мне было учиться катехизису?.. Я была в немецкой школе... Еще в той, до Хитлеровской, школе... Воспитание моей души было чисто материалистическое. Я никогда не учила славянского языка, и не понимаю ни Богослужения, ни обрядов, и мне церковь ничего не дает... Я отошла от веры...

— Ты не от веры отошла, а от церкви... Будет время, ты вернешься к ней, она найдет тебя...

— Нет, папа. У меня нет веры в возмездие за грехи, а, следовательно, нет страха греха. Нет веры в будущую жизнь. Меня иссушила наука...

— Бедная ты моя девочка!..

— Еще... слушай, папа. Ты говорил — Царь. Я Царя никогда не видала. Я не знала Царя. *Меня учили*(* вот оно, заглавие народа), что народ ненавидел Царя, что Цари были тираны, эволюция была неизбежна, и Царя нужно было убить, потому что иначе все пошло бы по старому, а старое было безнадежно плохо. Ты говорил — Царь... Царя нет... Я видала Хитлера, и я боготворю Хитлера. Я часто слышала, как Русские говорили: «если бы Бог послал нам нашего, Русского Хитлера»... Не Царя, но Хитлера. Для меня Царь — понятие абстрактное, не существующее, как миф о героях древности, как легенда... Если хочешь, — как страшная сказка. История какого-то темного времени. Меня одиннадцать лет учили, что свет это — демократия, народоправство, и пять лет учили, что спасение и мощь государства — в национал-социализме. Про Царя только ты мне говорил после того, как я сюда приехала. Я читаю книги...

— *Романы!*..

— Да... Романы. И в них, в одних проклинают и издеваются над Царями, в других благоговейно, напыщенно, слащаво пишут... Где свет, где тьма?.. Где, наконец, правда?.. Я знаю только одно, что для меня Царя нет, осязать его я не могу. Таких королей, Царей, какие были, в настоящее время не существует... И, наконец, самое главное, чем я живу, что я понимаю, и что меня ободряет, это — *Vaterland*, — по-немецки сказала Лиза. — Земля отцов. Это значит: твоя земля, где родился ты, где родился твой отец, мой дед и так далее; это должна быть — Россия...

— Ну, да, Россия! — поднимая глаза на дочь, громко и торжественно сказал Акантов.

— *России нет*, — чуть слышно сказала Лиза.

— Как, нет России? — воскликнул Акантов, и, в глубоком волнении, вскочил с Лизиного кресла. Лиза осталась сидеть на своем низеньком сомье, облокотившись на колени, положив голову на ладони.

— Есть Эссэсэр: союз советских социалистических республик. Это есть — факт... И туда ни мне, ни тебе нельзя поехать...

— Вздор болтаешь, — негромко, сердито буркнул Акантов.

— Так меня учили. — Лиза помолчала, и потом добавила с громадной печалью. — Я ощутила и осознала это тогда, две недели тому назад, когда ты повез меня на бал в собрание... Когда решалась моя судьба — ехать мне в Америку искать там счастья... Играли Великому Князю встречный марш... Граммофон играл... Висели старые картины, портреты, знамена, ружья стояли в

углу, серебро в шкафах... Музей... Но... *Музей, это — мертвое*, это бывшее, прошедшее, конченное, это не жизнь, это останки жизни, это могила!.. Там я ощутила нечто такое прекрасное, возвышенное. Точно там витали какие-то тени, сквозили между нами. Я слышала что-то величественное, трогательное, умильное. Я поняла: это и была — Россия. Мое отечество... Страна моих отцов. Но все это было, как ожившие на экране кинематографа тени... Только тени... И... с болезненной, жуткой жалостью, я поняла, что России, моего отечества — нет... Она была...

— О-о-ооо!.. Лиза!.. Лиза!.. Замолчи, не говори!.. — Акантов со стоном бросился в кресло, и тихо, как ребенок, заплакал... Лиза мягко опустилась на пол подле отца, положила голову ему на колени и обняла его:

— Не плачь, папа... Слезами не поможешь... Будь мужествен, как я. Я смотрю спокойно. Что же делать? У меня нет отечества, но у меня все-таки есть Родина!.. Heimat!.. И я горячо люблю свою Родину...

— Ты родилась в Нижнем Новгороде, на Волге, при слиянии ее с Окою...

— Ты мне говорил это, папа. Но Нижнего Новгорода нет, есть Горький... Я не помню Нижнего Новгорода, и я не хочу знать никакого Горького...

— Волга... Ока... Они остались... Русские остались там... Язык, обычаи, уклад жизни... быт...

— И они, эти Русские, меня туда не пускают. Я их не помню, не знаю, и знать не хочу. Я гордая, папа... Меня прогнали... За что?.. Скажи, за что?.. За что?.. Я их не знаю и не помню. Вот мое самое раннее воспоминание, детское воспоминание. Берлин... Берлин!.. Леса Груневальда, голубой простор озер. Я как бы вижу белые треугольники парусов, застывшие в зеленом тумане летнего тихого вечера, на фоне холмов, покрытых лесом у Потсдама. Я слышу шорох сосновых лесов, — точно шум моря. Я помню зеленовато-серые волны холодного, сурового Северного моря... Я помню темные дворцы и соборы, с бледно-зелеными куполами, и широкую улицу между невысоких домов, «Под липами», и там — моя родина. Я люблю ее, и тянусь к ней...

— Лиза, — поднимая голову на Лизу и глядя в ее потемневшие, синие глаза, говорит Акантов, — скажи, Лиза? Ты полюбила?.. Ты любишь, Лиза?..

Ни одна черта не дрогнет на милом, печальном лиц Лизы. Она молчит. Суровая складка легла между пушистых бровей и не сходит со лба, не проясняет лица.

— Ты полюбила?.. Немца?!

В голосе Акантова — ужас.

Медленно опускаются загнутые кверху длинные, детские ресницы и скрывают свет глаз. Лиза вынимает голову из рук отца и кладет ее опять на свои ладони, опирается локтями о колени. Как капризный ребенок, она говорит:

— А там, папа... С таким же ужасом, с таким же негодованием, скажут... Скажут — любимому: «Ты полюбил... Русскую... Беженку!..». Это и ужасно, папа, что у нас и Родины нет... Мы — Heimatlos!.. Стоит долгое молчание. Тишина в крошечной квартире, как живая. Суетливый будильник своим тиканием лишь усиливает настороженную тишину, подгоняет печальные, тяжелые, безотрадные мысли. За окном воет буря... Она качает голыми ветвями деревьев сада, стучит железкой у крыши, пригоршнями сыплет крупными каплями холодного, зимнего дождя, гудит по просторам окраины, поет страшную песнь одиночества...

— При таких условиях, папа... Что же?.. Берлин... Париж... Нью-Йорк, — не все ли равно, где работать?.. У нас жизни нет... Есть только работа... А у меня, папа...

Голос Лизы обрывается. Акантову кажется, что Лиза плачет. Но она не плачет. Она поднимает голову, смотрит в глаза отцу.

Ее глаза сухи и страшны. Лиза встает, поворачивается спиной к отцу, прижимается лбом к холодным стеклам окна. Акантову видна вся ее стройная фигура. Она, как тень. Плоско легли вдоль прямого тела опущенные беспомощно руки. Спина неподвижна, все — будто нарисовано на фоне окна... Безжизненна фигура Лизы. Чуть слышен ее подавленный шепот:

— У меня, папа... Ничего... Ни-че-го... Ни-че-го...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Уу-уух!.., — и еще раз и еще раз, — три раза, на басовом ключе, глухой и громкий, рвущий уши, пароходный гудок. Такой мрачный и грустный в тумане зимнего дня, он тяжело отзывается в сердце Лизы.

Кругом идут прощания. Еврейка, с чемоданом в одной руке, рукавом другой утирает глаза, и плачет громко, по-детски. Еврей машет ей с набережной платком и что-то кричит. Рядом с Лизой, у борта, толстые американки, точно набитые европейскими впечатлениями, как собаки, дружно лают, шипят и щелкают на грубом английском языке. С берега их пытаются, несмотря на серый день, снять на фотографию такие же толстые, нелепо одетые, американки. Свежий морской ветер рвет слова, сносит вниз пар лебедек, трещащих у трюма, наносит тошный запах керосиновой гари и горячего масла, от которого Лизу начинает мутить.

Пронесли последние чемоданы. Провожающие сходят с парохода. Матросы стали подле трапа, готовясь отдернуть его. И опять этот ужасный, мрачный, точно похоронный гудок:

- У-У-УУУхх!!.

Пар с шумом вылетает подле высокой пароходной трубы. Гремит, стучит железными колесами тяжелый трап. С грохотом задвинулся борт. Над Лизой, на капитанском мостике, отзванивает машинный телеграф, глухо кричит помощник капитана в синей, морской, расшитой золотом фуражке Набережная с толпой отходит от Лизы. Под нею кипит вспененная грязная вода, и словно тюлем покрывается белым узором пены. В ней плавают банановые корки, бумага, стружки, всякая дрянь...

Берег отходит, уплывает, сливается в общую пеструю линию, берег исчезает в тумане. Впереди темное море. По нему то и дело вспыхивают белыми гребешками идущие навстречу дружные ряды, волн, над ними низко нависло темно-серое небо...

В надвигающихся сумерках бледно-желтыми точками загораются береговые маяки, а берега уже не видно, он скрылся за косыми полосами налетевшего дождя.

О!.. Как бесконечно одинокой чувствовала себя в эти минуты Лиза! Маленькой, ничтожной, не нужной никому, казалась она себе: без Отечества, без Родины...

Февралевы, как только ощутили запах керосиновой гари и масла, запах парохода, почувствовали себя нехорошо и спустились в каюту.

Жутко на душе у Лизы. Было мгновение, когда еще был виден берег: прыгнуть за борт и плыть по волнам, обратно на берег, в Европу... Домой... Но... Змеиный, страшный, ядовитый шепот зашептал в самой глубине ее сердца: «А где у тебя дом? Не всё ли равно?»...

Пароход небольшой. На нем всего сто семьдесят пассажиров.

Зазвонили к обеду. В ярко освещенной, чистой, блестящей кают-компании музыканты играли бравурный марш. Качало, но «скрипки» не были положены. Февралевы не вышли к обеду. Против Лизы сидели старые американки и молодые американские студенты; один из них явился в , рубашке без рукавов, в подтяжках, постоял, покачиваясь и пересмеиваясь с молодыми студентками, и пошел приодеться.

Кругом Лизы молодой смех, крики, веселый говор, свободное, непринужденное обращение: едут домой, к себе, на Родину!.. На Лизу повеяло простором и обширностью Америки. Через нее кричали на другую сторону стола:

— О, мне еще четыре дня по железной дороге...

— Вы разве из Фриско?..

— Качайте дальше.

— Я на ферму автомобилем поеду: суток пять пути... Совсем на юге...

— Вы из Чикаго?..

— Почему вы узнали?..

— Поговору вашему.

Лакеи, ловко балансируя по колеблющейся палубе, безшумно разносили блюда. Восемь перемен было, и все для Лизы такое соблазнительное и вкусное, но Лиза только отмахивалась. Снизу от желудка поднималась какая-то муть, тяжелой становилась голова и Лиза думала только о том, чтобы досидеть до конца обеда, не подав вида, что ей дурно.

Океан покорила Лизу.

Утро... Ни тумана, ни туч... Все сияет и горит кругом в солнечном блеске. Фиолетовые волны идут, в стройном порядке, спокойные, ровные, невысокие. Редко, редко, тут, там вспыхнет на них белый гребень, и побежит, сверкая, вдоль волны, с тихим шипением догоняя пароход.

Наталья Петровна и Татуша лежат на палубе в соломенных креслах. У них бледные лица и утомленный, томный вид. Они отходят от морской болезни.

Зима, а как тепло!.. Лиза стоит у борта. Она слушает песню океана. И кажется ей, что начинает она улавливать его мелодию и постигает в гимне Океана Того Неведомого, Кого отрицали ее учителя и о Ком говорил ей отец. Разве можно было бы быть без Его помощи здесь, затерянной в безконечном просторе морского пути?..

Четверо суток бежит пароход, и будет бежать еще шесть суток, и все будет то же море, та же вода, та же игра красок, та же безпредельность и то же одиночество... Станет жутко... Нет возврата...

В этот день все встали раньше обыкновенного. Шесть часов утра, а уже пассажиры на ногах, толпятся на верхней палубе.

Все было, или казалось Лизе, необыкновенным. Перед нею — бледно-розовое небо. Туманная сизая дымка, как налет на розовой сливе прикрывает показавшуюся на горизонте землю. В этом тумане начали выявляться, обрисовываться, сначала неясными, неопределенными очертаниями, потом все яснее и яснее, прозрачными розовато-синими силуэтами дома-небоскребы Манхаттана. Нью-Йорк показался вдали.

Узкие башни были словно тонкие иглы. На одной, на самом верху, что-то блистает нестерпимым блеском на солнце. Другие башни более широкие, то с плоскими крышами, то с куполами.

Дома... дома... Блистание безчисленных окон, громада города, и от него наплывал, постепенно нарастая, шум — песня Нью-Йорка...

Она напредила Лизе симфонию Амфитеатрова: «Америка».

Все было красиво и необычайно, волнующе, все было совсем особенное, смелое по размаху, дерзновенное, ничем не сменяющееся, гордое — Американское...

Новый Свет!..

Февралевы подошли к Лизе.

Их движения медленны и ленивы. Они еще не совсем проснулись. Им все это кажется видением.

— Вавилон какой-то, — сонным голосом, в нос, говорит Наталья Петровна.

— Стиль другой, мама, — отвечает Татуша. — Я видела Вавилон на картинках. Там камень черный и дома замысловатее... Тут точно коробки.

— И как им не страшно жить. Вавилонские башни, вот-вот попадают...

— А как красиво, — тихо говорит Лиза. — Точно видение. Будто снится все это...

— Красиво... Не нахожу. Мне страшно. Что, если повалятся все эти башни-то, — говорит, зевая, Наталья Петровна.

Машина на пароходе перестала работать. безшумно неся пароход, и казалось, что он стоит на месте, а берег надвигается на него. Глухо и уныло как тогда, при отплытии, загудел, сотрясая воздух, гудок:

— У-у-ууух!.. У-у-ууух!..

Обдало горячим паром, пахнуло машиной.

Тяжелая тоска налегла на душу Лизы. Так много напомнил ей этот гудок!»!

Слышнее стала музыка города. Длинно и протяжно, точно зовя в неведомую даль, выла заводская сирена, стали слышны гудки автомобилей, бег колес, грохот кидаемых тяжестей, лязг железа, быть может, говор неумолкаемый, говор еще невидимой миллионной толпы. Какие-то колокола звонили.

Из-за статуи Свободы быстро неслась навстречу пароходу моторная лодка. Белый след длинным шлейфом змеился за нею по заголубевшей воде. В лодке стояли люди. Они кричали что-то на пароход, и им с мостика отвечали:

— Ау... ав... ав... — слышалось в свежем, утреннем воздухе. Точно собачьим лаем, встречала Лизу новая жизнь.

— Ау... ав... ав... ав... Непонятная, чужая, смелая жизнь... Лодка описала дугу, и понеслась обратно.

Пароход входил в широкую, как морской пролив, реку.

Ее берег, как острыми зубьями громадной пилы, был изрезан безчисленными молами пристаней, деревянными эстакадами с сараями, пакгаузами, унылыми не жилыми постройками таможен и

складов. Кое-где над ними, на свежем ветру, трепетали на флагштоках и мачтах американские флаги, с синими покрытыми звездами, квадратами в углах.

Пароходы-гиганты стояли вдоль пристаней. Черные громады их, с белыми и красными обводами, с огромными овальными трубами с желто-розовыми верхами, с белыми каютами, со шлюпками по бокам, были, как целые города.

«Беренгария», «Бремен», - читала Лиза. - «А вон и «Queen Mary», «Normandie» (* - Королева Мария), «Нормандия»).

Все знаменитости Атлантического океана стояли здесь.

Пестрые флаги играли, трепетали на кормах и на мачтах: немецкие, французские, итальянские, английские, шведские, аргентинские, парагвайские, какие угодно; не было только Русского флага...

Права была Лиза в своем жестоком приговоре: России не было. Не было у Лизы Отечества.

Но, когда безшумно проносился пароход мимо «Бремена», и увидела черную свастику на белом фоне на алом полотнище флага, — знак вечного движения, непрерывного прогресса, ощутила, как теплая волна залила ее сердце... Родина!..

Разнообразные запахи шли от города. Пахло каменноугольным дымом, горелой нефтью, смолой, вдруг пахнуло пряным ароматом ванили, апельсинами, смоляными канатами, терпким запахом пустых винных бочек, пригорелым маслом, грязной мыльной водой, тошным запахом городских стоков, помоями и сразу нежным запахом мимозы. Золотые кисти цветов привезенных с юга свисали с корзин на барже.

Матросы задраивали трюмные доски. Медленно шевелился на баке громадный паровой кран, готовясь вытаскивать товары. Пароход причалил к берегу.

Оглушая, прогудел гудок:

— У-у-у-ууух!..

II

Смятенная душа Лизы была полна тоски, сомнения, печали и тревоги. Кругом шла радостная суета. Пароходный оркестр вышел на палубу и играл веселый бравурный марш. От звуков его сердце Лизы разрывалось на части, и хотелось бежать куда-нибудь, чтобы не видеть суеты толпы, чтобы не слышать пошлых трубных звуков.

Шла проверка паспортов.

Чиновники не хотели пускать Февралевых на берег. Всех приезжих встречали. Кто-нибудь поручался за того, кто ходил. Февралевы остались одни, густой толпой хлынули с палубы и наполнили трап и набережную американки-туристки, студенты и студентки: они были свои, они приехали домой. Сошли немецкие евреи, встреченные местной еврейской организацией; им тут же, на пароходе, обещали места.

Помощник капитана хотел передать бумаги Февралевых этой же организации, чтобы она занялась ими, но в это время к пароходу подбежала толстая женщина и с нею короткий человек в длинной драповом пальто. Они издали махали платками и кричали:

— Февралефф!.. Акантофф!.. Russian lady (* - Русские дамы)!..

Они приняли Февралевых и Лизу, и чиновники пропустили их и направили в таможеню.

Встретившие Февралевых заговорили по-английски:

— Брухманы, — сказал короткий человек, наголо бритый, с седо-рыжими волосами. — Мы Брухманы...

— Брухманы, — подтвердила и дама в шляпке, сбитой на бок. — Нам писали из Парижа... Все для вас готово.

Оба Брухмана пытливо и внимательно острыми глазами осматривая Наталью Петровну и девушек, как евреи и цыгане осматривают на конной ярмарке лошадей. Их быстрые глаза обшарили лица, тела, костюмы, задержались на руках и ногах, и, казалось, оба остались довольны осмотром.

— Вот мы и за вами, — быстро, на грубом английско-еврейском жаргоне Бронксвилля, тараторила толстая Брухман. — Мы же обязаны помогать друг другу. Мельхиор, получи от дамочек квитанции. Мой муж, он отвезет ваш вещи, а я устрою вам праздник... Ну надо же вам, показать наш город... Надо угостить вас. Так вы же, наверно, еще и не завтракали...

У Лизы голова кружилась. Ей казалось, что каменные плиты мостовой качаются под нею, как пароходная палуба. Сразу обступивший шум и грохот города ее оглушил. Безвольно и

беспомощно, ни о чем не думая, шла она рядом с Татушей за Натальей Петровной и Брухман, и обрывками слушала, что непрерывно, не умолкая, кричала Брухман:

— Так это же Америка!.. Тут мы, как дома... И как хорошо, что вы решились ехать сюда... И вы, мадам, и барышни такие из себя красивенькие... Так это же — капитал!.. Ну, это не Голливуд какой-нибудь!.. Конечно... Но и тут женская красота, так, ведь, это же доллары!.. Это же золотые доллары...

Они подошли к станции подземной дороги.

— Ну, что там, Парижское метро? — кричала Брухман, — так тут наш субвей в несколько этажей... Очень глубоко...

Они опустились по подземной машине далеко вниз... Лиза задышалась от душного, ужасного, спертого воздуха, пропитанного испарениями толпы. Ей казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Сквозь гул в ушах, она слышала, как Брухман кричала ей в уши.

— Так это, мамзель, привыкнуть надо. Глотайте воздуха, вот и пройдет... Так это же самое быстрое сообщение. Раз-два и готово. Из Манхэттана в Бронксвилль или в Харлем... Мы пока еще не миллионеры какие-нибудь, чтобы иметь свои автомобили... Тут Америка, для всех удобно. Когда Лиза вышла из вагона, она чуть не хлопнулась на землю, так кружилась у нее голова. Она побежала к выходу, на свежий воздух. Брухман не унималась:

— Мы теперь пойдем немного в отель. Так это тоже надо знать, что это за отель. Это отель «Эдиссон»! Сто этажей; это же храм, это горная скала, а не постройка... У нас, в Америке, все так...

В отеле, когда тронулся лифт, Лизу так подбросило вверх, что она ухватилась за стенку. Кабинка неслась с такой быстротою, что у Лизы кровь отлила от головы и в виски стучало. Ей этот подъем показался ужасом. В ушах звенело, и снова делалось дурно...

Брухман снисходительно щурила желтые глаза на Лизу и говорила:

— Привыкнете понемногу, мамзель. Вы посмотрите на вашу подругу, Такая из себя сублильничка, современная линия, а как все это выносит, даже смеется. Это так хорошо, что вы обе и хорошенькие из себя, и разные, значит, каждая в своем роде и на всякий вкус...

Обалдевшая, растерянная, испуганная, недоумевающая вошла Лиза в большую, светлую, нарядную столовую отеля и села со всеми за стол. Брухман заказала коктейль.

— Какой коктейль прикажете? — спросил лакей.

— Old-Fashionned, — сказала Брухман. Она, видимо, знала толк и ресторанах, и в коктейлях.

— У нас, в Америке, — говорила Брухман на своем ужасном английском жаргоне, — всегда начинают, даже и утром, с коктейля. В нем главное, это — виски, ну потом немного коньяку, капелька мараскина; это, знаете, для аромата; кусочек апельсина, ананаса и вишня. К этому подают стакан ананасного сока. Это чтобы прояснить мозги...

Замысловатый коктейль и ароматный, сладкий прохладный ананасный сок освежили Лизу и привели ее в чувство. Голова перестала кружиться, и прекрасным показался ей громадный, во всю тарелку, бифштекс, кукуруза и бобы, великолепное яблочное пирожное, где было много душистых яблок и совсем мало нежного, тающего во рту, теста. Чашка кофе совершенно привела в себя Лизу.

Все, не переставая, говорила Брухман:

— У нас, в Америке, едят хорошо и недорого. Весь завтрак - один доллар. А это главное в жизни, чтобы хорошо есть... В жизни, еда, это — главное. Мы это любим... Теперь пойдемте, я повезу вас на верху автобуса, немножечко глотнуть воздуха, и покажу вам наш город.

Татуша села рядом с Лизой. Она толкнула Лизу под локоть и шепнула ей:

— Можно подумать, что эта старая жидовка и точно природная американка, что это она строила этот город и открывала и создавала Америку...

Точно по тесному, горному ущелью, куда не проникают лучи солнца, несся по Нью-Йоркским улицам автобус. Чтобы увидеть верхи домов, нужно было совсем запрокинуть голову.

Внизу кишмя кишели люди, неслись автомобили, грузовики, автобусы, не смолкая, раздавались крики продавцов газет, и шелест резиновых шин по черному гудрону не прекращался ни на мгновение. И было темно, как в закрытом пассаже.

Был легкий мороз и гололедица. Одетые в черное, люди спешили по скользким панелям, скользили, падали и снова бежали, все куда-то торопились. Недвижные в морозном воздухе, кое-где висели флаги.

Вдруг однообразную череду гигантов небоскребов прервет красивое невысокое здание. Точеный, полированный камень, шесть колонн Коринфского стиля поддерживают капитель с каменными барельефами. За колоннами — большие окна, каменные балконы у второго этажа, с точеными из камня балюстрадами, широкая резная дверь — смесь старого греческого и готического стилей. Что-то с претензией на красоту.

Что это?.. Храм?..

Автобус останавливается. Лиза читает надпись. Строгими, рельефными буквами между извилистых заставок начертано: «New-York Stock Exchange». Да, это — храм... Храм золотого тельца, храм золота, доллара, торговли, — американский современный храм.

Против него — громадная постройка нового стиля, точно высокая, jj многооконная каменная коробка: дом Моргана... Банк...

Это — Брод-стрит, Эксченц-плэс...

Деньги, деньги, деньги...

В холодном сумраке темной от высоких домов и узкой улицы, на каменном постаменте, — статуя первого президента республики.

Такою ли думал создать Америку Георг Вашингтон?

Автобус мчится дальше. То затирается быстро бегущими, как черные тараканы, автомобилями, то, вырвавшись на чистое, несется, тесно окруженный ими.

Двадцатипятиэтажное, без украшений, белое, как узкая папиросная коробка, поставленная на ребро, здание... — Первый национальный банк... А под ним, на маленькой площади, тесно, тесно стоят плиты старого кладбища. Без загородки, среди живой толпы, в центре города, в шуме и грохоте автомобилей, в вечной городской суете, остались лежать мертвые, — как немое напоминание о бренности людского богатства.

Эти контрасты поражали Лизу. Все было грандиозно, кое-где красиво, но безалаберно, безвкусно, бессистемно, и до жути волновало величие и дерзновение человеческого гения.

— Это все мы построили, — сквозь шум улицы, доносится до Лизы жаргонный голос госпожи Брухман. — Это же все наше. Наши деньги, наша сила, наши способности и умение...

Быстро догорал короткий зимний день. Обедали в Гарлеме, в негритянском квартале, а потом в каком-то баре пили кофе, сидя на высоких стульях у стойки. — Это же надо по-американски, — настаивала Брухман. И когда вышли — наступил вечер. Все преобразилось, и еще величественнее и своеобразно красивее стал город. Улицы были залиты ярким, бешеным электрическим светом. Ни в Берлине, ни в Париже Лиза не видела такого разлива света реклам, вывесок, поднимавшихся на громадную высоту, переливавшихся всеми цветами радуги, то погасавших, то снова загоравшихся, вертящихся, ходящих, точно плывущих в воздухе, над домами. Одни мигали, другие каждое мгновение меняли свой цвет и форму третьи ослепительно ровно горели, освещая вывески и картины реклам...

На Times-square, где еще больше было огней, где рядом, один к другому стояли кинематографы, маленькие театры, бары, рестораны, ночные кабачки, от реклам было светло, как днем. Аршинные буквы, саженные изображения кинематографических звезд, перемежались с надписями названий ресторанов.

— Это же, — поясняла Брухман, — самое веселое место Нью-Йорка. Тут и кинематографы, и танцующие, тут все... Хорошенькой барышне тут можно завести выгодное знакомство. Тут деньги льются, как вода.

Из дверей, через окна, отовсюду слышна была музыка. Играло «радио», в открытые двери было слышно, как били барабаны, раздавалась негритянская экзотическая песня, дышащая зноем ананасных плантаций. Сладкий тенор пел по-английски, пианино и скрипка ему аккомпанировали. Раньше тут много гавайских гитар звенело, — говорила Брухман, — прямо, как кошки мяукали. Теперь они из моды вышли.

По панелям шла густая толпа, не протолкаться через нее.

И над толпой, — и так казалось странным появление этой черной статуи в одеянии ксендза над праздной, веселящейся толпой, — стоял памятник какому-то проповеднику.

Брухман сказала, с презрительным смешком:

Этот католический пастор, на этом самом месте, читал свои проповеди. Он думал отвлечь людей от греха... Чудак!..

Усталые, ошалевшие от впечатлений дня, Февралевы и Лиза, наконец, добрались до комнаты, нанятой для них в том же доме, где помещалась мастерская Брухман.

— Ну, вот, мадам, мадмуазель, вы и у себя... Завтра еще не работаете. Вам надо осмотреться и устроиться. А послезавтра мы и начнем. По Парижским моделям... О, я вижу, что мы с вами здесь сделаем прекрасные дела... У меня на это опытный глаз и легкая рука...

III

Три широкие, - можно лежать и вдоль, и поперек, — постели. Шкаф в стене, три кресла, крошечный стол... вот и вся мебелировка. Затхлый запах пыли, жилья, лампа на потолке, наверху, заливают комнату ровным, неподвижным, мертвым светом и кладет на лица резкие, некрасивые тени...

— Уф, — говорит Татуша, и с размаху кидается на постель. — Наконец, мы у себя дома... Я так наелась и так хочу раздеться. И как тут все необычно... Тепло и, вместе с тем, как холодно!.. Лиза, как думаешь, есть у них культура?..

— Не знаю. Я не разобралась еще, не осмотрелась... Одно могу сказать: женщины, кого мы видели сегодня в ресторанах и баре, тонки, поразительно красивы, и как безвкусно одеты.

— О, мы оденем их, как следует, — самоуверенно сказала Наталья Петровна. — Я вижу здесь широкое поле действия. Мы поставим дом Брухман по-Парижски. Милая Лиза, с ее талантом, нам в этом поможет...

— А какая прелесть эта Сара Брухман, — сказала Татуша, — вот, ведь, и жидовка, а как приняла, угостила, устроила. Тесновато немного, а не плохо. И, кажется, чисто, и все, что нужно, есть. И какой комфорт. Да, Америка... Комфорт, мама, это — не культура... Культуры здесь нет...

— Я всегда говорила и исповедывала, — отвечая на первую половину фразы дочери, сказала Наталья Петровна, — жида ты же люди. И между ними есть прекрасные люди... Мудрый Эдип, разреши, для чего было Саре так стараться перед нами? Надо думать, что Дуся написала ей, кто мы такие... Не простые, какие, беженки. Лиза — генеральская дочь... Ты как думаешь о жидах, Лиза?

Лиза пожала плечами и ничего не ответила.

IV

Она сама задумалась, как же она относилась к евреям?.. В годы, когда в Германии шла борьба, и евреи оседлали немецкий народ, ослабевший после страшной войны, Лиза кончала гимназию. Она была в том возрасте, когда девочки безпричинно, горячо и платонически, влюбляются в кого попало: в артиста кинематографа, которого видели только тенью,двигающейся по экрану, в тенора, в учителя истории, в почтальона... Такою любовью Лиза воспылала тогда к старому профессору Ротшпану.

Ротшпан был еврей. Он был старый, седой, неопрятно выбритый, некрасивый. Он поразил Лизу острыми, насмешливыми, глубоко в душу проникающими взглядом глазами, и страшным, все сокрушающим материализмом и цинизмом. Не было для Ротшпана в мире ничего святого... Весь мир для него был сосредоточен в одном великолепном «я», которое наслаждалось и жило, как только могло.

Он внушил классу преклонение и страх. Строгими вопросами, ядовитой, едкой иронией насмешки над растерявшейся, невпопад ответившей ученицей, он терроризировал девочек. Его ждали с трепетом и благоговением. Бойкая, смелая, всегда хорошо знающая урок, Лиза гордилась и была счастлива тем, что такой умный человек выделил ее и отличил среди других учениц. И, когда раздавался резкий, неприятный голос Ротшпана:

— Фрейлейн Акант, расскажите им, чего, они не понимают, — Лиза вставала, шла к доске, румяная от счастья, и начинала говорить. Тяжелые, русые косы шевелились на ее спине и алые с ямочками щеки пылали от волнения.

Ротшпан снисходительно кивал головой, и на безобразном лице старого философа появлялась любезная улыбка. Эта улыбка волновала Лизу и заставляла ходить ходуном по молодым жилам ее горячую кровь, а ясные синие глаза прикрывать густо тенью длинных, детских ресниц.

Темным зимним вечером Ротшпан нагнал Лизу, когда та шла из гимназии. Был туман. Каменные панели были мокры, вдоль них по мостовой длинными грядами лежал тающий грязный снег, пропитанный черной автомобильной гарью. Улица была пустынна. Неярко светили редкие фонари.

— Фрейлейн Акант — сказал Ротшпан, наклоняясь к уху Лизы, — я живу в этом доме, на пятом этаже. Заходите ко мне, я разьясню вам приватно то, что вам не ясно. Я открою вам все тайны Мироздания...

Не думая ни о чем дурном, Лиза пошла с Ротшпаном.

Как в дивный храм науки, входила она в темный, мрачный кабинет, где пахло застарелым сигарным дымом и неопрятным старым жидом. Она слушала яркий и страстный рассказ о жизни, о борьбе миров, о самозарождении всего живого. С трепещущим юным сердцем, в легкой гимназической блузке и короткой юбочке, стояла Лиза, нагнувшись над громадным микроскопом, и с ужасом наблюдала, как в капле воды клешнятые чудовища, черви, змеи пожирали друг друга, как тут же плодились они, росли и множились. Она не чувствовала, как большая, сухая, горячая рука хищно и осторожно обнимала ее талию и чуть касалась вырастающих молодых грудей. Она не заметила, вернее — не поняла, когда, доставая снизу листы рисунков, старый профессор, будто боясь упасть, жадно хватался за ее ноги выше колена.

Потом Лиза сидела у стола, заваленного книгами и бумагами, в глубоком кресле, а Ротшпан то стоял против нее, вперив страстный взгляд в ее глаза, размахивал руками с растопыренными пальцами, то ходил по комнате, и полы его длинного сюртука болтались в темноте, как крылья идущего по земле ворона. Он носился над Лизой, как коршун над жаворонком...

— Жизнь, — говорил он страшным шепотом, наклоняясь к Лизиному лицу, почти касаясь сухими, жаркими губами пылающих щек и вдыхая аромат густых и нежных волос, — это только мгновение, один миг... Это бесконечно малая величина в пространстве тех миллиардов веков, что существует вселенная. И — никакого Бога!.. Никогда не позволяйте себе думать, Лизе, что есть Бог... Нет ни еврейского, грозного Иеговы, нет и благодного Бога христиан, и самого Иисуса нет и не было... Только легенда, сказка, выдумка... Все умирает и никогда не воскреснет...

Лиза стала ходить к профессору Ротшпану по два, по три раза в месяц. Она уславливалась о свидании заранее, устраивалась так, чтобы можно было возможно дольше остаться у него, в таинственном кабинете ученого, где открывались перед нею великие научные истины, где манила ее в неизведанные глубины бездна.

Теперь на громадном столе ученого не только лежали книги и рукописи, но стоял поднос, графины с ликерами и блюдца с конфетами, и вазочка с фруктами. И как заманчиво было слушать о бесконечности. Лиза представляла себе ее мрачную продолженность в миллиарды веков, И ощущала себя искоркой, загоравшейся в темном пространстве, которому нет конца.

— Сумейте, Лизе, умно и красиво сгореть. Не бойтесь стыда и воспоминаний. Все проходит... Не бойтесь минутной боли и отвращения: это — ворота в непостижимое блаженство, из которого зарождается новая жизнь. И какое великое счастье дать эту жизнь... И, это самое главное; не бойтесь смерти... Именно потому что нет будущей жизни, нет и смерти. Придет к вам час невыносимой муки, сдавит ваше сердце тошнота ужаса совершившегося, покажется вам ваше положение стыдным и ложным, будьте смелой, возьмите на себя — самой гордо уйти из жизни. О, какое это дерзновение, какое величие духа — покончить с собой!..

— Но это больно!.. Это, должно быть, ужасно страшно, — в томительном испуге говорила Лиза.

Темная пелена разстилалась перед ее глазами. Она не видела кабинета. Ближе от нее было лицо с горящими, как раскаленные угли, глазами, и это лицо казалось ей прекрасным. Она не отдергивалась, как первое время, от прикосновения горячих, цепких пальцев, и ей не было ни странно, ни страшно от того, что профессор крепко сжимал ее гибкую талию и все старался привлечь ее к себе и посадить на колени. Ловкая и сильная, Лиза инстинктивно, следуя девическому целомудрию, осторожно, стыдливо увертывалась от него, и только слушала, слушала... Она видела заманчивую бездну, куда увлекал ее Ротшпан. В отдаленном мраке мелькали яркие малиновые и зеленые огни, возгорались, расплывались трепещущими кругами и

погасали. И было так, как бывает, если лечь ничком и прижать крепко веки к глазам:плыли таинственные искры-огни... Сквозь эту игру светящихся точек, Лиза слышала голос Ротшпана: — О, нет, Лизе... Это один миг. Это только сладкое и дерзкое мгновение. Секунда острой боли, и все прошло, все кончено, вся боль и оскорбление жизни исчезнут во мраке...

Ротшпан доставал из ящика стола блестящий маленький револьвер и объяснял его устройство. С еврейским безсердечием, выношенным веками предков, воспитанных на Библии и Талмуде, считавших всякого гоя низшим существом, животным, призванным служить еврею, Ротшпан, как лакомое блюдо, готовил себе Лизу, чтобы овладеть ею, а потом внушить ей покончить с собой. Он уже владел ее душой, подчинил ее волю, выпил до дна все хорошее в ней, и он овладел бы и ее телом, если бы Лиза не сопротивлялась в бессознательном детском страхе, ускользая от его попыток. Он все-таки достиг бы своего, но тут пришла в Германии новая власть, и все переменилось. Ротшпан почувствовал, что кончились дни еврейского владычества и безнаказанности, и он испугался...

Однажды утром, женщина, приходившая убирать его квартиру, нашла старого профессора, висящим в спальне на крюке, в петле, свитой из двойной толстой веревки. Вытянутые ноги едва касались пола. Лицо было налито кромешным ужасом...

Лиза неутешно и долго оплакивала профессора, раскрывшего перед нею тайны жизни, но то новое, свежее и здоровое, что началось тогда в Германии и быстро несущимся потоком, как-то сразу, охватило все население, захватило и Лизу своим мощным течением.

Девочки надели белые блузки и черные юбочки, накинули на плечи желто-коричневые кофточки, нашили на рукава значки своих отрядов и стали маршировать стройными рядами за юношами.

И, вот, однажды, впереди раздался звон гитары, бодря песня сделала шаг смелее и тверже, и Лиза увидела впереди колонны светло-русую голову Курта...

Как после тяжелой и долгой болезни, оправлялась Лиза и постепенно вступала на новый путь горячей самоотверженной любви к Родине и служения ей, путь, благословенный Богом и указанный ей фюрером Адольфом Хитлером.

Чистое обожание Вождя Германского народа так незаметно слилось в сердце Лизы с настоящей первой любовью к русому молодцу Курту Бургермейстеру.

Но от тяжелой отравы Ротшпановского учения, поразившей Лизу в нежные годы ее созревания, у нее навсегда остался безотчетный страх перед евреями и мистическое преклонение перед их знаниями и силой.

Теперь она поступила на работу в еврейский дом.

Странное заведение был «торговый дом Брухман и Ко». Наружу не было никакой вывески. Внутри, в двадцать втором этаже дома, почти сплошь занятого конторами и магазинами, на белой двери была широкая медная доска и на ней надпись черными буквами:

«Madame Brouchman. Modes et robes. New-York. Paris».

За дверью — ряд комнат: они уходили анфиладой вглубь квартиры, связанные общим коридором, и их двери были всегда закрыты. Лиза даже не знала, сколько именно комнат в помещении. Брухман сразу установила порядок: без дела ходить из комнаты в комнату не полагается.

В первой и, по-видимому, самой большой, комнате, как во всякой модной мастерской, вдоль стен стояли шкафы с платьями, с полками, с материями и прикладом. Посередине комнаты были манекены, между шкафами — кабинки для переодевания при примерке. В стороне у окна стояла швейная машина. Тут и пахло мастерской: материей, нитками, горячим утюгом, духами и пудрой дам, примеряющих платья, и терпким, трудовым потом Сары Брухман и мастериц.

Сюда и посадили Февралевых и Лизу.

Иногда посылали то Лизу, то Татушу в другие комнаты за прикладом, отделкой, вышивкой или вставкой:

— Лиза, пойдите в третью комнату, спросите мисс Эдит, готова ли вышивка для миссис Эдельштейн?

Лиза шла через комнаты. В них по две, по три сидели девушки мастерицы. Все они были молоденькие, хорошенькие. Они любопытными, ревнивыми глазами провожали Лизу. В этих комнатах, как будто, и не работали. В них пахло духами, а не трудом. Во второй комнате радио под сурдинку играло танец, и две мастерицы танцевали, а третья их поправляла. Материя скроенного платья валялась в углу на полу. В третьей комнате, где помещалась мисс Эдит, пахло

сигарным дымом, у двери, за рабочим столом сидела красивая брюнетка, а на столе, между ворохом шелка, спокойно уселся толстый мужчина лет сорока, с красным, пухлым лицом, с жирными губами; он плотоядно смеялся и курил. Две другие мастерицы сидели в обществе молодых людей, и Лизе показалось, что одна из них при входе Лизы встала с колен одного из мужчин.

Это присутствие мужчин в модной дамской мастерской показалось странным Лизе. Лиза спросила брюнетку, где мисс Эдит...

Брюнетка оглядела с ног до головы Лизу и спокойно сказала:

— Мисс Эдит, это — я.

— Миссис Брухман просила узнать у вас, готова ли вышивка для платья госпожи Эдельштейн?

Мисс Эдит не сразу ответила. Она пересмеивалась с сидевшим на столе толстяком.

— Новенькая? — спросил толстяк.

— Да, — с презрительным смешком ответила мисс Эдит. — Еще трех привезла на днях Сара... Мамаша — штука со вкусом, а девчонки — дурочки... Смотри, толстый осел, не вздумай влюбиться... — и, обернувшись к Лизе, коротко кинула: — Не готова и не скоро будет готова. Видите, я занята...

Лиза, как ошпаренная, выскочила из комнаты.

В мастерской госпожа Эдельштейн тяжелым гиппопотамом вертелась перед зеркалом. Брухман и Татуша ползали подле нее на коленях, подшлифовывая подол.

— Я же вас просила, Миссис Сара, покороче... У меня же, сами знаете, ножка красивая, — говорила Эдельштейн, выставляя толстую, нескладную ногу обутую в розовато-желтый чулок и в прекрасные американские башмаки...

— Ну, что? — поднимая голову на Лизу, спросила Сара.

— Не готова. Мисс Эдит сказала, что она занята.

Сара встала с колен и внимательно посмотрела на покрасневшую Лизу.

— Ах, да... Что, у нее ее дядя Самуил был?.. Ну, Миссис Эдельштейн, не извольте беспокоиться, все будет готово к следующей примерке...

Вечером, когда Февралевы и Лиза уходили домой, Брухман говорила

Лизе со сладкой улыбкой:

— Так это же нужно знать, Лиза, что такое Нью-Йорк. Так это же город сумасшедших. Тут, уверяю вас, каждый третий человек немножечко с сумасшедшинкой в глазах. Тут разве можно держать строгий порядок в мастерской; тут с этим считаться приходится...

— Но отчего же сумасшедших не посадят в больницы? — спросила Наталья Петровна.

— Ах, милая мадам, ну, разве можно построить столько больниц... Так это же надо треть Нью-Йорка посадить в сумасшедшие дома... Ну и приходят иногда к нам. Так разве их выгонишь?.. Это же надо полицию звать...

Мельхиор, стоявший, в штанах и жилетке, с сантиметром, перекинутым через шею, вмешался в разговор:

— Ну, что тут удивительного, что люди в нашем городе сходят сума... Тут такие есть профессии... Иной, еще мальчишкой, как сел на лифт, так только и делает, что целыми сутками летает с восьмидесятого этажа в первый и обратно. Света солнечного никогда не видит. Камень и камень, да железная коробка кабины. Ну, или сопьется, или с ума спятит...

Сара подтвердила слова мужа:

— Ужасно, как много пьяных у нас по ночам. В Харлеме, где негры, ночью хоть и не ходить. Затащат, и что хотят, то и сделают...

— Свобода, — тяжело вздыхая и напяливая на плечи рыжий пиджак, сказал Мельхиор. — В Харлеме?.. Гм-м... В Харлеме?.. Там, представьте, мадам, негры по ночам бегают с острыми бритвами. Ночью окружают белого: чик! — ему нос и уши отрежут. Поди, ищи, кто это сделал? Все негры одинаковые...

— В ресторанах, у дамских уборных, караулят, — сказала Сара. — Какая дамочка одна, без кавалера, подойдут, схватят и унесут. Если, когда, мадмуазель, придется вам пойти, непременно чтобы кавалер вас сопровождал и у двери дождался, а то чистая беда с этими неграми. Такой уж город Нью-Йорк... Больших возможностей город... Ну, да сами увидите...

Мельхиор закрыл шкафы и стал гасить электричество. Февралевы и Лиза вышли из мастерской.

В коридоре бил в глаза яркий свет.

У лифтовой сетки растворилась крашеная под бронзу железная решетка. Из кабинки вышел лифтовый служащий с зеленовато-бледным лицом и шалыми, тусклыми глазами. Он выпустил даму.

Лиза испуганно прошла мимо.

«Сумасшедший», — подумала она...

VI

Лиза очень понравилась Саре. Ее щепетильная честность при расчетах умиляла хозяйку: — Этой девочке, — говорила Сара Мельхиору, — можно миллион долларов доверить, ни один пенс не пристанет к ее ручкам. А ручки — чистое золото. И красивые, и талантливы. Мы эту девочку, не спеша, продадим хорошо. Пускай только немножко попривыкнет...

Лизу посылали по магазинам за отделкой, за материей, или срисовать то, что увидит Лиза в других домах, на выставках.

Была ранняя весна, но в тесных улицах она не ощущалась. Только потому, что воздух стал мягче и что на улицах появились девочки с фиалками, а цветочные магазины были полны цветущими азалиями, ландышами, гиацинтами и тюльпанами, Лиза поняла, что и в этот город торговли заглянула весна.

Лиза опасливо пробиралась через толпу. Крепко засели в ее памяти рассказы Сары и Мельхиора о сумасшедших и пьяных в Нью-Йорке, о своеобразных нравах этого города.

Каждый третий человек, кого Лиза встречает на пути, — сумасшедший... Она пугливо присматривалась к прохожим. Вот этот, что идет один и смеется... Не сумасшедший ли он?.. Почему он смеется?.. А тот — развернул во всю ширину огромный лист газеты, стал по середине улицы и читает, мешая прохожим... Промчалась карета скорой помощи, — не сумасшедшего ли провезли в ней?.. Две женщины бегут, размахивая руками... Куда они? Что случилось?..

Толпа становится гуще. Она уже запрудила улицу. Движение автомобилей остановлено. Их сворачивают в боковые улицы, в объезд. У дома, куда шла Лиза, показались каски полицейских. Впереди глухо гомонит толпа. Лиза вошла в толпу.

Цепь полицейских не пускает идти дальше, и как раз туда, куда нужно Лизе. Стоят на возвышениях кинематографические аппараты. Улица впереди пуста, и дальше тоже цепь полицейских и толпа народа.

В окнах домов торчат головы любопытных... На 17-м этаже большого дома, на наружном подоконнике, свесив ноги вниз, сидит молодой человек и кричит что-то полицейским, стоящим под ним. И все смотрят на этого человека с любопытством и точно ждут чего-то. Лиза увидела впереди красивую молодую американку; та показала ей надежной, и Лиза опросила ее, почему не пускают идти дальше?

Американка, не спуская глаз с сидевшего на подоконнике человека, быстро и оживленно заговорила:

— Подумайте, какой редкостный случай! И как мне повезло: я так удачно попала, к самому началу... Может быть, я все и увижу... Видите вы того человека, что там наверху сидит и кричит? Я все узнала. Это — Джон Вард... Ему 26 лет... Он только что поругался не то с женой, не то с родителями... Я не могла этого точно узнать... Ну, словом, семейная драма. Так он сказал только что, что выбросится из семнадцатого этажа на мостовую. Такой отчаянный. Я думаю: ни одной косточки у него целой не останется... В четыре часа утра, еще все спали в доме, он забаррикадировал двери своей комнаты и вылез в окно. Мне об этом сказала молочница; я мигом оделась и побежала смотреть, как это будет... Полиция очистила улицу. И хорошо сделала. Подумайте, если такой здоровенный дядя вам на голову свалится; я думаю, в лепешку расшибет...

Лиза не верила ни глазам своим, ни ушам:

— Но, неужели, это правда? Неужели, так-таки нельзя ему помешать в безумном его намерении? Нельзя спасти его?..

Стройная девушка, красивая, как большинство американок, с холодными зеленоватыми глазами, хорошо одетая, с книгой подмышкой, вмешалась в разговор. Любопытными, восторженными глазами смотрела она на подоконник:

— Как можно мешать, мисс! Он свободен. Жизнь — его, и принадлежит только ему. Я сама слышала, и пяти минут не прошло с тех пор, как он громко, на всю улицу, кричал: «Леди и джентльмены. Я угнетен семейной жизнью и решил покончить с собой. Я выкурю папиросу и кинусь на мостовую. Прошу посторониться»... Вот, и опять он что-то кричит...

В толпе кругом Лизы заговорили:

— Все это блеф!.. Никогда он не кинется. Я готов держать пари.

— Конечно, не кинется. Он уже с десяток папирос выкурил, и бросал только окурки, а сам сидит и сидит. Ногами болтает...

— Просто — бахвал!..

—Трус...

— Полиция боится двери ломать, чтобы схватить его сзади из комнаты...

— Раз он обещал кинуться, он должен кинуться, — сказал пожилой американец. — У меня шея заболела смотреть на него...

— Кинематограф приехал, сколько беспокойства. Расходов... Как же не кинуться? Он должен кинуться...

— А какой это будет интересный номер в недельном обозрении, и можно будет еще пустить его «a ralenti» (*-Замедленно), чтобы видеть его лицо, когда он будет лететь вниз, — сказала та американка, к которой первой обратилась Лиза. — Я всю неделю буду ходить. Такие вещи, как убивает себя человек, не часто приходится видеть...

— «Как вы думаете, — обратилась к Лизе барышня, — он умрет еще во время полета от разрыва сердца, или только тогда, когда ударится о землю?..

Лиза не ответила. Она пыталась повернуть обратно и выбраться из толпы. Бежать хотелось от этого страшного места. Но толпа стала так плотна и густа, что уже не было возможности выйти из нее.

— Вы смотрите, что делают, — с возмущением, громко сказал толстый, пожилой американец.

— Какое право они имеют так поступать? — возмутилась и первая американка. — Я все ноги отстояла, чтобы видеть, а они... Вот, ведь, негодяи. Кто их просил об этом?!.

Двумя этажами ниже самоубийцы появились пожарные... Они просунули в окна железные балки и прилаживали к ним спасательную сеть.

— Как-кое безобразие! — начал, было, толстяк, и застыл с открытым ртом.

Самоубийца сделал резкое движение и черным комком полетел вниз.

— А-а-ааах!.. — раздалось в толпе.

Тело глухо стукнулось о мостовую. Сметая полицейскую цепь, толпа кинулась вперед.

Лиза, отчаянно сопротивляясь, чтобы толпа ее не увлекла с собою, пробилась в противоположную сторону. Ее, было, прижали к стене, потащили за собою, но она вырвалась, и в эту минуту остановки видела, как кинематографический оператор торопливо крутил ленту... С ушибленным локтем, запыхавшись, трепеща от возмущения и страха, Лиза бежала к станции подземной дороги.

«Сумасшедшие!.. Сумасшедшие!..», — колотилось в ее мозгу — «Город умалишенных!.. Какой это ужас!..».

VII

Наступило Нью-Йоркское лето. В городе — тропическая, насыщенная водяными парами жара. Громадные реки, Гудзон и Ист-Ривер, еле видный океан, как тонкой голубой кисеей покрыты парами тумана. Над ними лилово-серое небо, не прозрачное, без туч, душным пуховиком давит город. Улицы, как глубокие щели, с тяжелым, неподвижным воздухом, насыщенным автомобильными газами. Все, кто мог, разделись. Мужчины ходили полуобнаженные, загорелые, в трусиках, потные и жаркие. Их прикосновение в тесных вагонах подземной дороги и в автобусах были противны Лизе, и, где только можно, Лиза ходила пешком, чтобы не дышать воздухом, отравленным людскими испарениями. Полицейские, в белых кителях и касках, падали в обморок на постах, газеты вели безстрастный подсчет людям, насмерть сраженным солнечным или тепловым ударом...

Вдруг надвигались над городом черные тучи. Молнии широкими, огневыми потоками прорезывали небо, и тяжкий гром ниспадал на землю. Тогда, казалось, в грохоте и мраке, все

рушится. Дома задавят обломками жителей... Ничего, кроме безобразно наваленной груды камней, обломков бетонных плит и ломаного, криво изогнутого железа, не останется от гордого города. В эти минуты улицы сгнули. Все бежали, кто куда мог, — спасались на станциях подземной дороги, под подъездами, в пассажах. Освежающий ливень падал на город. Он барабанил по вывескам и стеклянным навесам подъездов, по крышам автомобилей, серебряными брызгами вспыхивал на черном гудроне мостовых. Вдоль улиц неслись водяные потоки... Мальчишки-негры переносили через них мужчин и женщин. У сточных труб желто-бурым водоворотом крутилась вода и пела тонкую песню...

После грозы становилось еще душнее. В Центральном парке — как (в) оранжерее. От раскаленных сырых туй, можжевельников и кипарисов идет смолистый, пряный аромат. Травы на лужайках и цветы в огромных клумбах благоухают, но благоухание это кажется ядовитым. Фонтаны шумят, низвергаясь белыми струями в широкие бассейны. Над ними — дымка пара, сверкающая радугами. В парке людей больше, чем деревьев и кустов...

Ночью, истомленная, точно распаренная влажною духотою, Лиза неподвижно лежит под простынею и не может заснуть.

Татуша еще не вернулась. Наталья Петровна спит, неслышно дыша. Часы частым тиканьем отбивают уходящее время и напоминают Лизе ту последнюю ночь, когда она начисто объяснилась с отцом и сказала ему горькую правду.

Редки письма от отца. Писал, что туго приходится ему, был он уволен с завода. Писал: «Я сам не понимаю; на что я живу. Свет не без добрых людей, мне помогают»... Потом долгое время не было писем, и вдруг, третьего дня, пришло совсем странное письмо. Писал отец, что он получил хорошее место, но что совесть его не спокойна.

Лиза в памяти повторяла особенно поразившие ее места этого письма; «Я искал и нашел», — писал отец. — «А, вот, что нашел, и не знаю. Хорошо ли?.. лягу ночью, и все думы... Думы и муки... Где правда?.. Ну, да это потом... Но, если, что про меня услышишь... Впрочем, откуда?.. Прежде, чем поверить, спишись со мной. Много, ведь, и лгут, и не разберешь ничего... Вот, Чукарин, — помнишь казака Чукарина? — тот разобрался бы сразу... Надеюсь, что смогу тебе скоро помочь. Надо бы тебе выбраться из этой проклятой Америки. И как жаль, что тебя нет со мною. Ты направила бы и успокоили меня. В тебе горькая правда, но она лучше той сладкой лжи, что опутывает меня...».

Странное, беспокойное было письмо, и в эту душную ночь шло оно на память Лизы и не давало уснуть. Тоска и тревога все более овладевали Лизой. Казалось Лизе, что-то случится этой ночью страшное, непоправимое, случится вот тут, сейчас... Лиза лежала, притаившись, завернувшись в простыню, прислушивалась к шумам города, чувствовала, как все напряженнее и напряженнее становятся ее нервы, острее слух, и небывалый страх овладевает ею. Время шло. Лиза физически чувствовала, телом ощущала, стремительный побег времени...

Было, должно быть, четыре часа утра. Занавески на окне порозовели. Тише стала неумолкающая песня города. За стеной в коридоре прогудел лифт. Слышны тихие, крадущиеся шаги.

Трясаясь всем телом, Лиза прислушивается к ним. Вот остановились у двери. Кто-то вкладывает в скважину ключ. Тихо отворяется дверь...

Это Татуша. Сквозь полуприкрытые глаза, притаившаяся Лиза видит, как Татуша входит шатающимися, тихими шагами, точно дух. Она в легком прозрачно-сером бальном платье, с неприлично голой спиной, с длинным узким треном и в золотых башмаках. Тугие локоны, колбасками лежавшие на темени и у висков, смяты и растрепаны. Татуша не похожа на себя. Это какая-то новая, незнакомая Лизе, Татуша. Богатая, нарядная и... несчастная. Она наполнила спальню ароматом духов, пудры и легким запахом вина. Она скинула на кресло кружевной платочек, покрывавший ее голову, неслышными движениями сняла платье и почти голая, в штанишках и чулках, устало опустилась на постель. Чуть скрипнули под ее тонким и легким телом пружины матраца. Как ни тихо было, как ни слаб был этот скрип, Наталья Петровна проснулась. Видно, что тревожно и чутко спала она, поджидая дочь:

— Ну, что, Татуша? — шепотом спросила она.

Татуша засмеялась неслышным, нервным смехом. По тому как заходили на ее спине лопатки под тонкой кожей, Лиза догадалась, что смеется Татуша через силу:

— Что спрашиваешь?.. Сама, ведь, знаешь... Ну! Продала меня жидовка совеем... Со всеми потрохами моими.. Вот и все!.. Работать теперь буду только для видимости... Может, и совсем уеду отсюда...

— Джеймс?..

Татуша кивнула головой.

Наталья Петровна гибко поднялась с подушки. Она села на постели, седая и растрепанная.

— Как?.. Уже?.. — с мукой в голосе, спросила она дочь...

— Лиза спит?..

— Намаялась и спит... Да ты тихонько... Ведь, Татуша... Ты это нарочно. Не может быть... Сегодня?.. Сейчас?..

Татуша опять засмеялась. Заходили под нежной кожей лопатки, позвонки забугрились на круто согнутой, узкой загорелой спине:

— Что же, он ждать будет?.. К венцу поведет?.. Чего ему ждать? Он заплатил...

— Но, Татуша... Все-таки?.. Ты подумала?.. А, если, что другое?.. Брак?..

— Ах... Да... В самом деле... — уже почти громко говорила Татуша. — Мама... Как же! Ты рассказывала мне... Так то тогда было! В ваши времена... Тогда зацелованная, опоганенная, залапанная, никому не нужная... Не невеста... Теперь, мама, равноправие. И они, как мы, и мы, как они. Помылась, и как будто ничего и не было. Хочешь? Нравлюсь — бери, какая есть. А в моем прошлом не копайся. Ни мое, ни твое прошлое никого не касаются...

— Все-таки, Татуша... — начала Наталья Петровна.

Замолчала.

Так, в молчании, прошло несколько минут. Часы отбивали их. Лизе показалось, что Татуша плачет. Но она не плакала. Сухим и злым голосом она сказала матери:

— Ведь, и ты, мама... С твоим мулатом...

— Ах... Ну, что я?! — досадливо сказала Наталья Петровна, и тряхнула головой. Нервными и порывистыми движениями, она достала папиросу и закурила. В душный воздух спальни вошел аромат табачного дыма. — Я вдова, старуха... И мулат хочет жениться на мне. У меня ты на руках. Для тебя пошла я на унижение. Хотелось тебя спасти. Ведь, хочется выйти из кабалы, на дачу летом поехать. Свой автомобиль завести. На океан на пляж ездить купаться...

— Ах... Ну его, и пляж этот, — брезгливо морщась, сказала Татуша. — Были я на пляже сегодня... Какая мерзость!.. Серое небо. И так низко нависло оно над океаном, что давит. Еще душнее от него. Зелено-серые волны с монотонным рокотом несутся к берегу... Сотни тысяч людей. Как песок морской. Шум, крики, свистульки детей и взрослых, крики продавцов питья и сладостей... Воздушные шарики реют в воздухе, и тошно от них... Летают мячи, которыми перебрасываются голые люди, кипение людской толпы. И как безобразны голые люди!.. Толстые, обвисшие, коричневые от загара животы стариков, в густой, белой, точно собачьей шерсти, и старые еврейки... Брррр... Какая мерзость. Точно концы верблюжьего башлыка, спереди висят их груди... Воняет потом... Мы с Джеймсом не освежились там, а только устали...

— Это он тебе купил платье?

— Да.

Опять замолчали. Лиза лежала под простынею, и от тоски и тревоги так сильно билось ее сердце, что Лизе казалось, что толчки его слышны, и Татуша догадается, что Лиза не спит... О!.. Как стыдно и больно было Лизе за простую и милую Татушу!..

Наталья Петровна выкурила папиросу, бросила ее в стакан, и сидела, низко опустив голову. Снова заговорила Татуша. Печален был ее голос, и звуки его падали в утреннюю тишину, как удары похоронного колокола:

— А что, мама, сделаешь?.. Жаловаться?.. На что?.. Сама пошла... А как не пойдешь?.. Паспорта, наши у нее... От нее теперь никуда не уйдешь. Попали, как мыши в мышеловку... Да и какие у нас паспорта' Нансеновские!.. Это похуже липовых будет... Денег на руки она нам не дает. Все записывает... Потом, да потом... Мы попали в еврейскую кабалу. Я теперь понимаю, почему мир так ненавидит евреев. Эксплуататоры... Кая паук паутиной, опутали они нас. Работаем, работаем, а все должники... Мы-то думали: Дуся Королева все нам даром устроила: и визы, и билеты на пароход... Все высчитала Сара. И эта квартира, и мебель, и даже завтрак и обед в день нашего приезда!.. Каково!.. Как тут ни кинуться в объятия Джеймсу?.. Да и не все ли равно?.. Раз мы

попали сюда, мы — обречены... Все... Все... Она и Лизу пока щадит, ждет, дорожится. Ищет любителя, который дорого заплатил бы. Лиза красивее меня, но... не современная линия. Не модна... Но и ее продаст...

Татуша накинула ночную рубашку на тонкое, стройное тело.

— Что обидно, мама... Я получаю гроши... Кинематограф, танцульку... езжу на его машине, а что он ей за меня отвалил, даже не знаю... Жиды.

— Ну, при чем тут жиды, Татуша?.. Везде одинаково. Это мир такой стал... Но, мудрый Эдип, разреши, зачем, зачем, Татуша, ты раньше со мною не посоветовалась?..

— Зачем?.. Зачем?.. Да разве ты поняла бы!.. Ах, да что еще говорить, — почти выкрикнула Татуша, зацелованная, залапанная!.. Ну и к черту!.. К дьяволу!.. Мне, вот, жалко: пить не могу. Забылась бы... Все забыла бы... А пить не могу. Тошнит... Желудок слабый... Некрасиво... Кокаин, что ли, нюхать?.. Помнишь, у Вертинского: «Кокаином распятая на мокрых бульварах Москвы»... Тут, мама, не Москва... Там все-таки, верно, легче было бы... Все чужое... И как это больно!.. Больно как!.. Любовь свою, сердце, невинность девическую отдала, и кому?.. Иностранцу... Американскому хаму. Целует, прохвост, лопочет по-своему... Не поймешь ничего... Проклятая наша жизнь!.. Обреченные мы!.. Все обреченные!..

VIII

С этой страшной, душной летней Нью-Йоркской ночи обреченность нависла над Лизой. Она все теперь поняла... Она ходила, как в полусне, настороженная, напуганная, одинокая. Все ждала и думала о сопротивлении. Все-таки не верила она, что может быть такая бездушная, холодная жестокость.

Думала Лиза: «Ведь, это — убить!.. Это хуже, убить! На всю жизнь опозорить... Татуша говорила, что она Джеймса ни капли не любит, что он ей противен, изо рта его могилой пахнет... А получит записку, спешить нарядиться, и едет с ним куда-то... Недавно на две недели уезжали во Флориду, и Татуша с нервным смехом повторяла: «свадебное путешествие». Нет, не могла Сара сделать это помимо воли Татуши... Слишком это было бы безчеловечно и жестоко...».

Лиза отнесла заказ, и с пустыми руками спешила обратно. Было душное утро. Черные тучи навалились на небоскребы, поблескивала молния и начинал грохотать еще далекий гром. Сейчас хлынет тропический ливень. Лиза шла легко одетая. Если ее промочить, она будет, как голая... Она спешила к станции подземной дороги, чтобы укрыться от дождя.

Внезапно налетел порыв холодного освежающего ветра, понес по улице бумаги, сорвал шляпу со старой толстой негритянки; прогрохотал близкий гром, и первые тяжелые, крупные, холодные капли дождя упали на плечи Лизы..

Кругом бежали люди, стремясь укрыться, где только можно. Лиза была подле большого здания, куда входили мужчины и женщины.

— Что это за здание? — спросила Лиза почтенную еврейку, поднимавшуюся по ступеням.

— Это храм.

Лиза поняла: храм, это — храм... Лиза вошла в храм. У входа развязный молодой человек сунул в руки Лизе тетрадку. Лиза очутилась в просторном продолговатом помещении. Оно было уставлено длинными скамьями с мягкими сидениями. Лиза слышала, что в синагогах мужчины сидят отдельно от женщин, и сидят в шляпах. Тут этого не было. Мужчины и женщины садились вперемежку, и мужчины снимали шляпы. Лиза робко села на скамью и огляделась. Может быть, это и не синагога?..

Кругом — евреи и еврейки.

Лизе стало страшно. Она опустила голову и углубилась в поданную ей при входе маленькую зеленую книжечку. Оказалась — реклама торгового дома «Maxwell house coffee», объявляющая, что фирма эта изготавливает «кошерное кофе». Что такое это за «кошерное кофе», Лиза не могла понять. Дрожа внутренней дрожью от страха, Лиза проглядывала книжечку. В два столбца, по одну сторону по-английски, по другую — по-еврейски, была напечатана служба. По книжке Лиза могла следить за нею и понимать ее. С опущенными в книжечку глазами, Лиза была менее приметна среди других молящихся. Между текстом были рисунки: Соломонов храм, Давид, играющий на арфе, переход евреев через Красное море, Пасхальная еврейская служба и другое, все из библейской истории, все чужое, не знакомое и не понятное Лизе.

Лиза приподняла глаза. Да, все окружающие ее люди были евреи, но они были американцы. Бритые, чисто одетые. Женщины — принаряженные, в модных шляпках.

Впереди храма было небольшое возвышение: амвон. За ним стена была выведена полукругом и аркой, как делают садовые ротонды для оркестра. В глубине этой арки была небольшая дверь. Эта дверь вдруг сама собою раздвинулась, и Лиза увидела за нею небольшое, ярко освещенное помещение, и в нем, стол, накрытый серебряной парчой, и на нем свитки пергамента: священная «тора», как догадалась Лиза, когда-то изучавшая религиозные обряды разных народов. К двери подошел раввин и в раввине не было ничего ни страшного, ни неприятного: красивый, рослый американец, с полным, круглым, бритым лицом. Он был одет в длинную черную тогу. Вокруг шеи, спадая с плеч на грудь, лежала широкая белая полоса, расшитая серебром.

Чуждая богослужению, лишь редкий и случайный посетители православной церкви, Лиза смелее и с любопытством смотрела, что будет дальше.

Раввин поднял руки и остался стоять против двери, тихо молясь. Потом он опустил руки, и двери медленно, и, как показалось Лизе, таинственно, задвинулись. Началась служба.

Служба шла на английском языке. Лиза слушала, что читали на амвоне, не верила ушам, проверяла себя по книжке и удивлялась.

По мере того, как Лиза уходила, сосредоточиваясь, в службу, страшное, черное, еврейское средневековье окружало ее. Точно исчезали из «темпля» приличные, бритые американцы и нарядные дамы в модных шляпках, и на их место становилась дикая, необузданная толпа бородатых и пейсатых жидов, галдящая на грубом жидовском жаргоне. То, что слышно было с амвона, казалось невероятным, ненужным и невозможным в Нью-Йорке в середине XX века.

С амвона текло медлительное, распевное чтение. Оно проникает в душу, оно готовит к чему-то, оно умышленно, оно, очевидно, нужно для чего-то, оно создает определенное настроение, и настроение это — невероятной дикости и злобы:

— «И тогда пришел бык, и выпил воду, которая потушила огонь, где горела палка, которую били собаку...».

«Это символы», — думала Лиза. — «Но зачем, к чему ведут эти символы?»...

Заунывно гнусаво несло с амвона:

— били собаку, которая укусила кошку, которая съела козленка, купленного моим отцом за два цуцима...».

Лиза бывала в Бронксвилле, еврейском квартале Нью-Йорка, она видела еврейское «гетто», с его узкими и грязными улицами, полными еврейской бедноты. И теперь ей представилось это «гетто». Ей казалось, что она слышит надрывный, залиvistый плач безчисленных грязных детей в лохмотьях, гортанную перебранку евреек и ссору из-за съеденного кошкой козленка. Об этом козленке все читали и читали:

— «Одного только козленка... одного только козленка... И тогда пришел палач, и убил быка, который выпил воду, потушившую огонь...».

Все исчезало, убивалось, уничтожалось.

— «И тогда пришел ангел смерти и убил палача, который убил быка, выпившего воду... И тогда пришел пресвятой, слава ему... и убил ангела, убившего палача...».

За стенами синагоги бушевала гроза. Тяжелые градины били в окна. За стенами синагоги были улицы самого современного города, мировой столицы, верх цивилизации. Там стояли дома в сто с лишним этажей, небоскребы, вавилонские башни. Там в три яруса, глубоко под землю, уходил темный и душный «субвей», там была сверхчеловеческая культура... здесь, с серьезным видом, вычитывали:

— «Тогда пришла палка и побила собаку, которая укусила кошку, съевшую козленка, купленного моим отцом за два цуцима»...

Умиротворяя впечатление от прочитанного, с амвона несло:

— Слава Тебе, вечный Бог наш, Царь вселенной... Ты освятил нас своими наставлениями и повелел нам считать дни Омера...

В открытые двери были видны таинственные, священные свитки «торы». Яркий, волнующий белый свет упал на них. Кантор пел:

— Спаси нас, Вечный, молим Тебя...

Вечный, пошли нам благополучие, молим Тебя...

Благодарим Вечного, яко благ есть,

Яко милость Его всегда с нами...

Возгласит Израиль:

— Милость Его всегда с нами!..

Возгласит Аарон:

— Милость Его всегда с нами!..

Кто боится Вечного, скажет:

— Милость Его всегда с нами!..

Тихо угас свет над «торой», точно растаял. Медленно задвинулись узкие двери.

Чтец читал о Египтянах, мучивших еврейский народ, читал о древнем, древнем, что когда-то происходило в жаркой, полуденной стране, где жили гонимые евреи. Ни забыть, ни простить этого они не могли...

Сосредоточенная тишина стыла в синагоге. За стенами ее лил дождь. И не могла уйти Лиза от всего этого таинственного, чужого, жуткого и страшного.

Всею душою ощутила она здесь чувство своей обреченности, то чувство, которое она познала первый раз, когда, под утро, вернулась Татуша и поведала матери о своем безлюбивом падении.

Вдруг все сидевшие в синагоге насторожились и подняли головы. Раввин взошел на деревянную кафедру, устроенную с одной стороны амвона.

На прекрасном английском языке, без акцента, короткими фразами, как бы внушая слушателям, пророчествуя им, как древние пророки, начал свою проповедь раввин, и Лиза поняла, что это-то и было самое главное в богослужении.

— Раввин Стефен Вейз требует от нас создания всемирного еврейского центра для объединенной борьбы за права евреев, как нации. Не будим подражать германским евреем, предающим еврейскую нацию ради земных благ говорящим: «мы не евреи, а германские граждане еврейского вероисповедания». Нет, мы гордо скажем: «Я не американский гражданин еврейского вероисповедания, я — еврей!.. Стефен Вейз сказал про себя: «Я еврей; а не американец... Я американец 63 года, но я еврей 4.000 лет»...

Из глубокой и темной дали юных лет учения поднялось в душе Лизы страшное воспоминание о ее увлечении профессором Ротшпаном. Тот говорил, что жизнь — мгновение, яркая точка, вдруг загоравшаяся в кромешном мраке безпредельности и так же внезапно потухшая. Ни прошлого — до рождения, ни будущего — после смерти... Ничего... У Стефена Вейза было четырехтысячелетнее прошлое, у него, несомненно, есть и будущее еврейского народа...

В дни студенческой жизни Лизы, уже при новом правительстве, когда трезво взглянули на сущность евреев в Германии, Лиза слышала от других профессоров и руководителей молодежи о сущности еврейства, об учении «Каббалы» и «Талмуда». Лиза узнала тогда, что евреи считают, что только они — люди, народ, Богом избранный; все остальные — «гои», а гои — все равно, что животные. У них нет ни души, ни бессмертия. И жалеть гою, соболезновать о его смерти, не приходится. И, если гой мешает еврею — устранить его нет греха. Его можно убить. Девушку-христианку можно продать, как продают собаку...

И Лиза задумалась...

Со скорбью, возмущением, ужасом и ненавистью говорил раввин:

— Хитлер прав, когда называет евреев расой. Да, подлинно, мы — раса. И никто и ничто не должно портить нашу расу. Мы должны ее защищать. Будущее нашего народа в опасности. Антисемитское безправие растет. Около полумиллиона людей изгоняется со своих насиженных мест. Фашистское зло разрушает стены права и справедливости. Оно побеждает демократию, завоевывает новые страны и грозит прекратить расцвет еврейства в Средней Европе. А там пять миллионов евреев. Мы, находящиеся здесь, в центре демократии, в цитадели еврейства, в Нью-Йорке, обязаны придти на помощь нашим страждущим братьям...

— В России нам пришлось для создания прочной еврейской власти истребить тридцать миллионов Русских крестьян и рабочих... (* до 110 миллионов в последующем) В Европе поговаривают, что так же можно истребить и пятнадцать миллионов мирового еврейства и навсегда освободить мир от евреев. Мы не оправдываем Русского опыта. Напротив, мы указываем на *опасность сопоставлений*. Но, по мере усиления фашизма в Европе, растет злоба против евреев, и мы не можем закрывать на это глаза. Перед нами мировая опасность для

еврейства. Со времен Вавилонского пленения и разрушения римлянами Иерусалима, не было для нас боле жуткого и тяжелого времени. Мы, евреи Америки, в грозную минуту опасности, должны объединиться с евреями Европы и бороться за еврейское равноправие, против безчеловечности и насилия, против растущих расовых предрассудков. Мы должны в Америке и везде крепить демократии. В демократии - спасение еврейства. *В демократическом государстве мы всегда сумеем занять первенствующее место* и отстаивать права нашей еврейской расы. Мы должны внушить всему миру, что гонение евреев трагично само по себе, потому что оно разрушает демократию, мир и человечность. Демократия немыслима без равноправия евреев!.. Христианская, дряблая, непротивленческая демократия с нами. Против нас — крепкий союз фашистских государств, ось Рим — Берлин — Токио... Наш долг сломать эту ось какую угодно ценою...

Раввин поднял голову. Темные глаза его под черными дугами бровей загорелись огнем страшной, лютой ненависти. Он с силой ударил пухлой, белой рукой по доске кафедры и выкрикнул:

— Война!.. Пусть будет война!.. Чем бы и как ни кончилась война, победа будет наша!.. Мы должны сломить фашизм... Если дряблая демократия не решится на это, пусть временно будет диктатура, но это будет советская диктатура! *Красные московские диктаторы — наши евреи* — назначат нам диктатора для управления всеми нами, и в Европе и в Америке... Но только война, одна война, спасет нас!.. Мы должны создать свою революционную армаду из необразованных и тупых рабочих, легковверных и глупых, и для этого мы должны стараться усилить безработицу, создать толпы голодных, ни к чему уже не пригодных людей, мы должны заразить ненавистью негров и привлечь их в эту армию. Когда же наступит нужный момент, *это мы, евреи, выкинем над ними красный флаг большевистских комиссаров*. Нам нужно торопиться. Толпа не может оставаться долго в состоянии молчаливого бешенства...

— Мы достаточно вооружены для такого восстания. Мы готовы. Большевики устроили у нас склады оружия. Они создали кадры людей, обученных и тренированных для уличной борьбы. По всему свету созданы «Лиги борцов красного фронта». Полиция нам не страшна. Где можно, мы ее купим, где это не удастся — припугнем... В частности, у нас, в Нью-Йорке, все готово. Мэр нашего города, Ла Гуардие, полужеврей и женат на еврейке, он — наш! Начальник полиции, Валленштейн, — еврей! Если наша полиция умеет справляться с простой обывательской толпой, с толпой большевистской она не справится никогда... У большевиков семнадцатилетний опыт гражданской войны и тренировки и 35.000 отважных агитаторов. Они все с нами и за нас...

— Мировая война!.. Пусть будет мировая война: она спасет демократию и еврейство! Иначе перед нами — раздел нашего центра в Европе, Чехии, развитие лютого антисемитизма в Венгрии, Румынии и Югославии, а там около пяти миллионов евреев!.. Перед нами победа Франко и фашизация Испании...

— Мы никогда— не допустим до этого!.. *Пусть до тла погибнет христианский мир во взаимной резне: в его погибели — наша победа... На тридцати миллионах поверженных Русских мы создали еврейское благополучие на востоке Европы. Если нужно истребить сто миллионов немцев, итальянцев и испанцев для нашего благополучия на западе Европы, мы не будем перед этим останавливаться!..*

IX

Во время проповеди то тут, то там вставал кто-нибудь из слушателей и осторожно, неслышными шагами ступая по ковру, подходил к кафедре и клал на нее записочку. Град перестал. За окном лил ровный дождь, но через него просвечивало солнце и бросало робкий, сквозь не пролитые до конца тучи, желтоватый свет в синагогу.

Раввин снял верхнюю записку и громко прочитал:

— Отчего существует антисемитизм?

Раввин недоуменно развел руками:

— Трудно дать исчерпывающий ответ на такой широкий вопрос, — сказал он. — Во всяком случае, не евреи в нем повинны.

— Может быть, антисемитизм создают католические теологи? — сказал пожилой, хорошо одетый еврей, сидевший в первом ряду.

— Да... Конечно, в значительной степени, это так.

— Может быть, антисемитизм потому, что мы распяли Христа? — спросил юный еврей с другого конца синагоги.

Раввин опять широко развел руками.

— Да. Мы, евреи, распяли Христа. Мы не можем отрицать этого. Это говорит история.

— А если уничтожить всю католическую церковь, как большевики уничтожили в России православную церковь? — сказал вихрастый, худой, с темным, до черна загорелым лицом еврей, и встал со своего места.

Раввин улыбнулся:

— Ну — сказал он добродушно, — я не думаю, чтобы нужно было принимать такие меры. Кое-что в этом направлении делается в Испании и во Франции... Католицизм не страшен для еврейства. В католической церкви антисемитизм не столь «angry» (*-суров). С ним можно справиться и без этого. Католицизм — против фашизма, и нам с ним временами по пути.

Раввин развернул следующую записку:

— Долго ли Хитлер продержится у власти?.. Раввин качнул головой и ровным, спокойным и безразличным голосом изрек:

— Если продержится пять лет, то продержится долго.

— Но, ведь, вот они, эти пять лет! Они не за горами, — нервно и возбужденно выкрикнула еврейка.

Раввин ничего не сказал, и прочитал следующую записку:

— Не надо ли нам уже организовываться и создавать свою армию против «наци»?.. — Я только что говорил об этом. Мы уже организованы. По крайней мере, здесь, — ответил раввин и снял новую записку.

— Правда ли, что Румынский король Карл, по требованию своей сожительницы-еврейки, принял иудейство?..

— Не знаю, вопрос очень деликатный, но, думаю, что нет...

В следующей записке раввин прочитал:

— Правда ли, что в России евреи перетянули струну, и что там возможно избиение евреев? Что, в таком случае, мы будем здесь делать?..

Этот вопрос особенно взволновал раввина. Пухлое, круглое лицо его покраснело. Он заговорил страстно, потрясая кулаками, бил ладонью по кафедре, как бы отсекая и подчеркивая сказанные фразы:

— Евреи совершенно не виноваты в Русской революции. Это клевета!.. Русскую революцию устроила тупая, необразованная, мечтательная и подлая Русская интеллигенция, и жадный, грубый и дикий мужик... Остервенелая солдатчина, потерявшая дисциплину и напившаяся кровью!.. Евреи в России оторвались от нашей нации. Они предают там нас. Там нет демократии, а вне демократии нам нечего делать. Из-за этих вырожденцев еврейства, отрекшихся от своего еврейского корня и в диком усердии, наравне с христианскими храмами, разрушающих синагоги, мы вести войны не будем, нам нет дела до них!.. Это не западноевропейские евреи!.. Да, они многое сделали, отрицать этого не будем, это верно. Они создали интернационал, *они создали большевизм и это великая их заслуга*. Но защищать их там мы не можем и... не будем... Пусть прежде создадут там подлинную демократию, и тогда мы придем править Россией. Наша опасность не в том, что в России могут разгромить, или прижать евреев: их там не раз громили, они всякий раз вставали сильнее прежнего. Опасность для евреев — в Германии, Хитлер, вот наша опасность. Вот наш враг номер первый...

Раввин задыхался от злобы:

— Хитлер — величайший пророк нашего времени! — кричал он перед затихшей синагогой. — Хитлер — пророк совершеннейшей христианской веры, сумевший христианскую любовь воплотить в жизнь, и потому он злейший враг иудейства... Хитлер, и только Хитлер, нам страшен! У него подлинный фашизм, у него народ, а не демократия!.. А нам нужна демократия... Россия?.. Что говорить о России? *В России правят евреи*, но там нет демократии, и там нет христианства... Там нет людей... Там прах и гниль... На что нам Россия?..

Раввин в возбуждении скомкал остальные записки и сошел с кафедры.

Прихожане стали подниматься со скамей и потянулись к открытым дверям синагоги. За ними светило яркое солнце. Оно блистало радугами на ледяшках крупного града, усеявших паперть и ступени темпля.

Город жил полною, бурною жизнью.

Х

По наблюдениям доктора Баклагина, вся Русская эмиграция более или менее утряслась за границей. Создались политические профессиональные союзы, иногда дружные одни с другими, порою враждующие, появились газеты и подле каждой свои читатели. Баклагин по первому взгляду умел определять эмигрантов, как они живут, не большевики ли, не зловредные ли какие люди? Поговорит на визите, мимоходом спросит, в каком союзе состоит пациент, где служит или чем занимается, — и уже знает, сколько спросить с пациента за лечение, ими просто лечить даром. Были у него пациентами и одиночки, не входившие никуда, ни в какое объединение, и все-таки люди — чистые. Скажет: «Служу на ферме, батраком. Некогда мне эмигрантские фиogli-мигли разводить, по лекциям, по «чашкам чая» шататься. Надоело!.. Да и ни к чему все это!..». Но отметил Баклагин в безподобной своей памяти и людей иного толка. Кто они? На маленьких собраниях, вечерах, интимных благотворительных балах в офицерских собраниях, или залах при мэрии, они не бывают. Но вдруг появятся они на большом эмигрантском балу, в роскошных залах Мажестик-отеля, на балу в пользу инвалидов, на вечере литераторов, или на Пажеском балу где бывает много иностранцев...

В прекрасном смокинге, в манишке, сшитой по мерке, они всегда в окружении иностранцев, французов, членов Палаты депутатов, секретарей посольств, журналистов, артистов, или с ними англичанин, представитель большой фирмы, или еще чаще какие-то международные евреи. На лотерею они покупают много билетов и не берут выигрышей. Жертвуют широко: тысячефранковыми билетами...

Баклагин — живая справочная книжка Русской эмиграции в Париже, их не знает. Они лечатся у французских знаменитостей.

Эти люди не смешивались с эмигрантской массой. Они жили от нее обособленно. Их окружали такие же богатые и тоже сомнительной профессии иностранцы.

У них были собственные машины: Роллс-Ройсы, или Эспано, или немецкий просторный Мерседес, и шофером — француз, изящный и надменный, или Русский гвардейский офицер, с княжеским или графским титулом, воспитанный, молчаливый и замкнутый.

И жили они в 16-м аррондисмане, в Отэй, в широких и тенистых улица-бульварах, или в районе Мадлэн, где имели собственные квартиры с богатой обстановкой. У одних были жены и дети, другие жили с накрашенными особами резвого поведения, кинематографическими артистками, или певичками из оперетки, и бывали с ними частыми посетителями ночных кабачков.

Что они делали днем? Куда ездили? По каким делам носились по всей Европе, откуда добывали деньги? Это была тайна. Тайна даже от собственной жены.

Иногда вдруг прошумит по вечерним газетам, наполнит страницы «Intransigeant» и «Paris-soir» громкое дело. Узнает публика мировой столицы о похождениях Monsieur Alexandre'a, о миллионном хищении, подлогах, ограблений общественной кассы, о разоренных вдовах и сиротах. Monsieur Alexandre окажется Русским жидом Ставицким из Одессы. Полиция его ищет. Происходит нечто темное: не то убийство, не то самоубийство, и... дело замирает, поднятый шум утихает, разоренным вдовам и сиротам предоставляется право плакать о своих деньгах, прокученных очаровательным monsieur Alexandre'ом, в общественной кассе — изыскивать способы пополнить похищенное...

Или, — и тоже вдруг, внезапно, — утром, среди бела дня, в Булонском лесу, на глазах прохожих, заколют шпагой господина Навашина.

Газеты пошумят, разоблачат, что господин Навашин служил у большевиков и что-то с ними не поладил, и опять, и недели не пройдет, все снова шито и крыто, будто ничего и не случилось. Убийцы не найдены, и только вдова, в шляпке с крепком, и осиротившая собака, с которой любил гулять господин Навашин, напоминают, что такой человек был, что он убит совершенно безнаказанно.

А то — найдут в провинции, подле железнодорожного пути, труп всеми уважаемого судьи Ле Пренса, заколотого кинжалом, а подле — и самый кинжал. И опять — ни убийц, ни причины убийства — ничего не найдено, ничего не открыто. Один пустой газетный шум. Над всем спускается темная завеса тайны...

Хромали сыскное дело и полиция в демократических странах. Были связаны они множеством условностей, отвлекавших их от исполнения долга.

Но толпе эта тайна нравилась. В жизни выходило, как в самом интересном полицейском романе, или в фильме с загадочным убийством. Если бы преступники были найдены, не было бы жуткого интереса, какой возбуждало не раскрытое преступление.

И что характерно. Почти всегда, во всех таких таинственных делах, как-то, если и не прямо, то косвенно, бывали замешаны или большевики, или евреи. Может быть, именно потому и раскрыть эти дела не удавалось: с одной стороны была дипломатическая неприкосновенность совершивших преступление, с другой — дружный отпор еврейского капитала и кагала.

Но, кроме таких людей, с именем и все-таки с каким-то более или менее определенным положением, были в Париже еще и люди, к кому все эти Навашины, Ставицкие ездили, но о ком ни они сами и никто ничего не знали... Не знали даже фамилий этих людей... Тайна... «Monsieur»... «Patron»... «Maitre», иногда полурусские имя и отчество. И — все.

На двери, как везде в Париже, — ни номера, ни таблички с именем жильца. Если позвонить, отворит лакей-француз в белоснежной куртке, высокий, сильный, рослый, типичный «вышибала», с таким высокомерным видом, что у самого смелого просителя пропадет охота говорить с ним. Дальше порога этой двери лакей никого не званого и ему не известного не пустит.

XI

На широком и красивом Avenue Henri Martin, на пятом этаже, — там воздух чище и не так слышны уличные шумы, — в таком таинственном уединении жил Лазарь Максимович... Никто из бывавших у него не знал его фамилии. «Лазарь Максимович» и все... К нему ходили только по вызову. Могущество этого человека было огромно.

«Лазарь Максимович сказал»... «Это устроил Лазарь Максимович»... «Лазарь Максимович направил в такой-то банк, к такому-то, и все было сделано «в два счета»... «Лазарь Максимович обещал позвонить по телефону самому министру, — все будет доложено»...

Говорили, — впрочем, это были уже эмигрантские сплетни — что все Русские Парижские масонские ложи: «Северная звезда», «Свободная Россия», «Астрее», «Северное сияние», «Гермес», «Прометей», «Юпитер», Аврора», ложи маленькие и ничтожные, имевшие по десятку, по полтора братьев, как-то зависели от Лазаря Максимовича. Но была ли эта зависимость от того, что сам Лазарь Максимович был масоном высокого градуса, или была только денежная зависимость, этого никто не мог сказать.

Все таинственные дельцы Русского эмигрантского мира знали, что, если нужно перехватить денег, устроить выгодную аферу, выпутаться из неловкого положения, — надо идти к Лазарю Максимовичу: устроит!..

Если какая-нибудь эмигрантская организация, не ярко-национальной окраски, сильно нуждалась в деньгах, если нужно было покрыть вдруг оказавшийся дефицит, издать пасквильный листок-газетку, — нужно попросить Лазаря Максимовича. Сделает!..

На другой день после отъезда Лизы Акантовой с Февралевыми в Брест, некий старый человек, путавшийся без определенных занятий в эмиграции, Галганов, был вызван телефоном к Лазарю Максимовичу, к одиннадцати часам утра.

Галганов проснулся и поехал. Ехать было нужно, Галганов был многим и многим обязан Лазарю Максимовичу.

Лазарь Максимович принял гостя в громадном кабинете. В домашней фланелевой куртке и теплых туфлях, Лазарь Максимович сидел за монументальным письменным столом, где было больше бронзовых венских статуэток фривольного вида, чем бумаг. Он курил сигару. Его толстое тело с обвисшим животом покоилось в глубоком мягком кресле.

Галганов, человек лет под шестьдесят, с еще густыми, иссиня-черными полосами, прилизанными на широкий пробор, в больших очках в темной роговой оправе, прошел, в сопровождении лакея, в кабинет.

В былые годы Галганов Государю Императору так не кланялся, как наклонился теперь Лазарю Максимовичу. Тот едва приподнял с кресла ручное тело и, по-французски, не здороваясь, жестом пригласил Галганова сесть против него:

— Курите, — сказал Лазарь Максимович и указал на стоявшие на столе коробку с папиросами и ящик с сигарами.

Галганов не решился взять сигару.

— Вы хотели меня видеть, Лазарь Максимович, — ласковым, заискивающим голосом сказал Галганов, и закурил от горевшего на столе светильника папиросу. — Я к вашим услугам.

— Видите, Владимир Петрович, если я кого-нибудь позвал, значит, мне того человека нужно видеть. И мне нужны именно вы. Я недоволен вашей работой.

— Чем, Лазарь Максимович? — удивился Галганов. — Моей работой?..

— Не именно вашей... А вообще... Знаете, нам не шутками заниматься надо. Не кантаты и гимны петь, молотками стучать, коктейли распивать и доклады выслушивать. Нам нужны действия...

— Но, Лазарь Максимович... Чего вы еще хотите?.. Церковь разложена. Русский Общевоинский Союз умирает. В него пущена «внутренняя линия» подсиживания и доносов. Везде критика. Нигде никакого дела... Разложение, доносы, предатели... Наши братья во многих объединениях даже гонимы... Из-за этого пошел ропот. Многие уходят из лож...

— Ну, это, положим... Уходят!.. Я им покажу!.. — Лазарь Максимович затянулся сигарой, выпустил дым, и сказал, повышая голос. — Вы мне, Владимир Петрович, памороки не забивайте... Церковь!.. Она и разложенная сильна. Иерархи поссорились... духовенство враждует, а, посмотрите, как растет число верующих!.. Какой громадный храм устроили на rue Voileau... И — народу — полно!.. И не старухи там древние, а молодежь. По эмигрантской диаспоре ставят монастыри. Миссионеров готовят проповедовать православие. В Берлине Германское правительство строит громадный, великолепный православный собор... Что же, это, как по вашему, гибель или возрождение?.. Нам только что удалось начать ладить с бывшим злейшим врагом масонства, католицизмом, а тут *восстает из пепла православие*... То самое, которое, нам казалось, без остатка выкорчевано в России... Нам нужны свободно мыслящие церкви еретиков, сектанты и скептики. В 1913-м году мы постановили: не признавать Бога... Отрицать Его... Мы поставили идеалом жизни не Бога с Его законами, но человечество. А ваши масоны, простите, в церковь ходят... На исповеди бывают... Здравствуйте, пожалуйста!.. Еще наболтают там попам, чего и не надо...

— Лазарь Максимович, церковь не моя область... Я в этом деле профан...

— Скажите пожалуйста, профан!.. губернатором-то были, поди, сколько молебнов отстояли... Слыхал я: все мощи искали, мечтали в губернии у себя открыть.

Галганов густо покраснел:

— Что было, то прошло, Лазарь Максимович... О прошлом говорить, правда, не стоит. У каждого было свое прошлое...

Злые искорки вспыхнули в узких, светло-серых, словно прозрачных, глазах Лазаря Максимовича. Он затянулся сигарой, выпустил дым, затянулся еще и еще. Сизые полосы дыма ровно стлались над письменным столом, как вечерние облака над морем...

— Отчего сигару не возьмете?.. Хорошие...

— Благодарю вас.

— Берите. Не стесняйтесь. Для того и поставлены.

Галганов нерешительно взял сигару и, отрезав машинкой кончик, с наслаждением закурил. Ему было не по себе. Противно и унижительно было ощущать свою зависимость от этого человека, жида и хама. «Вероятно, в полпредстве советском служит», — думал он, — «а я ему подчинен. Завишу от него. Жизнь моя ему принадлежит. Как, однако, это гадко»... — Подумал, и сам испугался своих мыслей. Ему всегда казалось, что Лазарь Максимович умеет читать чужие мысли...

— Видите, Владимир Петрович, — после долгого молчания, медленно цедя слова, начал Лазарь Максимович. — Наша очередная, актуальная задача: уничтожение эмиграции... Поняли?..

— Законы не позволяют, — вздыхая, сказал Галганов. — Да и зачем? По существу-то, зачем?.. Вы сами недавно говорили, что Русская эмиграция, это — грязная пыль...

— Смести эту пыль нужно... Видите, буду с вами вполне откровенен. Допущена была ошибка... Самое существование эмиграции — большая наша ошибка. В народе советских союзов, в

интеллигентном слое, среди вузовцев, ну, и среди крестьян, растет убеждение, что, кроме нашей, советской, России, есть другая, — свободная от нас, заграничная. И эта заграничная Россия, черт ее дери совсем, нам очень мешает. Мы не можем ни послать, ни пустить нашу молодежь за границу. Мы здесь должны охранять ее от встреч с этими проклятыми эмигрантами. Кроме того, и там, в союзе нашем, есть такие дураки, которые верят, что за границей существует готовая целая армия...

— Вы же знаете, что этого нет.

— Я-то знаю. А докажите это там... Да еще нашим, черт их дери совсем. Это советское быдло подхалимов нам не страшно: на это есть чекисты и войска; но беда-то в том, что за граница, что иностранные государства, по мере того, как они разочаровываются в нашем союзе, начинают смотреть на эмиграцию, как на подлинную Россию... А что, если будет сговор между державами об интервенции?.. На наше красное воинство надежда плоха... Да и там не прочь снюхаться с этим заманчивым эмигрантским мифом... Вы понимаете меня?..

— Мне кажется, Лазарь Максимович, дело поставлено так прочно, что опасаться нечего. Закуплены лучшие писатели, депутаты, министры. В славословии советам недостатка нет. Здесь создан «народный фронт»...

Лазарь Максимович занялся сигарой. Прозрачные глаза его были устремлены на Галганова, и тот под пронзительным взглядом их чувствовал себя, как кролик под взглядом удава.

— Я, помнится, поручил вам следить за генералом Акантовым, — наконец, сказал Лазарь Максимович.

— Ска-а-ажите?.. Этой осенью Акантов ездил в Берлин. Зачем?..

— Он ездил за своей дочерью.

— Стра-а-анное, знаете, совпадение, или, как мы в гимназии острили: филиноввставание... — Лазарь Максимович самодовольно засмеялся своей остроте. - Хо-хо-хо!.. — басил он.

— Хэ-хэ-хэ, — почтительным тенорком вторил ему Галганов. — Замечательно... Филинов-вставание... Сов-па-дение... За-амечательно!..

— Да, поразительно... В это время там оказался маршал советского союза Тухачевский и белый генерал Скоблин,.. И Акантов...

— Дуся Королева и капитан Лапин следили за Акантовым. Они ничего не заметили.

— Возможно... Но, понимаете вы, что Акантов стал нас интересоваться.

— Ничтожная личность. Затравленный жизнью человек... Божия коровка...

— И мне говорили: огромный авторитет в эмиграции.

— Ну, да... Неподкупно честный... В прошлом, легендарный храбрец... Убежденный монархист... Да, конечно, отрицать не буду: авторитет... Офицеры ему верят. Если бы не крайние его монархические убеждения, конечно, он возглавлял бы Воинский союз...

— Да, так вот, в связи со всем этим, у нас решено его уничтожить...

— Простите, Лазарь Максимович, но это уже дело полпредства. Послать своего человечка, тот ткнет его молотком по голове в укромном месте, одним Русским эмигрантом станет меньше, вот и все. Тело можно в Сену сбросить...

— Не учите, лучше вашего знаю. Это проще простого... Но какой, однако, вы наивный человек!.. А еще губернатором были! Мощи открывать хотели... Нам довольно плодить мучеников и героев. Вы же знаете, что Русский человек живых героев не признает; ему мертвяка подавай. Погиб на своем посту. Вот тогда и некрологи, и почитание памяти, и панихиды, и «дни непримиримости»... А-ааа, нет!.. Вы мне раньше сделайте из него болвана, дурака, безвольного типа, еще лучше — предателя, всеми презираемого вы мне его толкните в яму, а тогда мы его уже уберем под чужую руку...

— Но, как же это сделать?.. Купить Акантова нельзя. Не так давно, узнав, что его приятель, казак Чукарин, убит в армии Франко, он, согласно с завещанием, передал все его сбережения дочери Чукарина, жене богатейшего француза. Та и брать не хотела. Он навязал ей деньги и не взял за сохранение ни сантима...

— Удивительный вы человек, Владимир Петрович. А еще губернатором были; поди, задачи жандармам давали! Что же, вы думаете, так, вот, подойти и сказать: «Нате вам, ваше превосходительство, полтораста франков, и прошу: сделайте подлость»...

— Нет... Конечно, не так. Но, как купить Акантова? Я не знаю.

— Не знаете... Плохо-с... Отметка вам три с минусом. Очень плохо — единица!.. Если офицеры, очень хорошие, благонамеренные офицеры, читая постоянно, каждый день, нашу газету, постепенно пропитываются нашими убеждениями, воспринимают нашу идеологию, колеблются, сомневаются и отходят от своей крепкой семьи, то, что скажете вы, если мы сначала... Сначала... Лазарь Максимович притушил окурок сигары о пепельницу и замолчал. Галганов ожидал, что будет дальше.

— Да... Сначала... Ну, сначала доведем человека до полной нищеты. Это я на себя возьму. Потом... Потом дадим ему легкую, хорошо оплачиваемую работу, службу... Это устроить я своевременно поручу вам. Мне говорила Дуся Королева, что Акантов, слушая хор Жарова, плакал, что он, сидя перед Московским радио, был на себя не похож... Чувствительная душа... Вот на этом и играть нужно... На России... Надо возбудить в нем сомнение в его правоте, чтобы он задумался, да где же Россия: тут, в эмиграции, или там, в Москве, где ключом кипит жизнь?.. Надо, чтобы его потянуло в Москву. Надо, чтобы его охватило сомнение. А сомнение — родная сестра отчаяния... Вот тут-то и подкатитесь вы, этаким, черт возьми, совсем Мефистофелем, и предложите ему не молодость, на черта теперь молодость, вам и без всякого Мефистофеля врачи ее сделают, но — Россию!.. Спасение России! И ему, Акантову, действенное место в этом спасении... Вот, когда он поскользнется. А тут, по нашей-то политграмоте неписаной: «падающего толкни»... И толкните его великой ложью...

— Я начинаю понимать, Лазарь Максимович.

— A la bonne heure!

В дверь осторожно постучали.

— Кто там?.. C'est vous, Gaston? Entrez!.. Лакей на серебряном подносе i юдал Лазарю Максимовичу карточку. Тот посмотрел, нахмурился, и сказал:

— Aha! Priez au salon (*- В добрый час!.. Это вы, Гастон?.. Войдите!.. Ага, просите в гостиную)... Так, вот, Владимир Петрович, действуйте. Когда узнаете, что Акантов дошел до последнего градуса нищеты, сначала помогите ему тонко, чутко, деликатно, по-губернаторски. А как только наступит душевное размягчение — действуйте. Валите в пропасть... До свидания... Я проведу вас другим ходом... Не нужно, чтобы вас у меня видали...

XII

Дуся Королева ожидала Лазаря Максимовича в салоне. Накрашенная и завитая, в маленькой модной шляпке на лбу и в богатом манто из норки, она стояла у зеркала.

— Чем обязан вашему посещению, очаровательная из очаровательных, царица красной песни, Магдалина Георгиевна, наша красная матушка?..

— Т-ссс, — предостерегающе, кокетливо прикладывая палец к губам, сказала Дуся. — Ну что-о вы, да разве можно та-ак, тут у вас стены, поди, слышат... Я же здесь — Дуся Королева.

— И пусть стены слышат. Они слышат то, что им нужно слышать. И так, ко мне по утрам без дела не ходят. По какому поводу?..

— Конечно, за деньгами, — вздыхая и поднимая глаза к потолку, сказала Дуся.

— Опять?.. Так недавно я вам дал пять тысяч...

— Душка, Лазарь Максимович... Ну, что такое пять тысяч для такой женщины, как я, и в моей роли: утешительницы эмигрантских сердец?.. Мне одна благотворительность дороже стоит...

— А ваши выступления с ультра-белогвардейскими стихами?..

— Милка, Лазарь Максимовичи.. Мне платят пятьдесят франков за вечер, а я на шампанское и лотерейные билеты больше тысячи потрачу... Моя сила в том, что я всегда и всем даю. Это мой защитный цвет — щедрость... Даю литераторам, даю высылаемому из Франции бродяге-казаку, даю на церковь, чахоточному поэту, больному музыканту, престарелой артистке, умирающему от голода бывшему министру... В этом вся моя сила...

— Ну, что вы... А ваш талант? — Лазарь Максимович порывисто схватился за сердце. — Слушаешь вас, и вот так за сердце и схватывает... И красота!..

— Бы-ыла... Голубчик! Не вам, кто меня помнит в мои знаменитые довоенные годы, говорить это. Вся оперирована. Лицо, можно сказать, кусков составлено, как лоскутное одеяло... Сколько я этим операторам плачу, сколько в Institut de beaute оставляю!.. Всякий раз триста, пятьсот франков обходится мне моя молодость... А разъезды?..

- Хорошо... Я дам вам... Но доканчивайте то, что я поручил вам с Акантовым...
- Душка!.. Сделано!.. Дочка в Америке. Сам с тоски помирает. На меня прямо молится. Приду это я к нему на квартирку с Баклагиным доктором и стану Россию вспоминать, про белое дело говорить, стихи читать... Оба мои старичка тают, как снег на солнце... Только что луж под ними нет...
- Хорошо, Магдалина Георгиевна, я, знаете, тороплюсь. Сколько?..
- На этот раз, надо двенадцать... Меньше не отступлюсь...
- Ох!.. Много хотите... Магдалина Георгиевна... Я дам. Но, помните, исполните все, что я вам прикажу.
- Полноте, Лазарь Максимович, кому говорите? Разве я не понимаю. Расписочку написать?..
- Не нужно.

Дуся пошла за Лазарем Максимовичем в кабинет:

- И что вы скупитесь, — сказала она. — Не свои же даете... А накурено!.. И сигары хорошие какие!.. Кто-то был у вас... Два окурка с разных сторон пепельницы...
- Наблюдательны.
- Тем и живу.

Лазарь Максимович подошел к тяжелому несгораемому шкафу, стоявшему в углу, открыл дверцы и отсчитал двенадцать пестрых билетов. Дуся жадно следила за движениями Лазаря Максимовича.

- Извольте.
- Что же я должна теперь делать?
- Пока, ничего. А там я вам скажу. Вызову, когда нужно будет, по телефону и скажу.
- Благодарствую... Какой вы сегодня, Лазарь Максимович, неласковый и серьезный. А я для вас хорошие советские стихи Лебедева-Кумача выучила, приготовила вам прочитать...
- Ну их!.. Я на Пушкине воспитан! Прочтите их на ближайшем эмигрантском вечере...
- Какой вы сегодня ехидный!
- Дела много, Магдалина Георгиевна.
- Не медведь дело-то, не убежит... Так не стану вас больше утруждать... Дуся небрежно скомкала кредитные билеты и спрятала их в сумочку.
- До свидания... Пока!..
- Пока!..

Лазарь Максимович проводил Дусю до лифта, но Дуся отказалась от машины:

- Не люблю я этих лифтов-то. Замирание сердца у меня от них делается. Я пешком, по ступенечкам...

Каблучки новых башмачков из змеиной кожи бойко застучали по деревянным, полированным ступеням широкой темноватой лестницы.

XIII

С приближением весны, на заводе, где работал Акантов, заговорили о новых увольнениях рабочих за отсутствием заказов. Пошли темные слухи, что увольнять будут тех, кто не состоит в Societe gjenerale travailliste, sieur Jouhaux, мощной коммунистической организации, возглавляемой monsieur Jouhaux. Заволновались Русские рабочие. Все они, бывшие Русские офицеры, два с лишним года сражавшиеся с коммунистами в России, унесли с собой и за границу непримиримость с большевиками, должны были идти туда, где, как рассказывали, в приемной были развешены красные флаги с серпом и молотом и висел большой портрет Сталина, а на столе были разложены на красном сукне коммунистические брошюры на различных языках, в том числе и на Русском. Там сидели молодые люди семитического вида и расхваливали достижения советского союза.

Акантов пошел справиться в администрации завода: правда ли, что увольнять будут только тех, кто не состоит в рабочем союзе... Солидный инженер-француз развел руками и сказал:

- Mais, mon ami, увольнять нам приходится. Мы сами этому не рады. А что до союза, нам до него нет никакого дела. Конечно, иногда rien a faire (*-Ничего не поделаешь), ладить с ним как-то приходится. Но, ведь, есть еще и христианский рабочий союз; почему вы, Русские, не поступаете туда?..

В те дни в воздухе по всем мастерским висело это угрожающее «rien a faire». Запуганные, затравленные нищетою и непосильною работой, многосемейные, рабочие искали выхода.

Раздавались голоса:

— Что поделаешь? Назвался груздем, полезай в кузов. Ведь, мы, господа, стали форменными пролетариями; значит, и коммунизм как-то принять нам приходится, — так говорил пожилой человек, явно пораженный чахоткой, в прошлом доблестный офицер одного из славных полков.

— И, скажу вам, господа, не так это, в данном-то нашем положении, и плохо. Коммунисты — за нас, за рабочих... Мне говорили, что это именно правые требуют сокращения числа иностранных рабочих и более тяжкого процентного отношения в предприятиях, а коммунисты, они мне сами это говорили, ничего не имеют против нас, Вранжелистов...

— А вы были у них?..

— То есть?.. В порядке разведки... Справлялся...

— Под портретами Ленина и Сталина подписку давали?

— Не заметил таких портретов... Кажется, там видел в дешевой черной раме портрет Маркса. Этакая дремучая, бородатая рожа старой обезьяны...

— А с правого бока Сталин подмигивал вам лукаво.

— Значит, и вы там были?

— Значит! И скажу вам, отчего нам не идти в христианский союз?

— Ну, полноте! Что вы говорите! Какую цену может иметь этот союз во французской рабочей среде, где все материалисты. Он никогда вас так не защитит, как С.Г.Т. Ведь, С.Г.Т. это второе правительство Франции, и даже более сильное. Оно за рабочих, а мы не офицеры, но рабочие...

— Разум говорит — да, а совесть и сердце — нет.

— Не будем, однако повторять ошибок прошлого. Пошли бы сразу в совет рабочих и солдатских депутатов, и ...

— И... были бы теперь разстреляны, или покончили бы с собой самоубийством.

— Э!.. Нет!.. Если бы все пошли туда, может быть, общими дружными усилиями повернули бы руль направо и выровняли бы крен государственного корабля... А то пошли только отбросы...

— Да что вы говорите, чего не знаете... У большевиков осталось большинство нашего командного состава, и далеко не отбросы... Поливанов, Брусиллов, Химец, Багратион, Зайончковский, Тухачевский и многие другие... Где они, что они могли сделать?.. Одни умерли от тоски и сознания своей ошибки и подлости, другие разстреляны, или погибли в тюрьмах... Иные сами покончили с собою...

— Да, сила солому ломит.

— Когда солома гнилая...

И опять послышалось это безнадежное, фаталистическое, «rien a faire», — ничего не поделаешь...

В обеденный перерыв и вечером, когда, по гудку, расходясь, толпились на заводском дворе рабочие, и Русские сходились вместе, слушал Акантов эти разговоры и думал о тяжелой доле Русского офицера. Сам он не пошел писаться в коммунистический союз, и, фатально веря в свою судьбу, продолжал работать.

Весною, под самую Русскую Пасху, с завода уволили несколько сот человек. Уволили и тех, кто записался в С.Г.Т., и тех, кто остался свободным. Увольняли преимущественно старых и болезненных людей. Уволили и того Русского, чахоточного, который заступался и верил в могущество союза, и союз за него не вступился...

— Rien a faire!..

Ему дали шомажное пособие, как безработному. Но с семьей на него не проживешь. Государственная демократическая машина пустила его и его семью по миру, умирать от недоедания...

Уволили и Акантова.

XIV

Самое жуткое для Акантова в эти дни, после увольнения, было отсутствие работы, дела... всю жизнь Акантов был занят. Служил, воевал, ломал походы, строил укрепления, наблюдал за порядком службы, командовал, приказывал, обучал, ездил хлопотать о довольствии; потом был жуткий промежуток времени, когда все перемешалось: была эвакуация, беженство; время это

прошло, как кошмарный сон. Затем, был наем по контракту на завод, и работа... работа... работа... Она притупляла нервы, глушила потребности, усыпляла мозг, обращала человека в машину. Но она отнимала и время, и некогда было думать и задумываться...

И вдруг стало так много времени, что некуда было его девать, некуда было приложить свои знания, силы и время, время!.. С квартиры в Биянуре, где все напоминало кратковременное пребывание у него дочери, Акантов не съехал. Пока квартира была оплачена, было где ночевать. Кончится срок уплаты, ночевать придется, где попало... С удивительным спокойствием помнившего походы офицера, не раз смотревшего в глаза смерти, Акантов думал: наступит лето. Наступит тепло, ну, и... Можно ночевать под открытым небом... Под мостом, на набережной Сены, на скамейке в Булонском лесу... «Ну, что же», — думал Акантов, — «вспомню боевые бивуаки... Пойду бродить по окрестностям, искать по фермам, не наклюнется ли там какая-нибудь «рабочка»...

Голода он не боялся. Успокаивал себя научными фельетонами, доказывавшими, что есть человеку нужно очень мало и что можно, и даже полезно, подолгу голодать. Еда, это — чепуха. Только перетерпеть привычный час завтрака или обеда, когда запротестует неудовлетворенный желудок, а там, и пройдет. И даже легче станет...

Но и голодать не пришлось. Оказалось, что есть Русские благотворительные столовые, где кормят даром... Он пошел. Увидел светлые, приветливые лица бедно одетых дам. Дамы раздавали куски хлеба, тарелки горячего супа с куском мяса, стаканы чая; увидел кругом себя таких же обездоленных, как и он сам, евших людей: были тут и генералы, дрожащими руками принимающие глиняную тарелку дымящихся щей, были и сенаторы со слезящимися от голода, волнения и стыда глазами, просящие накормить; увидел и просто опустившихся, безпутных людей, согретых христианской любовью в просторном бараке столовой, под иконой Спасителя. Увидел, познал, что есть горе больше его, и успокоился: не пропадет!.. Не в голоде было дело. Тоска была — во времени. Некуда было его давать...

Скучно и муторно было от мыслей.

«Рабочка» не наклеивалась.

Куда ни придет, везде один вопрос:

— Вам сколько лет?

— Под шестьдесят...

— Сознайтесь, больше?! Нет, не годитесь. Старых не принимаем... На местах ночных сторожей, хранителей буржуазных замков, банков и вилл крепко сидели такие же старики, как он: прокуроры, генералы, профессора, и цепко держались за свои места. Не спали по ночам, ползали снизу на пятый этаж, бродили по пустым залам банков, мимо закрытых касс, отмечали свои обходы по контрольным часам. И какие горькие думы передумали они в эти долгие ночные часы странствий по пустому громадному храму золотого тельца, знает один только Господь Бог!..

Тут говорили:

— Вы еще молоды для такого места... Точно издавались над ним...

Просить в мэрии шوماжное пособие Акантов не пошел. Горд был он, и противны были ему равнодушные лица французских чиновников. У них просить, ему, георгиевскому кавалеру?! Не нужно!..

Акантов с утра уходил бродить по улицам. Смотрел на пронесившиеся мимо него машины того завода, где он работал, и думал: «в них, там, внутри, та шайба, которую я точил на заводе, в них частица меня»... Выходил на Елисейские Поля и долго, долго стоял перед громадным зеркальным окном автомобильного магазина.

На гладком бетонном полу, как допотопные чудовища, стояли машины чуть вкось... чуть вкось... И тут Акантов смотрел на них, и точно видел внутри ту шайбу, которая вышла из его рук. Он глядел на них, как мать смотрит на ребенка, поступившего в школу и ставшего в ряды школьников. «И я», — думает мать, — «носила его когда-то под сердцем... И вот, стоит он, совсем чужой...».

Чужими и недоступными стояли машины, зелено-серые, черные, светло-коричневые; маленькие, для поездов вдвоем, и большие, тяжелые, для долгих путешествий, все равно уродливые, как апокалипсические звери... И во всех внутри точно билось то кольцо, что вышло из его рук, рук рабочего Акантова... От дверей магазина шел легкий душок свежей краски, политуры, каучука толстых, змееподобных огромных шин, и чуть слышный трупный запах бензина...

Акантов отходил от магазина, и шел, поднимаясь по широкому тротуару под зеленеющими деревьями. Перед ним, в голубом мареве небесного простора, розовая и воздушная, высилась громадная триумфальная арка, яснее и яснее становились темные медные барельефы на ней, и чаровала несказанная гармония ее размеров на громадной площади Этуаль.

Вокруг площади покрывались пухом высокие платаны бульваров и зелени сады на Avenue de la Grande Armee. Лихорадочным пульсом билась городская жизнь. Непрерывно, как заведенные игрушки, все в одном направлении, крутились вокруг арки черные каретки такси, громадные зеленые автобусы вырывались из будто заколдованного круга и катились вниз по Елисейским Полям, а на их место вступали в мечущийся круг другие такси и другие автобусы, и страшна и загадочна была непрерывность этого суетливого движения.

Как, должно быть, неуютно в этом постоянном шуме и суете движения лежать под вечно обновляемым покровом цветочных венков и букетов «Неизвестному солдату», там погребенному. Мечется над могилой языческое пламя, точно душа солдата, сжигаемая огнем и не могущая улететь к синему бездонному небу...

Проходя мимо арки и могилы, Акантов ежился от какого-то странного волнения. Будто чувствовал на себе укоряющий взгляд чужого, неизвестного солдата, из могилы следивший за ним...

XV

Акантов медленно поднимался по Елисейским Полям. Эти дни ему было жутко за будущее. Нищенская жизнь бродяги, хождение за даровым обедом, тяготили. Приближалось время уплаты за квартиру. О электричестве и газе речи не было: Акантов ни тем, ни другим не пользовался.

По привычке, остановился у окна магазина своего завода. Задумчиво и печально, голодными глазами смотрел он на надоевшие машины.

Вдруг услышал, как знакомый голос доктора Баклагина его окликнул:

— Ваше превосходительство, Егор Иванович. А я, батенька, к вам собрался...

— Так что же, идемте вместе. Ни на метро ехать, ни чаем вас угостить не могу, ибо яко наг, яко благ... Ни сантимал!.. Нет даже тех пяти франков, которые полагается иметь бродяге, чтобы не быть арестованным за бродяжничество.

— Как же, батенька, слышал, как вас в два счета вычистили. Вот вам и социальная справедливость и обеспечение рабочего.

— Везде ложь... Не для нас оно... Мы ненужные, лишние люди, гости, засидевшиеся дольше положенного времени. Обломки тяжелого крушения, щепки разбитого корабля: ни на постройку, ни на костер не годные...

— Да, да, знаю все... и, как говорится: меры приняты. Кое-что, думаю, устрою...

— Кто?.. Вы?..

— Ну, я?.. Нет, у меня нет таких сил и связей. Но кое-кому говорил о вас... Вы Галганова знаете?

— Как будто, помню такую фамилию... Не то читал где-то, не то слышал...

— Он говорит, что вас знает Он губернатором был, вы — батальоном командовали.

— А... Да... Важный такой. Монокль носил и в белых брюках ходил...

— Ну, теперь не до монокля... В очках американских. В США человек. Умел устроиться...

— Вы мне как-то советовали от таких быть подальше... Предупреждали, что это за гуси...

— Да... Ну, тут другое. Тут и Дуся Королева стала за вас. А Дуся, как ни посмотрю на нее, прелестное существо.

— Помните, на вечере вы сказали мне: жидовка...

— Еврейка... Н-нет... Теперь не думаю... Чисто Русская... Из-под Киева, вероятно. Там такой тип, южный... И что не Могилевская, так я в этом теперь уверен...

— Очаровала вас?

— Как не очаровать, милый Егор Иванович... Вспомните, как она Февралевых и вашу Лизоньку устроила-то! Чисто, в два счета... И теперь постоянно справляется, что пишут нам с вами из Америки.

— Да ничего не пишут, — с едкой горечью сказал Акантов. — Написала Лиза восторженное письмо, как только приехала в Нью-Йорк. А потом пошли только редкие открытки... Поступили-то они к евреям.

— В Нью-Йорке без этого, говорят, нельзя. Там все евреи. Так что же пишет?..

— Да, ничего. Некогда, видно, ей писать... Не знаю, но почему-то мне кажется, что тяжело ей. А только гордая она у меня: не признается. Мятется ее душа...

— Вы писали ей об увольнении?

— Так, в общих чертах... Да мне писать теперь нечем, и не на чем, и на марку денег нет. Все так дорого теперь стало... Думал, сошьет меня жизнь с дочерью крепкими нитками, скрасит мое стариковское одиночество... Ан, глянь, а жизнь-то и распорола сметанное на живую нитку...

— Погодите, все образуется. Дуся взялась за вас. Как узнала, что вас уволили, так вся и вскипела. «Как это», — говорит, — «во святой час со молитовкой... нашего милого генерала уволили... Да что они, французы-то, нехристи, что ли?..». Ах, Егор Иванович, нужно слышать ее голос, ее милый Русский говор. Не поверишь, что она тоже, как и мы, который год в эмиграции. Говорит, как целебным бальзамом по сердцу мажет. «Нет», — говорит, — «мы этого не допустим. Кого-кого могут они увольнять, а не нашего милого генерала Акантова»... Поверите, по всему Парижу бегают, все место для вас ищет... «Да», — говорит, — «нашему генералу нужно достойное место и спокойное»... Вот тут-то и взялась она за Галганова. А Галганов какое-то отношение к банковскому миру имеет...

— Да что они?.. Меня в банк!.. Да я ничего в этом не смыслю!..

— Не боги горшки обжигают, милый Егор Иванович. Тут главное — честность и аккуратность. Не хитрая штука, научитесь. Так вот, теперь я к вам не пойду, а ждите нас и событий в самом скором времени... Да, Егор Иванович, что за женщина, эта Дуся, что за бабец великолепный! Без возраста, и с какою милой «Русскостью». До свидания...

Они попрощались. Баклагин зашел переходить через улицу, а Акантов остановился и смотрел, как, по площади Этуаль, вокруг арки, в бешеном беге, как заводные игрушки, все бежали и бежали автомобили...

XVI

И, точно, через неделю, совсем по-новому потекла жизнь Акантова. Галганов устроил его в банк. Это был маленький банк, помещавшийся скромно, но на отличном месте: в одной из тесных улочек, выходящих на Avenue de l'Орега. Служащих было не много. Народ был «интернациональный». Французы, евреи, армяне, итальянцы, все люди молчаливые, не разговорчивые.

Акантова посадили за кассу. Работа была не хитрая и легкая. После унижительного обращения на заводе, обысков при выходе, «тыканья» контротролов, здесь было тихо и уютно. Его товарищи по банку не обращали на Акантова никакого внимания. Они шептались в углу; его это не касалось. Мальчик-шассер, в расшитой золотом куртке, носил ему на соломенном подносе подписанные квиточки чеков, проштемпелеванные другим служащим, и дело Акантова было отсчитать кредитки, мусоля пальцы о клейкую губочку в чашечке и отмечать на длинном листе ведомости дневную выдачу.

Все это пустяками показалось Акантову, и он оправился и посылел. Явилось и свободное время, не то время, которое не знаешь, куда давать, как то было во время безработицы, но время, которое хочешь употребить с толком и пользой. Задумал, было, ходить на Высшие военные курсы, чтобы освежить свои познания, хотел даже и себя предложить, как тонкого знатока стрелкового дела, но тут вдруг и совсем неожиданно прикатили к нему Дуся и доктор Баклагин.

Они внесли тяжелый громоздкий картон, завернутый в бумагу, а потом корзину с бутылками вина и закусками:

— Вот, во святой час со молитовкой, — бойко говорила Дуся своим приятным Русским языком. Она была нарумяненная и набеленная, совсем молодая. Ярко сверкали белые зубы из-под темно-пунцовых губ.

— Надо, милый генерал, нам sprysnut' ваше новое назначение... И погода такая прекрасная, и у вас тут, не как в Париже, воздух какой очаровательный...

Дуся подошла к окну:

— Смотрите, доктор, поля, поля!.. Ну, совсем наша Курская губерния. Поди, по ночам, милый генерал, у вас в саду напротив соловьи свищут...

Тем временем, Баклагин освободил от бумаги и веревок тяжелый пакет и вынул оттуда блестящий лакированным деревом аппарат радио. Дуся подвела к нему Акантова:

— Это я вам, милый генерал. Представьте, выиграла на днях в лотерею вот этот аппарат. А у меня свой: двенадцать ламп. Америку свободно слушаю, самые короткие волны поймать могу... И вспомнила про вас, как вам, должно быть, грустно и одиноко теперь, без вашей милой Лизоньки. Вот, и послушаете чего-нибудь хорошего, во святой час со молитовкой...

— Чтобы, Евдокия Помпеевна, да зачем же... мне... — начал, было, совсем смущенный Акантов, но Дуся полной, надушенной, теплой рукою прикрыла ему рот:

— Полноте, генерал, я помню, как вы у нас, в Берлине, слушали радио... Мне муж говорил: плакали оба над ним... Святые то слезы. Вот, и поплачьте, когда, в одиночестве, потоскуйте по милой, ненаглядной нашей Родине...

Баклагин, с видом знатока, устанавливал аппарат и говорил ворчливым баском:

— Это так важно, где и как поставить радио. В одном углу хорошо, а в другом будет лучше... Где у вас тут штепсель?..

Баклагин отыскал штепсель, полез на стул протягивать вдоль стены пружинистую антенну, и попробовал...

Под звуки концерта, передававшегося по Radio-Paris, вся компания уселась за скромный маленький стол; были раскупорены бутылки; Дуся хозяйничала, и Акантов первый раз почувствовал себя в маленькой своей квартирке, точно и правда, как дома.

Лизы не доставало...

— Вот так-то, во святой час со молитовкой, — говорила, разливая чай, Дуся, — и забудетесь вы иногда в одиночестве своем, и перенесетесь в иные страны, усладитесь музыкой, речи хорошие послушаете... Давайте, послушаем Москву...

Баклагин отыскал волну Коминтерна...

XVII

Это был яд. Он медленно входил в душу Акантова, капля по капле разрушая ее. Он менял его понятия, его представления; он был, как ветер, дующий порывами на угасающий костер, раздувал пламя, оно вспыхивало таким жарким огнем неуголимой тоски по Родине, таким страстным желанием возврата домой, что Акантов чувствовал себя близким к самоубийству... Этот медленный яд разрушал все то, что выносил в себе годами войны и изгнания Акантов, и колебал его непримиримость к большевикам.

Как только наступал вечер, Акантов закрывал окно, чтобы городские шумы не мешали ему, садился в Лизино кресло подле радиоаппарата и ставил волну Коминтерна. Он не зажигал огня. Летние, мягкие вечерние сумерки лиловыми тенями стлались по комнате. Ярко горла освещенная, разграфленная табличка с желтыми и красными цифрами и надписями; от аппарата шло легкое, точно живое, тепло, слышался невнятный шум, гудение и потрескивание. Нервы Акантова напрягались. Он весь обращался в слух, и всякий раз вздрагивал, когда слышал, как звучный, красивый, смелый голос уверенно говорил:

— Товарищи, внимание!.. По волне Коминтерна... через две минуты будем передавать выпуск последних Московских известий...

Два голоса, мужской и женский, по очереди, говорили о том, что делается в советском союзе и во всем свете.

«Это ложь», — шептал Акантов. — «Все это не так!.. Как, однако, они лгут...», — а сам слушал, затаив дыхание, стараясь не проронить ни одного слова.

Он слушал рассказы о подвигах пограничников, ловавших шпионов, переходящих границы советского союза, и думал, кто были эти люди, кого теперь вели на разстрел?.. Он слушал о знаменитой летчице, какой-то орденоноске Пусе Подымалкиной, которая летела на самолете из Москвы во Владивосток, и, не долетев, где-то села в лужу, в болоте, и как ее искали и провозгласили героиней советского союза, и сама Пуся, свежим, чистым, взволнованным, бодрым девическим голосом рассказывала в радио, как она, сидя в луже, ни минуты не сомневалась, что товарищи ее спасут... Как она услышала в небе шум пропеллера, и возблагодарила великого и доброго, гениального вождя народов, товарища Сталина, подумавшего о ней, ничтожной Пусе Подымалкиной... Акантов слушал о достижениях на заводах, о стахановцах и стахановках, которые чудеса делают на станках. Он слушал истории партии Ленина — Сталина, биографии героев гражданской войны, и все, прожитое им восемнадцать лет тому назад, вставало в его памяти...

Европа шумела. Карта Европы перекраивалась по-новому, смывались следы позорного Версальского мира, создавалось новое государство, сильное и мощное, изобретались новые основы морали жизни; там, во «глубине России», была все та же вековая тишина. Там делали героиней девицу, севшую в лужу, там превозносили самые обыкновенные дела солдат, там расхваливали рабочих, только добросовестно работавших... Но за всем тем чувствовал Акантов, что там была жизнь... Что там работали, что там люди не топтались по кругу, как лошади на толчке с завязанными глазами...

Он слушал, как страшный, кровавый Ежов говорил развязным, веселым голосом:

— Вы не для того меня выбирали, товарищи... Не для моих, там, каких-то прекрасных глаз, или великолепной шевелюры, но для того, чтобы я дотла выкорчевал заразу шпионов и диверсантов... Акантов слушал довольный и страшный рев толпы, дикие крики грубого восторга, и в потемневшей комнате он видел эту большевистскую, чекистскую толпу...

Да, там по-иному по-новому шла жизнь... И там были «шпионы и диверсанты», значит, там боролись. В эмиграции жизни не было. Они застыла, остановилась, ушла в прошлое. В эмиграции были только тени прошлого. Акантов закрывал радио. Ему слышался твердый и печальный голос Лизы, как поведала та ему о разрушенном храме Веры, Царя и Отечества...

Он вспоминал и так часто повторявшиеся Лизой слова: «entweder-eder»... Или-или?.. Или надо идти туда и жить с ними, там борясь, страдая и сгорая за Россию, или нужно найти силы и прогнать их оттуда какою угодно ценой, и сесть на их место, но не оставаться здесь, ничего не делая, и только занимаясь поминками... И сколько еще лет ждать так, ничего не делая?!

Он снова поворачивал колесико аппарата, и слушал биение той жизни, откуда его так безжалостно выбросили.

— Товарищи, внимание!.. Вечерний выпуск Московских известий окончен. Через две минуты слушайте передачу с Красной площади в Москве...

Как год тому назад, в Берлине, в груди поднималась волна, стесняла дыхание, выбивала на глаза слезу. Москва... Это там, в Москве, несутся с легким рокотом автомобили, шумят шинами... Это в Москве раздаются гудки, и это там в теплой летней ночи бьют часы. У них, там, полночь...

Ревет и гудит «Интернационал»...

Опустив низко на грудь голову, Акантов слушал, как на иностранном языке, то на немецком, то на английском, то на французском, шла пропаганда. Он ничего не понимал, но сознавал, что там, в Москве, где когда-то жил народ-богоносец, исказили правду, свито громадное змеиное гнездо лжи, и эта ложь захватывает весь мир, отравляет его смертельным ядом разрушения. Акантов чувствовал, как после каждого такого сеанса ослаблялась его воля, как отчаяние входило в его душу и растворяло ее...

Акантов закрывал аппарат. Погасала пестрая линейка. В комнате был мрак. Акантов ощупью пробирался к своей походной койке и ложился. Но спать не мог.

Бессонница мучила его.

XVIII

В эти дни болезненных переживаний и сомнений Галганов неожиданно пришел к Акантову. Он глубоко уселся в старое Лизино кресло, поставил палку с золотым набалдашником между ног и положил на нее морщинистые белые руки.

— Спасибо, что навели меня, — начал он сытым, барским, не беженским, суетливым голосом... Этот голос, покойная самоуверенность, осанка в кресле, полные руки на золотом, тяжелом, резном старинном набалдашнике, большие, круглые очки в черной оправе, гладко бритое лицо, отличный, новый, не смятый костюм, смущали Акантова и поднимали в сердце досадное волнение.

— Помилуйте, Владимир Петрович. Мне так хотелось лично, поблагодарить вас за ваши хлопоты. И мне было досадно, что я не застал нас дома...

— Меня, Егор Иванович, трудно дома-то застать... Как говорится: волка ноги кормят... Я все в разъездах...

— И встретил бы вас, так не узнал бы, — сказал Акантов.

— Что? Так постарел?..

— О, нет!.. Что вы!.. Совсем даже напротив... Но... очки. Они всегда так меняют человека, — торопился возразить Акантов, и думал про себя: «Как я, однако, низко пал... Как принизила меня эта рабочая жизнь и тяжелая борьба за существование...». — И штатское платье так меняет человека... Я вас в золотом шитом кафтане помню губернаторском...

— Камер-юнкерском, — поправил Галганов. А я вас сразу признал. Отлично вас помню. И супругу вашу, Ольгу Петровну, помню. Какое большое меховое дело было у родителей вашей супруги в нашем городе... Культурная семья была... Знаете, такие образованные и просвещенные женщины только и бывали, что в России... Помню, как и дочка у вас родилась перед самой войной. Я даже... хэ-хэ!.. думал позовете меня в крестные отцы... Честь мне окажете, покумитесь... Хэ-хэ-с!..

Ежился под взглядом черных глаз Галганова Акантов, чувствовал себя маленьким армейским батальонным командиром перед всемогущим губернатором.

— Помню и наши торжества, за год до войны, как вы тогда, на юбилейном параде, стрелками своими заворачивали! Восторг!.. Да и солдаты тогда были!.. Прелесть!.. Герои!.. Была Россия!..

Тяжело вздыхая, как эхо повторил Акантов:

— Была Россия!..

— А ведь я к вам не только отдать, так сказать, визит, но и по делу... По серьезному делу. Хотелось бы с вами поговорить о России. По душам поговорить...

— Почему же, Владимир Петрович, со мною? Почему такая честь?..

— Потому, Егор Иванович, что знаю... Слышал, говорили мне, что вы не изменили России, что вы крепко ее любите, страдаете за нее и готовы и пострадать за нее. Не так ли?..

Акантов густо, по-юношески, покраснел, и тихо сказал:

— Да... Это так...

Очень не по себе ему было. Этот чужой и, скорее, неприятный человек смело и властно входил в его душу, касался сокровенных струн его сердца.

— Ведь, что же, Егор Иванович, — продолжал Галганов, и протянул руку к Акантову, — нельзя так все сиднем сидеть и ничего не делать...

Теплая рука Галганова коснулась руки Акантова. Галганов, нагнувшись, пронзительно смотрел через очки старыми, темными, коричневыми глазами в глаза Акантову... Волнение нарастало в сердце Акантова. Ом сердился на себя. «Ну, что такое для меня этот бывший губернатор?», — быстро думал Акантов. — «На место устроил? Со dna поднял? Сытым сделал? Благотетель?!».

Давно подметил Акантов, что люди излучают из себя некоторые токи, флюиды, которые действуют на расстоянии, и одни утомляют и вредят человеку, другие, напротив, оживляют его. У доктора Баклагина, у покойного Чукарина флюиды были успокаивающие, благотворные; Наталья Петровна Февралева, Дуся Королева смущали и тревожили душу одним своим присутствием. И даже Лиза, как и мать ее, Ольга Петровна, смущали Акантова своей недосыгаемостью, скрытностью и замкнутостью...

От Галганова, несомненно, исходили тяжелые, давящие, подчиняющие волю флюиды. Галганов молчал, а Акантов думал: «Вот, пришел этот чужой человек, и какая-то «подлинка» во мне засела... Это еще не подлость, но, вот, почему-то смущаюсь, готов угодить ему, подчиниться ему за помощь, за ласку, за эти полные доверия слова. Признаю его авторитет... Почему?.. Что он богаче меня, что он помог мне?.. Нет, тут что-то другое, что-то внутреннее, непостижимое, и боюсь его, и услужить готов ему, и не нравится он мне... А подлинка заставляет сидеть с ним, слушать его и поддакивать ему»...

— Так вот, — после довольно долгого молчания, начал Галганов, — слушайте. Семнадцать лет эмиграции и... ни с места... Даже, пожалуй, и назад... Все ищем — вождя... Да разве вождей находят?.. Что они, как грибы, в лесу растут?.. Ходи, да собирай в кошелку... Вожди являются сами. Хочешь, не хочешь, а подчиняйся им... Хитлер, Муссолини, Хорти, Франко явились, а не были кем-то отысканы и призваны... Они явились, помимо народа, вопреки народной воле, и сумели овладеть народом... Кажется, просто, а попробуйте сделать это?.. В том-то и дело, что самого главного мы не учитываем: вожди явились дома, то есть там, где народ, где свои, а не чужие... На Родине... В эмиграции никакого вождя не может быть... В эмиграции только воля чужого народа. «Скачи, враже, як пан каже»... Тут — интервенция, а не воля Русского вождя... Семнадцать лет эмиграции это показали, но не отучили искать вождя. Все нам «барина» нужно... Итак, не в вождях дело. Откинем вождей... Вы согласны со мной, Егор Иванович?..

— Вполне-с, — поспешил согласиться Акантов, и народившаяся в нем, помимо его воли, «подлинка», все вырастая, заставила прибавить так не свойственный его речи «слово-с»...

— Потом эмигрантской мечтой стало единение. Знаете, смешно-с... разсеялись по всему свету, испытали смешение языков, как вавилоняне при постройке башни, и говорим по разному: в Париже у нас «метро», в Берлин мы на «унтерgrund» ездим, а в Нью-Йорке, оказывается, есть такой «субвей»... Разбились при том на ориентации: одни — германофилы, на Хитлера молятся. Хитлер, де, нас спасет ради наших прекрасных глаз. Другие — франкофилы; французы, де, у нас в долгу, и должны выручить нас. А там — англофилы, вот, говорят: смотрите, что еще лукавый Альбион для нас сделает, он нам и Царя посадит!.. А кто уверовал в Ниппон, так у нас теперь Японию стали величать... А кому и никого не надо, — по-прежнему верят в разум Русского мужика: вот, мужик опамятуется, и барина править призовет: соскучились, мол, по тебе, батюшка наш барин, возьми нас в свои белые рученьки!.. Так вот, при таком-то разделении, черта с два говорить о единении... Согласны со мною?

— Ну как же! Помилуйте!..

— Теперь еще новое изобретение: нужен центр... Совет авторитетнейших мужей, возглавляемый Особой Императорской Фамилии и подпертый Высшим Духовенством. Да где в эмиграции они, эти-то авторитеты?.. Так говорить, значит не знать главного свойства эмиграции: отрицать всякие авторитеты... Если вообще Русский народ, по самому характеру своему, анархичен, то эмиграция анархична вдвое... Только появившись у нас авторитет, как все наши противоположные эмигрантские | партии и группировки доканают этот авторитет чем только можно, до доносов включительно, раскопают всю подноготную, дознают, что и когда он говорил, будучи гимназистом младших классов, и представят авторитет в таком виде, что от авторитета ничего не останется... И, кроме того, что это за центр, разбросанный по всему свету?.. Ведь, это же абсурд... Это не центр, а какое-то недоразумение... Придумка от безделья...

— Так что же делать? — робко сказал Акантов, — ведь, по-вашему, выходит, что ничего делать нельзя...

— Да, так оно и выходит... Нужно понять, что произошло, и безтрепетно, смело, солдатскими глазами, взглянуть на происшедшее...

Галганов отставил палку, выпрямился в кресле и вытянул короткие, толстые ноги. Синева наступившей ночи — свет не был пущен, — отражалась в больших круглых очках, и точно у Галганова, вместо глаз, были огромные синеватые провалы. Это делало лицо его страшным...

— Что же произошло?.. Кроме крушения нашей великой России конечно, — спросил Акантов.

— Мир раскололся на две части, понимаете: весь мира. Коммунизм и демократия, руководимые еврейством, стали по одну сторону барьера, по другую — фашизм и национал-социализм, руководимые гениальными людьми. Борьба между ними неизбежна. И какая борьба!.. Все ужасы Великой войны и нашей и Испанской гражданских войн покажутся игрушками перед нею. Вся жадная злоба еврейства, вся мстительность и жуткое равнодушие к чужим страданиям еврейского народа, воспитанного на Библии и Талмуде, и вместе с ними дикий разгул народной толпы обрушатся на государства, чтобы смести их, как смели и уничтожили Россию. И эта борьба вот-вот начнется, и Россия в ней останется безучастной, либо поработанной и еще глубже провалится в яму небытия. У нас нет вождя для борьбы, а нами руководят евреи, и даже не демократы, а просто евреи...

— Это ужасно, то, что вы говорите, — сказал Акантов.

— Да, ужасно, — подтвердил и Галганов, — и было бы нестерпимо, если бы не было выхода из этого положения...

— Где же он?.. Я не вижу выхода...

— Не видите, потому, что не хотите, не находите, потому, что не ищете. Мы должны найти такую силу, которая, действуя вне фашизма и в союзе с демократиями, могла бы сломить коммунизм...

— Где, же такая сила?..

— Эта сила — масонство...

— Масонство! — в сильном волнении воскликнул Акантов, встал с софье и стал ходить по крошечной Лизиной комнате. Он не видел Галганова, тот совсем слился с креслом, и только два круглых стекла, отражая синеву ночи, сверкали в почти темной комнате.

— Оставьте, Егор Иванович, офицерское предубеждение к масонству. Большие Русские полководцы, Императоры и короли были, и есть, масоны. Смотрите спокойно, без привкуса злобы и клеветы, которыми последнее время опутано масонство. Подумайте об одном... Допустите, что, вот, скажем, завтра, путем переворота, коммунизм свергнут в России, там наступило затишье, и вы приглашены идти туда строить, восстанавливать Россию... Как же вы пойдете туда, такие разнообразные, без программы, без определенной цели, без всякого единства? Кто за монархию, кто за республику, у каждого свои кандидаты, и, прежде всего, свое великолепное «я»... Вам нужны деньги, займы, вам нужны заграничные связи, признания держав и помощь их. И, прежде всего, вам будет нужно доброжелательное отношение за границей. Наконец, вам нужна узда на народ, нужны советники. Куда вы кинетесь, кому доверитесь?.. «Вожди» кинутся править, подсиживать станут друг друга, будет общая свалка, склока, а у вас нет никакой организации...

— Не у масонов же она...

— А почему нет?..

— Но масоны и евреи — одно и то же. Тайная мировая еврейская сила.

— Сила... Вы сказали, кажется, сила?..

— Да, сила.

— Вот это и есть именно то, что вам тогда нужно будет: вам будет нужна сила, и точно, мировая сила. Вот она — масонство. Еврейская, возможно, но, коль скоро вам нельзя быть с фашистами, лучше, чтобы евреи были бы с вами и за вас, чем против вас. Лучше иметь их помощниками, чем врагами.

— Н-не знаю. И какие люди в масонах...

— Какие люди? Слушайте, вы знали покойного генерала Опанасенко?.. — Да, знал.

— Отличный человек. Благородный, честный, доброжелательный, великодушный, умный, высокообразованный, как был принят во французских кругах, как умно и тонко вел противобольшевистскую работу в экономическом мире... Давно — масон... Генерал Соловков, — что можете сказать против него?.. Умнейший человек, какая выдержка, — масон!.. Я открываю вам тайны людей. Ведь, это же величайший секрет...

— Зачем вы это делаете? А если я проболтаюсь...

— Не проболтаетесь... Я говорю вам: элита Русского общества в масонских ложах...

— Я не могу похвалиться своим православием, но все-таки я православный и высоко почитаю свою церковь мать...

— При чем тут церковь?.. Три года тому назад, здесь, в Париже, скончался князь Л., венерабль, мастер ложи, масон высоких градусов... Как хоронила его православная церковь!.. Нет, нет. Тут не бойтесь: никто вас не будет стеснять в ваших верованиях и обрядах...

— Зачем вы мне все это говорите?..

— Потому, что я предлагаю вам войти в ложу.

— Что?! — в глубоком волнении воскликнул Акантов: ему показалось, что он ослышался, — Я... в масоны?.. Да, нет!.. Что вы?.. Помилуйте!..

— Я предлагаю вам войти в элиту Русского общества и через нее прикоснуться к такой же элите общества иностранного, войти в круги, которые будут в свое время править в России. Мы скоро, очень скоро, проведем вас в мастера, в венерабли, вы достигнете вершин, вы познаете тайны, и войдете в круги, значение которых мировое... Вот путь, и единственный, путь спасения России. Иного пути нет... Россия стоит не только мессы, но и масонства...

— Нет, нет... Это невозможно, то, что вы говорите... Там, простите, вы сами масон, но там эти обряды... Я читал: балаган какой-то... Я старый человек... Мне трудно это...

— Чепуха... Где вы это читали, кто говорил вам это?.. Вздор. Теперь все упрощено, модернизировано. Это не так, как у Толстого в романе «Война и мир» описано, вовсе не так.

— Я романов не читаю...

— И отлично делаете... Вас наставят братья-наставники, вы увидите подлинный свет, тайна бытия откроется перед вами...

Галганов поднялся с кресла:

— Зажгите, пожалуйста, свет... О!.. Мне пора! Завтра будьте после банка дома. Я приеду к вам с наставниками Пижуриним и Маневичем, они вас будут наставлять...

— Но, позвольте, Владимир Петрович... Я же не собираюсь вовсе становиться масоном.
— Не собираетесь, и отлично. Другим человеком сделаетесь... Для России... Неужели для России и этого не можете... Где же ваша жертвенная любовь к России? Я говорю вам, — с силой сказал Галганов, — для России!..
— Да, для России... Конечно, если правда, что там спасение России...
— А то как же?.. Если я вам это говорю, так оно и есть, для России... Итак до завтра... Пока...
Галганов протянул левую руку Акантову и быстро вышел из комнаты, постукивая своею тростью.

XIX

Пижурин сидел у Акантова в Лизином кресле. Перед ним стояла привезенная им бутылка очень дорогого вина и стакан. У ног стояла корзина с другими бутылками такого же вина. Акантов сидел подле Пижурина на стуле и смотрел, с ужасом и жалостью, на искривленное болезнями тело Пижурина. Он слышал, что про Пижурина повторяли известный анекдот, что, когда одна маленькая девочка увидела Пижурина, она в ужасе сказала матери: «Мама, что это: человек, или нарочно?»...

Гостя привел, почти принес, по лестнице здоровый, рослый шофер-француз.

Пижурин и точно на человека не походил. Какое-то человекообразное чудовище из Уэлльсовского романа. Человек будущего, сорокового века, мозгляк, с огромным черепом, искривленный подагрой и ревматизмом, потерявший зрение, силу ног и рук, полупаралитик, сохранивший во всей остроте большой циничный ум и все влечения тела.

Хриплым голосом, Пижурин говорил:

— Простите, что со своим вином. Не полагается, знаю, но не могу иначе. Что мне осталось? Почти не вижу. Читаю с трудом. Мне читают вслух, это — не то. Остались: вино и женщины. Покупать любовь приходится. Знаю, что противен... отвратен. Да, к счастью, не вижу выражения лица женщины, лишь ощущаю ее... Так уже теперь без вина-то и объясниться не могу... Пижурин налил стакан, медленно выпил его и продолжал:

— Галганов мне говорил, что вас смущает масонство, как учение. Давайте, посмотрим в корень дела... Начнем с легенд. В легендах-то откроется вам и главное... У христиан — легенда — воскрешение Лазаря. На утрени в Лазареву субботу у вас, православных, поется тропарь: «Общее воскресение прежде Твоя страсти уверяя из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже»... Удивлены? Я все службы наизусть знаю. В молодости едва в монастырь не поступил, но, вместо того, попал в университет, на естественный факультет, и вся моя глубокая вера разлеталась, как табачный дым в морской ураган, а память у меня огромная. Вот и помню все. А там, после университета, и пошло все кувырком; наследовал я от отца большое мучное дело на Волге. Заграницу благодетельствовали Российским хлебцем; Канада и Аргентина работали вместе с нами, так понимаете, было на что пожить всласть, ни о чем не думая. Ну и заграницей залежи капиталов остались, не с протянутой рукой сюда пришел... Пейте, однако, вино; это капли того моря, что мною выпито...Густое, темное, превосходное вино играло в простом стакане, облагородив рыночное стекло Лизиного хозяйства...

Пижурин выпил, зажмурился, потер ладонью по лбу и сказал рассеянно:

— Да, о чем я говорил-то?..

— О том, что в университете вы утратили веру.

— Ну, университет туг, может быть, и не при чем... Думаю, что, когда вплотную познакомился я с материализмом, закрался мне в душу страх смерти. Вы знаете это чувство?..

— Я человек военный. Мне оно не к лицу.

— Может быть. Однако... Не верю-с... Может быть. Был я молод, темперамента бурного, не скажу: красив, очки я и тогда носил, был близорук, но был я силен, и такая во мне бурная жажда жизни была, что, вот, никак не мог я примириться со смертью. Как это, меня не будет?.. Невозможно!.. «Общее воскресение прежде Твоею страсти уверяя», все повторял я, и жадно листал Евангелие, ища подтверждения этого, ища рассказа о том, что будет после смерти. И прочел я, как спросили фарисеи Христа, кому будет на том свете принадлежать жена, которою на этом свете владели семеро. И сказал Христос, что на том свет ни жениться, ни разводиться не будут, но будут, как Ангелы, пребывать в лицезрении Бога... И все тогда возмутилось во мне. Бурная, молодая кровь закричала: не хочу! не хочу!.. Никаких Ангелов мне не надо... Мне подайте, и тут и там, женщину,

прекрасную, умную, тонкую, образованную и... развратную до тела... Француженку, а еще лучше — свихнувшуюся пьяную Русскую бабу... Мне подайте хмельной угар Русского кабака, гитарный звон и гнусавое цыганское пение. Чтобы поплыл перед глазами сизый туман кабака, и в нем чтобы гибкое знойное тело сидело на коленях, и жгучи и горячи были поцелуи купленной пьяной страсти... а потом дикая пляска, вскрики, запах восточных духов и девичьего пота, топот ног, взвизги... и нирвана тяжелого, пьяного сна... А после — Русская баня, с вениками, с потком, с парением, и опять-таки с бабой... Вот мой рай... И я предался ему... Видите, что со мною случилось...

Пижурин наполнил стаканы и медленно, со вкусом, смакуя, осушил свой и налил его снова:

— Прекрасное вино, — сказал он. — Только во Франции, за огромные деньги, вы можете достать такое вино... И тогда я начал искать чуда. Голос с того света хотел я услышать. Я увлекался спиритизмом, я ночи проводил над трупами, и... ничего, ничего!.. Я ездил в дома с нечистой славой, чтобы, ну хотя бы маленькое привидение явилось, чтобы сказало, что тот свет есть... Хотя бы во хмелю увидеть, ну, там, малюсенького какого-нибудь зеленого чертика, самого там захудалого выходца из ада... Хотя бы таинственный стук раздался в комнате, щелкнуло что-нибудь непостижимым образом, засветились в углу чьи-то потусторонние глаза и заставили ужасом забиться потревоженное сердце... Ничего!.. Ничего!.. Я стал материалистом. Но материализм меня не удовлетворил... Видите, я образованный человек. Я свободно читаю на четырех языках, у меня здесь библиотека — пять тысяч томов! — все о том же, о будущем, о потустороннем. И я стал искать. Тогда-то я и вступил в масонскую ложу...

Пижурин снова лил, стакан за стаканом. Опораживалась вторая бутылка драгоценного, дорогого, старого, выдержанного вина. Пижурин не хмелел. Да и вино было такое, что не дурманило, но проясняло ум, точно открывало новые горизонты мышления, делало гибким и точным язык.

— В масонстве меня страшит, — сказал Акантов, — то, что оно подчинено таинственной власти, которую никто не видит и не знает. Не знают даже имен того венца пирамиды, которую из себя представляет масонство...

— В этом-то и есть величайшая мудрость масонства, — сказал Пижурин. — Мы имели Государя Императора. Все, видели, или могли видеть его, все знали о нем. Знали и то, что нужно было знать, знали и то, чего знать было новее не нужно... И напрасно. Государь оказался человеком, не богом... И вот, поползли гадкие слухи, рассказы: на солнце отыскивали пятна... И Государю изменили, и бросили его на растерзание толпе... А, если бы Государя не знали, не видели, но лишь ощущали страшную силу и власть самодержавия... Тем и страшен Бог, что Его не видим...

Пижурин откупорил четвертую бутылку. Он уже не дождался, чтобы Акантов выпил свой стакан, но наливал и пил стакан за стаканом.

— На солнце астрономы отыскивали пятна. Представьте, Егор Иванович, что солнца не видно. Но в определенный час вдруг разливается по земле свет и тепло, и так же постепенно невидимо исчезает. Никакие астрономы не могут узнать, откуда свет, какова его субстанция, как и откуда рождается он, и куда исчезает?.. Пока не знали солнца с астрономической точки зрения — боготворили его. А теперь — плюют на него. На солнце — пятна!..

Пижурин выпил подряд залпом три стакана вина и вскрикнул неожиданно громко:

— Не знали бы солнца, не было и пятен на нем...

Он замолчал. За телескопическими, прямоугольными, толстыми стеклами очков горели крошечные огоньки его глаз.

Медленно потянулась рука к новой бутылке, привычным жестом, механически, откупорила ее и налила стаканы гранатовую влагу:

— Пейте, — сказал Пижурин, и ровным и спокойным голосом продолжал: — В Евангелии сказано, что Бога никто и никогда не видел, и видеть Бога нельзя... Потому-то и силен Бог... Если бы люди увидели Бога, они стали бы искать и на Боге пятна... И Бога послушались бы... Так, если верить Библии, и было в дни райской жизни Адама и Евы, когда первые люди видели и слышали Бога. Человек, по самому существу своему, дрянь. Он все критикует, он во всем копается, он на солнце ищет пятна, он вырубает бревна из глаза ближнего. И масоны пошли вперед в этом направлении. Конвент Великого Востока в 1913-м году постановил отойти совсем от Бога. Бог для масонов перестал быть целью жизни, устремлением и помощью... Масонам указан иной идеал, и идеал этот — человечество. А коль скоро так, и масонство владеет человечеством, естественно, что верхушка масонства должна быть скрыта от всех глаз. Чтобы, понимаете вы, никаких пятен,

никакой критики. И тогда же постановлено, что в мире есть только одна истина; это та, которая исходит от масонов. Все, что исходить не от них, — ложь... Жан Жорес... Вы слышали это имя?..

Акантов не ответил. От вина ли, или оттого, что, несомненно, очень тяжелые, поработавшие, флюиды исходили от Пижурин, мысль Акантова оказалась скованной, и тяжело воспринимал он все, что говорил его странный гость.

— Жан Жорес на Конвенте Великого Востока 1913-го года сказал: «Если бы идея Бога приняла вдруг осязательную форму и сам Бог в видимом образе появился над человеческой толпой, первая обязанность человека — возмутиться против Бога, отказать Ему в повинении и отнестись к Нему как к равному, вступить с Ним в переговоры»... Вы видите, что тут люди смелые, дерзновенные, и с такими людьми быть заодно интересно и почетно... Вы меня поняли?..

Акантов опять промолчал. Точно раскаленные стальные, тиски сжимали ему голову. Он глухо слышал речь Пижурин и плохо усваивал ее.

— Нам мешают, — продолжал между тем Пижурин, — религия, нация, монархия и теперь еще фашизм и национал-социализм. И мы будем бороться с ними до конца... До победы... У нас есть союзники, и это, прежде всего, демократия. Она своим анархизмом, невежеством и тупостью правителей, полученных путем выбора, где мы можем всегда влиять, помогает нам удушать религию... С монархами мы справляемся удачно. Одних увлекаем к себе и заставляем вступать в ложи, других устраняем физически. При нашей мощи, это уже пустяки. С фашизмом и национал-социализмом придется таки повозиться, но тут с нами мировое еврейство...

— Это-то меня и смущает.

— Оставьте, пожалуйста... Свободные люди теперешнего мира, — все евреи. Да, что далеко ходить... Кто является властителем душ Русской эмиграции, чьи газеты ежедневно влияют на нее? Евреи, люди, женатые на еврейках, люди, евреями окруженные... Назовите мне Русского писателя, журналиста, общественного деятеля, который не был бы связан с евреями? Как паук липкой паутиной опутывает мух, так евреи оплели весь советский союз и всю эмиграцию. Газеты, издательства, благотворительность — все в еврейских руках, и единственный путь освобождения от них, это — масонство. Через масонство Русские люди получают возможность направлять и управлять евреями. Вот почему нам и нужны в ложах сильные люди, Русские патриоты, чтобы при помощи их спасти Россию...

— Скажите, Алексей Алексеевич... Простите, что я так прямо задам вам этот вопрос. Вы сами-то стремитесь в Россию? Нужна она вам? Для чего она вам нужна?..

Вопрос этот, как будто, разсердил Пижурин. Он повысил голос:

— Я, Егор Иванович, я, прежде всего, — «Я»!..

Нагнувшись, Пижурин пальцем провел по полу полукруг:

— Представьте, что я мелом провел вокруг себя черту. Это «Я», а за чертой весь мир... Так вот, если вы хотите говорить обо мне, то имейте в виду, что для меня, кроме меня, ничего в мире не существует Ни-че-го!.. Я люблю пить хорошее вино, и я его пью. Я хочу иметь красивых и элегантных женщин, хочу дефлорировать девушек, и я делаю это... Сколько раз я был женат я не помню даже... Были девушки, которые шли за меня не только из-за моего богатства, но и из-за моего ума... Одна умерла, другая покончила с собой, третья ушла, с четвертой я развелся по всем правилам закона, от пятой я откупился... Были Русская, полька, французенка, еврейка, испанка... Теперь мне хочется в Россию, к Русской бабе, чтобы она меня, как ребенка, нянчила, купала в бане и пестовала меня, и для этого мне нужна теперешняя Россия. Тут все-таки закон. Того нельзя, это не позволено. Это стесняет. Когда Россия освободится от большевиков, в ней долго еще не будет закона, и там можно будет прикоснуться к такому Смердяковскому развратцу какого тут и понять не могут...

— Г-м-мм, да, — промычал Акантов. Пижурин испытующе, с усмешкой, смотрел на него:

— Что?.. Поражены?.. Ну, скажите мне прямо в лицо, скажите: мерзавец!.. Не стесняйтесь. Не обижусь нисколько. В этом и вышина моя над вами. Для вас, это — оскорбление. Для меня — ничего не значащее слово из восьми букв, слово для крестословицы. Поймите, что если у меня только мое «Я», а весь мир — за меловой чертой, то для меня мира и так называемого общественного мнения нет... Грубо выражаясь: «плевать»!.. Впрочем, я грубых слов не люблю. Мне все — все равно. У меня есть только одно, что мучит меня и не дает мне покоя: это — страх смерти... Вот, чтобы вам этот-то мой страх был понятным, я и вернусь к легенде...

Через закрытое окно было видно, как к румянному закату спускалось золотое солнце. Длинные тени упали от домов и деревьев сада, от гаражей и сараев. Умирание дня тихой печалью входило в Лизину комнату, где в кресле глубоко и неподвижно сидел этот странный и страшный человек, масон...

— Говорят, что книжники и фарисеи, которые, как о том повествует Евангелие, все «приступали» ко Христу с разными вопросами, искали убить Его, предали на казнь и были при распятии, — были масонами... Не знаю...

Они боролись с Христом, как и теперь масонство противоположно христианству и борется с ним... Масонство очень древне. Оно идет от времен царя Соломона, от строителя Соломонова храма, архитектора Адонирама. Вы слышали?..

—Нет...

— Вот тут-то и лежит легенда, смутившая всю мою жизнь и лишившая меня покоя. Адонирам обладал божественной истиной. Он знал, что такое — гармония. А в архитектуре, да и в одной ли архитектуре, собственно говоря, везде гармония, это — все... Соломон назначил Адонирама строителем иерусалимского храма, который должен был быть совершеннейшей гармонией. Сто тридцать тысяч рабочих было согнано на постройку. Учениками, простыми кладчиками, руководил Иоаким, товарищами-подмастерьями — Вооз, и мастерами — Иегова... Храм воздвигался поразительной красоты линии, ибо строитель его, Адонирам, обладал тайной гармонии. Адонираму — поклонение, Адонираму — деньги, Адонираму — внимание и почет от премудрого царя Соломона... И встали между Адонирамом и мастерами зависть. Зависть — родная сестра ненависти. И было решено, похитить тайну Адонирама... Безумцы!.. Разве можно похитить талант, украсть или отнять у гения его искусство? Можно отнять у Шаляпина его голос и гений его перевоплощения? Можно похитить у Рафаэля четкость его рисунка и воздушность его красок? У Пушкина гармонию стиха и остроту мысли?.. Я много думал об этой ужасной истории, и я вижу ее. Душная иерусалимская летняя ночь... Запах красной пыли, благоухание Саронских роз и лилий, вонь чеснока и пригорелого бараньего сала, вонь людской толпы рабочих, идущих с работ. Я вижу, как, закутавшись в белый плащ, Адонирам медленно идет с постройки, погруженный в дальнейшие расчеты. За воротами его ожидая нарядно поседланный осел. Дома ждет его пиршество и на нем наложницы... У выхода, в темноте ночи, приступили к нему мастера. «Адонирам, скажи нам тайну гармонии»!.. «Адонирам, передай нам золотой треугольник с таинственным именем, которым ты безошибочно угадываешь пропорции»!.. Перед Адонирамом Вооз, Иоаким, Иегова и с ними толпа возбужденных распропагандированных «товарищей»! Адонирам молчит, он ускоряет шаги, наконец, он бежит к колодцу, чтобы бросить туда свой золотой магический треугольник. Товарищи ударяют Адонирама молотком по голове. Обливаясь кровью, Адонирам поворачивает и спешит к северным воротам храма. Но и там засада товарищей. Адонирама ранят киркой. Он падает и ползет вдоль стены, товарищи бегут за ним, но не смеют схватить его. Адонирам у колодца... Он выхватывает из-под плаща треугольник. В темноте ночи блестит на мгновение золото и безшумно скрывается в колодце без дна... «А-а-ааах!», — раздается в толпе. Адонирам бежит из последних сил к восточным воротам храма: там спасение. Но у ворот осмелевшие товарищи схватывают Адонирама и циркулем поражают его на смерть...

Пижурин выпил вино, тяжело вздохнул и надушенным платком стер со лба проступивший пот:

— Легенда, — сказал он, — а вот вижу все, как это было, вижу своими незрячими глазами, как кошмарный сон, преследует она меня и ночью во сне, и наяву днем. Какая страшная, невыразимая словами тишина настала после убийства Адонирама... Поздняя, ущербная луна показалась холмами Иерусалима и выплыла на черное небо. Сильнее стал запах роз и лилий, слышнее рокот вод, несущихся с гор потоков. В толпе товарищей тишина. Молча копают землю, хоронят Адонирама. Никто не должен знать, что случилось... Присыпали и притоптали землю... Разошлись... Гармония ушла с земли. Настало утро. Закопошились рабочие на постройке. Под опахалами из страусовых перьев, в пурпуровой мантии, несомый рослыми черными рабами, подарком Царицы Юга, явился на постройку Соломон. «Где Адонирам?». — Никто не отвечает. Молчание кругом. Усердно меряют «локти», отсчитывают кирпичи, стучат лопатки с известкой. «Где Адонирам?».

Никто не знает... И так проходят дни... Адонирама нет. Утеряно магическое слово, источник гармонии. Работа не клеится, некому направить ее. Соломон прозревает истину. Он идет искать Адонирама. В руках у Царя сухая ветка мимозы... За Соломоном идут товарищи. Тихо кругом. Условились, что первое слово, которое кем-нибудь будет произнесено, когда найдут Адонирама, заменит магическое слово «иегова». Знойный день. Солнце нестерпимо печет. Раскалена красная почва. Соломон останавливается у восточных ворот. Здесь земля почему-то рыхлая, не слежавшаяся. Соломон втыкает шершавую, серую ветку мимозы. Все с ужасом видят, как серые комочки листьев шевелятся, распускаются, и ветка мимозы оживает и зеленеет. Молча, знаком, показывает Соломон, чтобы тут копали. С тихим шорохом сыпется земля. В знойный воздух ползет из нее отвратительный, одуряющий запах трупа. Из-под земли показывается белый плащ и мертвая рука. Один из мастеров схватывает за руку, чтобы вытащить из земли Адонирама... Мясо сползает с костей. В ужасе, кричит кто-то:

— Мак-бенах!..

— Тело сходит с кости!..

XX

Мак-бенах, — медленно и тихо повторил Пижурин. — Вы понимаете, в этом весь ужас смерти. Разложение тела. Моего тела, которое мне дороже всего, уничтожение моего огромного «я»...

— Но вы не будете же это чувствовать.

— Вы знаете это?.. Почему вы знаете?.. Теперь сжигают. Что хуже, не знаю. Поймите, меня: все умерло, стало нечувствительным, а мозг еще не умер. Он только на время уснул, и вот, проснулся. Он слышит, как над головою стучат по гробовой доске комя земли, все глуше и глуше, и наступает тишина. Страшная, последняя, гробовая тишина. Тишина могилы. И вот, мозг начинает передавать ощущение гниения вашего тела. Сползают с пальцев ногти, мясо мокнет, вязнет, распадается, кости расходятся. А мозг живет, чувствует, думает, ждет!.. Или... Это ожидание в гробу. Кончились речи приятелей, медленно и плавно опустился гроб в провал. Вы в гробу, вы ждете очереди. И вот, загрохотала под вами металлическая тележка, и повезла гроб с телом в печь. Теперь не сжигают огнем. Теперь вы попадаете в пространство, где такая страшная температура, что все испаряется...

— Ну, тогда испарится и ваш мозг...

— Да, и мозг. Но этот момент... Ужасно... Да, что-то есть в смерти непостижимо страшное, непереносимое... Одна богатая американка, — я понимаю ее, хотя ее и считали полоумной, — завещала громадные деньги, чтобы ее не хоронили в могиле и не сжигали, но устроили прекрасный склеп, как жилую комнату, с водой и освещением, богато обставленный, для жилья одного человека, и там положили ее в хрустальном гробу. Американка оставила особую сумму денег, чтобы нанять человека, который должен был жить в этом склепе, вместе с нею. Ему должны были приносить пищу и все необходимое, но он должен был оставаться один с нею, или, вернее, с ее трупом. И... такого человека не нашли...

— Обратились бы к Русским безработным, наверно, нашелся бы такой отчаянный человек, — сказал Акантов.

— Да, были... Но, представьте себе, больше одной ночи не выдерживали.

— Но это, значит, противоречит тому, что вы сказали. Значить, есть что-то за гробом.

— Напротив, именно ничего нет, и страшна была эта неподвижно лежащая в гробу покойница, в которой тихо совершался процесс разрушения.

— Это напоминает мне повесть «Вий», которую я в детстве, когда еще читал такие вещи, прочитал...

— Да... Но там все-таки было менее страшно. Там была нечистая сила, там был «Вий», а тут... Мак-бенах!..

Только теперь Пижурин заметил, что темнота и ночь надвигается. Он забеспокоился:

— Что это? — в тревоге сказал он. — Ночь?.. Темнеет!.. Позовите моего шофера.

Но, едва Акантов встал, Пижурин испуганно закричал:

— Нет!.. Нет!.. Я боюсь быть один в темной комнате. Я же почти ничего не вижу. Это, как в гробу... Проводите меня вниз и зажгите огонь. Помогите мне встать...

Акантов вывел Пижурину из квартиры. Рослый шофер усадил хозяина в машину. Странное дело: не убеждения всегда красноречивого Галганова, не мягкая, деликатная, философская речь Маневича, но именно холодный, бездушный материализм Пижурин, сломили Акантова. Все три приходили к Акантову почти ежедневно, то поодиночке, то вдвоем, то все три вместе. У Акантова постепенно сложилось убеждение, что, и правда, с большевиками нужно бороться их же оружием, оружием силы и расчетливой работы. Материализму коммунизма противопоставить материализм масонства. И, может быть, «мерзавцы», как сам себя аттестовал Пижурин, именно и будут полезны в такой борьбе. Воля Акантова была сломлена. Мак-бенах!..

Плоть разрушается, а что касается души, то ее просто нет. Довольно иллюзий, мистицизма, слепой веры в Божие милосердие, молитв и земных поклонов; нужно просто стать на борьбу, приняться за холодную и расчетливую работу разрушения коммунизма. И работать, отбросив брезгливость, с масонами.

Спустя две недели после первого разговора с Пижуриним, Акантов, наставляемый Галгановым, Маневичем и Пижуриним, и за их поручительством, вошел в ближайшую масонскую ложу...

XXI

Знойное, душное и сырое, тропическое лето в Нью-Йорке сменила прекрасная осень. Океан заголубел, сизой дымкой покрылись широкие, мощные реки, по утрам золотыми казались башни небоскребов, Центральный парк Манхэттана убрался в пестрые краски осени. Стало легче дышать в городских шумных улицах. А потом стали налетать ледяные вихри, закрутили в воздухе сухие листья, понесли их резвыми бабочками по глубокому ущелью Пятого Авеню, засыпали тротуары... Почернел и оголился парк. Только вечнозеленые лавры и мирты, можжевельники и кипарисы, да стройные голубые ели, красивыми пятнами легли на сером кружеве кустов и деревьев.

Лиза встала утром, заглянула в окно. Все было бело. Крупные снежинки крутились в сиреновом небе, а в глубине улицы лежал мягкий покров белого снежного полога. За ночь стала зима. безшумно по снегу катили автомобили, оставляя за собою темный, вонючий след гари...

Наталья Петровна и Татуша пошли своей дорожкой. Против жизни не попрешь. Они мало работали в мастерской, и часто не ночевали дома. Наталья Петровна не в шутку собиралась выходить замуж за богатого мулата, владельца плантаций. Это было по-американски. Татуша, подсмеиваясь над матерью, говорила ей стихами Вертинского:

Иль, может быть, в притонах Сан-Франциско

Лиловый негр вам подает манто?..

— Мамуленька, милая, ничего, ведь, не попишешь! Так складывается наша судьба... Что-ж, надо принять жизнь такую, какою она дается. Такой век, и такова наша участь...

Татуша меняла любовников чуть не каждый месяц, и говорила, смеясь:

— Как перчатки!.. Джеймс — американский хам... Что может быть хуже! Я его не переношу. Я выгнала его в два счета. Сволочь, а не мужчина. У меня теперь, Лиза, прелестный полуеврей... Херувимчик. Иосиф Прекрасный... И глаза!.. Такие глаза бывают только на картинах... И богат!.. Свой автомобиль, своя дача; малютку приятно пощипать...

Целыми неделями Татуша не жила дома, разъезжая по Америке со своим любовником.

В такие одинокие ночи Лиза тщательно запиралась и пустыми кроватями заставляла двери. Она боялась спать одной. Она знала: она обречена на то же. И долго лежала она, не смыкая глаз, прислушиваясь к песне города, к гулу подземных машин, к шуму лифтов, к шагам в коридоре. Она думала о Февралевых. Как легко мать и дочь приняли жизнь такую, какою она сложилась. Мать пережила Великую и гражданскую войны; казалось бы, закалилась в борьбе, перенесла потерю мужа, и тут так скоро позабыла о всем. Татуша не знала настоящей любви, такой, какая горела в Лизе, и, может быть, потому так просто приняла совершившееся...

— Гадость, — говорила Татуша в те ночи, когда она бывала дома, присаживаясь на постель Лизы, — конечно, Лиза, гадость, но, ведь, это Америка!.. Тут так надо. Тут деньги все. Царство доллара. Но, посмотри, какие у меня платья, какие кольца и украшения!.. Вчера в театре фильм актер загляделся на меня, и я слышала, как он сказал: «Какая славная девочка... С таким телом можно обнаженной играть»... Лиза представляешь: я... на экране!.. обнаженная!.. Ты представляешь только это! Портниха Февралева, — какая мерзость!.. Татьяна Февралева — знаменитая стар;

чувствуешь, Лиза, музыку слов!.. Да еще, если бы у меня был такой голос, как у тебя... Весь мир любовался бы моим телом и слушал затаив дыхание, мое пение... Нет, Лиза... Не зря попали мы в Америку. Мы завоюем себе положение... Мужчины... Все они такие... Им ничего другого и не надо. Я, Лиза, научилась от жизни... Я жестокая, нахальная, грубая... Им это и надо. Я умею мужчину на колени поставить... Ты думаешь любовь?.. Как же!.. Держи карман шире!.. Какая там у них любовь... Распустят сопли и млеют... Лизочка, душка, ты еще невиненькая, ты этого не понимаешь... Я развратная... Я Русская, с Волги... Я знаю, как с ними нужно быть... У меня, гляди!.. Татуша доставала дорогую сумочку и, раскрыв ее, пересыпала на красивой белой руке, между пальцами с кроваво-красными крашеными ногтями, золотые доллары. Было что-то страшное в блеске золота на прекрасной руке...

— Я бумажек не беру. Плати золотом, сопливый черт! Хочешь, Лиза, я подарю тебе?.. Мне не жаль... Лиза отказывалась от денег.

Она не понимала такой жизни. Все ее невинное, чистое тело возмущалось этим... Обреченная!.. Нет, она не сдастся так. Она будет бороться. Ее не посмеют так продать. Она чувствовала, что и Сара понимала ее состояние. Лизу не трогали. Ее ценили, как мастерицу. Она работала в мастерской, где с ее Русским, более тонким, чем французским, вкусом, с ее Парижскими сноровками, она была ценным приобретением для мастерской, и ее облюбовали заказчицы дома Брухман.

Она жила изо дня в день. По вечерам, оставшись одна, она много читала, писала письма отцу, составляла пространное письмо-дневник Курту. На ее письма отцу не было ответов. Письмо Курту она пошлет после. Курт не знает ее Нью-Йоркского адреса. Никто из ее берлинских друзей не знает, что она в Америке, она не писала об этом и тете Маше. Курт не ответил Лизе на ее письмо из Парижа... Лиза гордая, пусть напишет ей в Париж, ей перешлют письмо, а там будет видно, пошлет ли она свой дневник, где все полно нежной любви к любимому...

XXII

В мастерской работали до поздней ночи. Заканчивали платье для какой-то очень важной особы. Примерку делали на Лизе. Она и повезет платье сейчас же, ночью. Заказчица два раза звонила по телефону. Ей нужно ехать на бал.

— Готовы, что ли? — сказала Сара. — Вы, Лиза, приберитесь хорошенько, вам там придется раздеться, снять пальто и примерять платье. Захватите с собою булавки и нитки с иглками, может быть, подшить что-нибудь придется...

— Где уж мне еще там шить?.. Одиннадцатый час! Я с ног валяюсь от усталости, — недовольным голосом сказала Лиза.

— Ш-шшш!.. Такой заказ! Вы сами, Лиза, почувствуете, какой это заказ. Вот, возьмите немного денег: туда берите такси, назад вернетесь в субвее...

Блестающий огнями, то потухающими, то разгорающимися, пестрыми и точно живыми, Нью-Йорк был сказочно красив. Лиза любовалась им через окно каретки, мчавшей ее по незнакомым улицам. Высокие, ярко освещенные вывесками и рекламами, небоскребы точно таяли розовыми вершинами в темном небе.

Бежали, мчались по мягкому снегу автомобили, и их черная суета по улицам волновала Лизу: «Куда, зачем они мчались?.. Кто сидит в них?.. Куда едет?.. Что совершается во всех этих домах?..».

Дух захватывало от сознания бьющейся кругом жизни миллионов людских существ.

Times-street, улица театров, кинематографов, кабаков и баров, дорогих ресторанов; такси промчалось по ней и свернуло в темную, тесную улочку. Карета остановилась. Шофер привычным жестом потянулся назад, открыл дверцу.

По лифту, Лиза поднялась на сороковой этаж. По-прежнему замирало сердце и захватывало дыхание у нее от быстрого полета машины. Лиза вошла в ярко освещенный коридор и отыскала указанный номер.

Толстый, пузатый, с короткими ногами американец, тот самый, еврей Самуил, которого видела Лиза сидящим на рабочем столе в мастерской у мисс Эдит, когда ее посылали в первый день ее работы у Сары Брухман, открыл двери.

— Мистрисс Кодрингам?.. — испуганно, с сильно бьющимся сердцем, спросила Лиза.

Самуил ослабился.

— Мистрисс Кодрингам, — ответил он, пропустил Лизу в прихожую и тщательно запер двери.

Лиза, с картонкой в руках, прошла в маленький салон:

— Мистрисс Кодрингам? — еще раз, уже настойчивей, сказала Лиза.

— О, да, — сказал пузатый человек, — пожалуйста сюда... Вас ожидают... Лиза пошла дальше. Спальня, и не женская спальня. Небрежно посланная широкая постель, круглый стол и на нем бутылки, графины, холодное мясо, апельсины, бананы, ананас... Самуил принял из рук Лизы картонку с платьем.

— Я давно вас ожидаю, мисс, — сказал он, пристально глядя через очки строгими и жадными глазами. — Садитесь, снимайте ваше пальто... Да и платье лучше бы снять... Давайте, выпьем для начала, что-нибудь... Вы умеете составлять коктейли?..

— О! Нет!.. Нет, что вы!?.

— Это целое искусство. И такая девочка, как вы, должна уметь это делать... Мужчины это любят... Я вам дам урок... И бесплатно...

— Я вижу, что я ошиблась адресом, — сказала Лиза, и взяла картонку. Самуил перегородил Лизе дорогу к двери:

— А, нет, милая девочка, — сказал он с холодной жестокостью, — ничуть вы не ошиблись. Сара Брухман вас именно ко мне и послала. Я купил вас, милая девочка, и на сегодня вы — моя, а там дальше это уже будет от вас зависеть, как пойдет у нас дело...

Глаза Лизы налились ужасом. Она выронила картонку из рук:

— Ка-ак!?. — душным криком вырвалось из ее горла. Самуил стоял против нее и говорил спокойно:

— Будем благоразумны, милая девочка. Оценим положение. Что вы можете предпринять, вы, Русская беженка? Без прав, без Родины, без паспорта?.. Идите жаловаться: вас в двадцать четыре секунды посадят и тюрьму за безпаспортность... Поднимете шум. Вы не знаете силу Брухман и Нью-Йоркского еврейства. Советую вам быть просто благоразумной. Я вам не нравлюсь; очень может быть. Верю и этому. Но факт есть факт. Тут есть несколько бутылок, а у меня найдется и кокаин, а под ним и сам дьявол покажется вам ангелом...

— Пустите меня, — прохрипела Лиза, и подалась к двери. Самуил схватил Лизу за руки:

— Оставьте ваш характер, — говорил он, крепко держа Лизины руки. — Я повторяю вам: я вас купил. За вас заплачено Саре. Я и вам что-нибудь подарю. То платье, что вы принесли, — ваше... Мы поедем потом танцевать... Ваша игра кончена, вам остается смириться, сесть со мною за стол и пировать: ночь наша...

Лиза плечом навалилась на насильника и старалась оттеснить его от двери. Самуил был сильнее Лизы, но Лиза была ловче и гибче американца, и между ними началась безмолвная борьба.

Тяжелое, отвратительное, вонючее дыхание отравляло Лизу; у нее темнело в глазах. Лиза видела, как сквозь стекла очков загорались страстью глаза Самуила, и поняла, что пропала. Силы оставили ее. Самуил воспользовался этим и повлек ее к постели. Но Лиза сейчас же овладела собою. Берлинские уроки спорта помогли ей. Она подставила подножку Самуилу, и оба они тяжело рухнули на пол...

Самуил лежал на Лизе и, крепко сжимая ее руки и прижимая их к полу, слюнявым ртом покрывал Лизины щеки жадными, страстными поцелуями. Лиза теряла сознание. Ее сопротивление слабо, и этим воспользовался Самуил и на мгновение отпустил руку Лизы. Как стальная пружина, ощутив и себе внезапный приток сил, Лиза выскользнула из-под Самуила, вскочила на ноги, впилась зубами в руку насильника и заставила освободить себя. Она кинулась к двери.

Самуил настиг Лизу в прихожей, и с силой ударил по лицу. Кровь потекла из виска; Лиза, взмахнув рукой, сбила очки с Самуила, и, пока тот растерянно заморгал глазами, она открыла дверь и выскочила в коридор.

Лифт только что промчался вниз. Нечего было и думать ожидать следующего. Лиза побежала к лестнице. Ее башмаки отбивали яростную «четку» по ступеням. Она пробежала пять этажей и остановилась. Она слышала, как над нею лифт принял Самуила. С замиранием сердца Лиза ждала, что будет дальше. Лифт промчался вниз. Лиза думала: Самуил будет ожидать ее внизу, не дождется и вернется. Она медленно стала спускаться с лестницы.

Когда она достигла нижнего этажа, ее ноги ныли от боли и колени дрожали от усталости. На улице было темно. Лиза несмело и осторожно вышла с крыльца.

— Вот она!.. Лови ее, держи! — раздался крик совсем подле.

Самуил успел за это время найти нескольких негров и с ними бросился к Лизе.

Лиза помчалась, что было духа, по скользкой мостовой. Самуил и негры побежали за ней.

XXIII

Маленькая улочка была точно узкое ущелье между высоких гор. Впереди сияла огнями большая, ярко освещенная улица. В пестрой огневой игре вспыхивали и погасали вывески, крутились колеса из огней, медленно разворачивались целые огневые картины. Там был уже негритянский квартал. Не отдавая себе отчета в том, куда бежит она, как бабочка летит на огонь, Лиза бежала на эту горящую огнями большую улицу.

Был тот ночной час, когда полным ходом идут представления в театрах, кинематографах и варьете, и когда бары полны до отказа. Мороз загнал гуляк в кабаки и театры.

Лиза бежала, и чувствовала, что негры ее настигают. - Help!... Help!... - кричала она в отчаянии (* - Спасите! Спасите!).

Дверь в одном из баров была открыта настежь. Пар клубился в ее отверстиях. Оттуда было слышно, как играло пианино и сладкий тенор пел:

This must be love for I don't feel so well

These sobs – these sorrows – these sighs

Так хорошо знала Лиза эту песенку, и так не отвечала она тому, что происходило теперь с нею. Она приостановилась и заглянула в бар. Гуляки сидели, кто на высоких стульях подле стойки, кто за столиками, Много было негров, и до тошноты сладкий тенор мягко выговаривал слова куплета: This must be love. Here comes that dizzy spell...

My head is in the skies... (*-Это, должно быть, любовь, потому что я себя чувствую не так хорошо. Это рыдание, эта печаль, эти вздохи! Это, должно быть, любовь. Тут находит это ошеломляющее очарование. Голова моя в небесах.)

Это пение показалось Лизе ужасным. Тут не могло быть спасения. Лизу увидели. Кто-то высунулся из двери, посмотрел на растерянную девушку, на негров, настигавших ее, и захлопнул двери.

Обыкновенная здесь ночная сцена. Стоит ли обращать внимание на пьяную, вероятно, сдуревшую от хмеля, женщину, со сбитой с головы шляпкой и распущенными волосами.

Лиза снова бросилась бежать. Но ее остановка была роковой для нее.

Негр схватил Лизу за край ее кофточки, но она успела быстро разстегнуть пуговицы: кофта осталась в руках у негра, а Лиза, в полуразорванном платье, бежала дальше. Последние силы ее покидали. И снова была открытая дверь. Оттуда неслись громкие, смелые, уверенные голоса. Лиза, все забыв, не отдавая себе отчета, почему она так делает, закричала по-Русски:

– Спасите!.. Спа-а-сите!.. – и грохнулась на панель в изнеможении. Сквозь охватившее ее полусознание, она услышала топот ног, крики, ругань: по-Русски и по-английски. На улице шла свалка. Здоровые, рослые люди в высоких сапогах, и, точно, будто Русские, навалились на негров.

Лиза приподнялась с панели и села. Все показалось ей чудом. Все было невероятно. Пронзительно визжа, пробежал мимо Лизы Самуил. Негры, теснимые людьми в высоких сапогах, отходили. Свалка прекратилась, и на улице стало тихо. Открывшиеся, было, двери соседних баров закрылись. Обычная в здешнем квартале, история окончилась победой одной стороны и поражением другой: так всегда бывает. Хорошо, что все обошлось без полиции.

Лиза встала. Она дрожала от страха, волнения и холода. В изорванном платье, с залитым кровью лицом, стояла она, прижавшись к холодной и сырой стене дома. К ней подходили те люди, кто спас ее.

Тыльной стороной ладони, Лиза протерла глаза.

– Один из них подошел к Лизе и накинул на ее плечи тяжелое и теплое драповое пальто:

– Вы Русская? - спросил он.

– Да.

– Что случилось, сударыня?.. Вопросом ответила Лиза на вопрос:

– Кто вы такие?..

– Мы – казаки.

– Казаки?.. В Америке!.. – Лизе показалось, что она ослышалась, – Какие казаки?..
– Донские.
– Донские казаки в Нью-Йорке?.. Невероятно...
– Невероятно, но, как говорится, факт...
Другой, молодой, худощавый, очень красивый, с тонкими, породистыми чертами лица, сказал:
– Мы казаки Жаровского хора. Может быть, когда-нибудь вы слышали нас...
– Жаровского хора?.. Да, я слышала вас в позапрошлом году, осенью, в Берлине...
– Ну, вот что, – вмешался в разговор седой, полный, крепкий человек с добрыми серыми глазами.
– Разговаривать здесь не приходится. Позвольте, мы доставим вас домой.
– Домой... – растерянно сказала Лиза. – Домой? – повторила она. – Да, конечно... Дом... Нет... Мне нельзя домой. Мне страшно вернуться туда...
Там опасность...
– Пойдемте, сударыня, возьмем такси, – сказал тот, кто дал Лизе свое пальто. – Дорогой вы нам объясните ваше положение, и мы что-нибудь придумаем...
– Конечно, – сказал седой человек. – Ты, Иван Митрофанович, да вот Гавриил Семенович, проводите барышню.
Толпою пошли к площади. Лиза постепенно оправлялась от испуга. Она поняла, что ее вряд ли принимают за приличную девушку, и она поспешила представиться:
– Я дочь генерала Акантова. Я здесь работаю... Но домой мне ехать страшно. Я боюсь, что тот человек, который меня преследовал, позвонит по телефону моей хозяйке, и она снова заберет меня и отдаст ему. У хозяйки и паспорт мой, и деньги...
Лиза остановилась. Человек десять провожало ее. Она повернулась к ним. Все Русские люди, и первый раз поняла Лиза, что Русские – так это же ее родные, и им можно все сказать!.. И она сказала прерывающимся от волнения голосом:
– Мне, господа, бежать нужно. Вовсе бежать из Нью-Йорка нужно. Как я могу тут оставаться?.. Вы уйдете, и кто за меня тогда заступится?..
Тот, кто подал ей пальто, заговорил с Лизой тихо и серьезно:
– Вы говорите, сударыня, что слушали нас в Берлине. Вы жили в Германии?..
– Да.
– У вас там, может быть, есть родные, знакомые? Вы говорите по-немецки?
– О, да. Я выросла и училась в Германии, в Берлине.
– Вы говорите: бежать вам отсюда надо. Хозяйка вас притесняет?..
– Вы понимаете, я шила там... – Лиза не хотела сказать, что она – портниха. Ей казалось, что это не отвечает тому, что она дочь генерала... Я шила... И хозяйка – еврейка... Оказалось, что она... она... нас, мастериц, продавала... Она хотела и меня продать...
– Еврейка... Дело обыкновенное.
– Н-да-а... Ис-с-стория!..
– Бежать?.. Ну, куда я побегу?.. И паспорт, и деньги у хозяйки. Она мне, вот, и всего-то денег дала, что на subway...
Казаки обступили Лизу кругом. Раздались голоса:
– Помочь барышне надо...
– Видно, что правду говорит.
– По всему отлично видно, что не такая она...
– И, правда, что генеральская дочь...
– Беженская история. И без паспорта. Как же быть-то?
– Это уладить можно. Очень даже просто, что уладим... Сергею Алексеевичу сказать. Он капитана уломает...
– Всем хором пойдем, попросим. Капитан всегда нам всякое уважение делает. Который год на их пароходе ходим...
– Всех нас знает.
– Поручимся за нее.
– Бедная. И личико в крови. И смелая, видно...
– Можно и этого, матроса, попросить...
– Славный парнишка...

– Он не матрос, а вроде боцмана.

– Контромэтр...

– И тоже из Берлина...

На улице, на казачьем кругу, решалась судьба Лизы. Лиза поверила кругу, и доверилась этим людям, смело взявшимся за нее.

– Так вот, сударыня: Иван Митрофанович и Гаврил Семенович, люди они здоровые и сильные, в обиду вас никак не дадут, они отвезут вас домой, вы заберете ваши манатки, пребудете до утра, они вас и покараулят, чтобы чего с вами не случилось, а утречком привезут вас к нам на пароход. Послезавтра пароход идет в Германию. На пароходе, это уже будет немецкая территория, и вас там никто тронуть не посмеет.

– А деньги?..

– Дело простое. Соберем вам, что нужно. Поможем. А там, раз вы жили в Германии и учились там, устроим...

В этом казачьем, Русском, кругу отогревалось сердце Лизы от холода Парижской и Нью-Йоркской жизни... Тут впервые почувствовала она, что, может быть, она и ошиблась, и что у нее не только есть Родина, но есть и Отечество...

Лизу усадили в каретку, двое сели с нею, и она поехала на свою квартиру.

Когда поднялись по лифту к комнате Февралевых, Лиза остановилась. Как быть с провожавшими ее казаками?

– Мне, господа, переодеться надо, – сказала Лиза, показывая свое разорванное платье. – И страшно. Если хозяйка уже знает, она придет. Она гут же, в этом этаже живет...

– А вы не беспокойтесь. Мы вас тут, в коридоре, покараулим.

– Ну, как же?.. Тут и нет ничего.

– А пол есть?.. Народ мы военный и кочевой, и не то еще видали. Ляжем на полу, так посидим, а к вам никого не пустим.

– Боже мой... Спасибо!.. Я сейчас буду готова...

– А для чего вам торопиться? Ночь еще долгая. Отдохните спокойно. Раньше утра на пароход все равно нельзя. А там, тем временем, наши все вам и устроят...

Лиза пожала руки своим спасителям, и вошла в комнату Февралевых.

XXIV

Как то и знала Лиза, Натальи Петровны и Татуши не было дома. Лиза смыла с лица кровь, отмыла поцарапанные руки. Все – пустяки: легкие ссадины. Припудрить лицо, и ничего видно не будет... Лиза сразу надела свое простое дорожное платье, и стала укладывать в чемоданы пожитки, башмаки, белье, те бедные мелочи, которые привезла из Германии... Она достала и бережно положила на дно чемодана «Пасхального Баварского зайца», давнишний подарок еще юноши Курта...] Уложила, бережно, точно живой был заяц, накрыла его своими рубашками, и, как сидела на коленях над чемоданом, задумалась:

«Вот и кончен еще этап жизни... И как неудачно!.. Это и есть жизнь?.. В Германию?.. Нет... В Германию она не поедет... Там – Курт. Тот Курт, который не ответил на ее письмо из Парижа... Она не хочет быть там, где Курт., Зачем? Очевидно, что все кончено. Она гордая. Ее просто доставят в Европу, и она поедет к отцу. Она рассчитается с ними за их издержки. Можно снова и паспорт устроить... Но не в Германию... К тете Маше нельзя. Тетя Маша? Это смешно, но она ревнует меня... Нет... Нет... Не в Германию...».

Лиза поднялась с колен, окончила укладку, закрыла чемоданы. Хоть сейчас и ехать... Она прилегла на постель, как была, одетая, но заснуть не могла. Ее смущало, что за дверью из-за нее не спят эти чужие добрые люди. И волновало, как выйдет она завтра, а вдруг Брухман уже все знает, ей позвонили по телефону, и вот-вот она явится сюда с полицией... А вся полиция в руках евреев... Страшил наступающий день.

Иногда Лиза закрывает глаза. Шумит в ушах от пережитого волнения, от усталости, и будто со стороны слышит милую песню:

Markische Heide, Markische Sand
Sind des Markers Freude,
Sind sein Heimatland

Точно видит сквозь закрытые глаза: леса Груневальда, зеленоватую синеву озер и Гавеля, кудрявые дубы и липы садов, сбегающие с крутых зеленых холмов в изумрудную раму молодых камышей над озером... Там – Родина...

Вдруг очнется и долго в ужасе смотрит широко раскрытыми глазами на ярко освещенные лампой стену и потолок. О, как страшно станет!.. Казаки ушли. Она одна. Ведь, все это могли быть одни слова. За кого ее приняли? За уличную девку-скандалистку!..

И тогда прислушивалась с сильно бьющимся сердцем. За дверью в пол голоса переговариваются казаки... Родные!.. Родные. Что будет завтра?..

Так незаметно наступило, пришло – завтра. Желтые солнечные лучи скользили по верхам небоскребов. Мутный свет входил в комнату Лизы, и ненужным становился свет электрической лампы...

В Берлинском леопардовом пальто и в такой же шапочке, Лиза вышла в коридор.

– Вот и отлично, – сказал один из казаков, – У моей жены точно такое же пальто... Вас и на пароходе сразу признают за Берлинскую жительницу...

Казаки забрали вещи Лизы, и все поехали на пристань. Как все показалось Лизе там манящим и милым, а все было буднично и обыкновенно. Покрытые снегом пакгаузы, запах снега, мороза, каменного угля, и океана в утреннем свете, все было просто и скучно, но манило, манило, манило Лизу в путь-дорогу... На Родину!..

Казаки ожидали Лизу на пароходе. С ними был... Игорь...

Он был великолепен, в синей куртке с золотыми пуговицами, в матросской белой шапке. Он вырос и возмужал. И чем-то напомнил он Лизе Курта. Шириной плеч, морским загаром приветливого лица. Только у Курта были волосы светлые, у Игоря темные кудри завитками выбивались из-под околыша шапки. И Курт был «шляпа», Игорь был полон предприимчивости и силы.

Еще не зная, кто такая эта странная девушка, которая назвалась дочерью генерала Акантова, Игорь и казаки Жарова все устроили для нее. Они поручились за нее. Они уже звонили по телефону Германскому консулу, и Лизе были обещаны нужные бумаги...

Смущенная, пораженная, – ведь, это нужно было верить в чудо, – Лиза протянула обе руки Игорю:

– Как все это необыкновенно, Игорь...

– Вся наша жизнь необыкновенна... Почему ты не писала никому, из нас, что ты в Америке?.. Я столько раз за это время был в Нью-Йорке... И ничего с тобою не было бы. О! какая ты Лиза гордая!.. И злая!.. И что случилось?.. Мне казаки рассказывали нечто ужасное...

– Не брани меня, Игорь. Могло быть ужасное, но ничего не было. Да, я не хорошо с вами поступила, что не писала вам, но ты же знаешь всю мою историю... И мне трудно было выбиться на дорогу, без Родины, без права...

– Пойдем в каюту... расскажи мне все... Обсудим вместе, что будем дальше делать?..

– Бог спас меня... Бог послал мне казаков, и тебя, Игорь... И, мне кажется, что и точно Бог есть...

Лиза подошла к стоявшим в стороне казакам. Она протянула им обе руки и сказала взволнованно:

– Спасибо вам, родные!.. Если бы не вы, может быть, я и живую вчера не ушла бы из этого сумасшедшего дома.

И, чего никогда раньше не бывало с гордой Лизой, слезы показались на ее огромных прекрасных глазах... Она застыдилась их, и, быстро обернувшись к Игорю, сказала:

– Ну, идем, Игорь, я все, все тебе расскажу...

XXV

Лиза кончила длинную повесть о том, как она жила после отъезда из Германии. Она допила залпом, не отрываясь, поданный ей и уже простывший кофе, и сказала тихим, печальным голосом:

– Вот это и все, милый Игорь... Написать, пойти с жалобами – никто и не поверит... Как это можно так, в двадцатом век, в Париже, в Нью-Йорке, продать в рабство девушку?.. Дикари?.. Нет, здесь, Игорь, хуже всяких дикарей... Тут – жида, и им девушка-христианка – все равно, что собака... Ты сам видишь, оставаться здесь, искать права защиты, мне, безправной?.. Где искать это право?.. На стороне Сары Брухман – ложь. Такая ложь, какой мы себе и представить не можем, но ложь,

которой все поверят; у нее всюду свои люди, она и до самого президента дойдет, ее пустят. Она – американка... Больше того: она – еврейка!.. Я была в синагоге случайно, дождь загнал, так я знаю их силу... У меня жуткая правда, которой им невыгодно верить, и они не поверят мне, а поверят ей, я же окажусь и виноватой. Тут – нравственность... О!.. В Америке-то!.. Такое лицемерие, как нигде в мире... Так, вот, что же ты, мудрый Русский Игорь, присоветуешь мне делать?..

– Alles ist erledigt (*- Все устроено). Я переговорил с капитаном парохода. Казаки подтвердили мои показания и поручились за тебя. Капитан берет тебя, консулу звонили, и он, в виду твоего особого положения, пришлет сюда человека, чтобы составить тебе временный документ. А в Германии у тебя столько друзей, что тебя там примут с распростертыми объятиями и устроят твою жизнь... Не думай об этом. Мы поедем прямо в Берлин...

– Нет, – тихо сказала Лиза, рукою касаясь руки Игоря. – Нет, Игорь, я не могу ехать в Берлин... Я не хочу туда ехать. Ты понимаешь. Очень это мне будет мучительно.

Густой румянец залил лицо Лизы. Темные ресницы закрыли глаза.

Игорь ответил, и так несказанно тепел и волнующ был его голос, что Лиза постепенно поднимала на него глаза и смотрела, как, волнуясь, но в то же время осторожно и нежно, коснулся Игорь самого больного места ее души... И Лиза поняла: это говорит не соперник, не давно влюбленный в нее человек, но друг. Не жлет Игорь. Знает Лиза, что Игорь никогда не лгал, не умеет он лгать.

– Лиза, ты думаешь о Курте?.. Забудь его... Курта нет...

– Он умер?.. С ним что-нибудь случилось?.. Он женился, он полюбил другую?.. О, говори скорее, Игорь, не мучь меня.

– Нет, Лиза, Курт жив и здоров. Он не женился и, кажется, и не собирается жениться. Более того: я думаю, что он верен своей юношеской любви, то есть верен тебе, но он никогда на тебе не женится. Ты не знаешь Курта. Он стал убежденнейшим расистом. Он работает теперь на аэропланном заводе, где делают самые секретные части новых аппаратов. Ты знаешь Курта, и знаешь, что для него Третий Рейх... Перед последним рейсом, мы виделись с ним и говорили о тебе...

– Обо мне!..

– Он говорил о тебе с большой, искренней любовью. С обожанием... И он сказал мне: «ты понимаешь, Игорь, что нужна жертва, и я готов на жертву. Я проверил себя: я люблю Лизхен, но я не могу на ней жениться, и я, вероятно, вообще никогда не женюсь. И, если я женюсь, то на немке. Этого требует чистота расы. Я больше всего, и только, люблю Германию и партию. И я должен для них пожертвовать своим личным чувством»... Так, вот... мы считали Курта «шляпой», а он оказался сильнее нас всех...

Наступило молчание. Игорь сидел у открытого иллюминатора и смотрел на воду. Холодный воздух шел от реки. Чуть слышно плескали волны о высокие борта парохода... Игорь понимал, что нанес любимой девушке смертельный удар. Но это было нужно: решалась ее судьба, и, может быть, и его судьба решалась в эти скорбные минуты.

Едва слышно сказала Лиза:

– Я поеду во Францию. У меня есть долг перед моим престарелым отцом. Я должна ему помогать.

– Но, разве, Лиза, ты не знаешь?.. Ты не слыхала?.. Не читала?.. Твой отец...

В дверь постучали. От консула приехал чиновник, и Лизу требовали наверх, чтобы допросить ее и чтобы она заполнила особый опросный лист. Выходя из каюты, Лиза обернулась к Игорю и сказала с тревогой:

– Так что же мой отец?..

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Началось это у Акантова с Пасхи. Под Светлый Праздник Акантов пошел к Заутрене в церковь. Пошел больше по привычке. У него не было влечения молиться. За годы войны и смуты, за страшные эмигрантские рабочие годы незаметно отошел он от церкви. То некогда было, то чувствовал себя усталым, то не хотелось быть на людях. Церковь из потребности веры перешла понемногу в быт. Ходил, чтобы вспомнить прошлое, чтобы крепче почувствовать праздники.

Была прохладная ночь. Когда Акантов подходил к церкви, вся она, и наверху, и внизу, всеми узкими многостекольными окнами, блистала огнями, и толпы народа наполняли ее двор и стояли на узкой улице у церковной ограды. Деревья подле церкви на дворе набухли почками, и от них и от земли шел сладкий аромат: весною пахло.

У входа и у ворот торговали свечами. Акантов не стал пытаться войти в храм и остался в притворе, в людской толчее. Через головы людей, ему было видно, как осветился храм блистающими огоньками, как эти огоньки вдруг разлили теплый розоватый свет на лица молящихся, как стали загораться свечи и по всему двору в руках у тех, кто остался там, и как зашевелилась толпа.

До него донесся возглас священника, потом чтение, потом мерное, торжественное пение; толпа колыхнулась, раздалась на обе стороны, и крестный ход, блистая золотом священнических облачений и митр, колышась хоругвями и сверкая иконами, стал выходить на двор.

Он обошел двор, и... вот оно! Сначала издали ликующее, радостью налитое, торжествующее самую блестящую и великую победу: победу над смертью и дьяволом, дарующую вечную жизнь, – раздалось пение прекрасного хора.

– Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав...

Истомленные жизнью, усталые от работы, истосковавшие от безконечного ожидания Родины, больные от недоплаты, от непосильного, не по возрасту и привычкам, труда, лица светлели. Потухшие глаза загорались радостными огнями, и счастье веры излучалось из них.

Неслось с амвона, чаруя душу, восхищая и умиляя сердце звуками совершившейся победы:

– Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его!.. Яко исчезает дым, да исчезнут!.. Яко тает воск от лица огня...

И, на всякое слово победы над адом, гремел, гудел, вливался в душу и умилял ее ангельскими голосами ликующий хор:

– Христос воскрес из мертвых...

Сколько себя помнил Акантов, с самых ранних лет в эти мгновения на него точно изливалась с самого неба благодать, сползало бремя лет и житейских забот, и радостно, весело и легко становилось на сердце. В эти пасхальные ночи никогда не чувствовал он усталости, и под звуки этого пения всегда, и раньше, в России, и потом здесь, в Париже, увлажненными, добрыми глазами смотрел он на окружающих, отыскивал знакомых и старых сослуживцев, и с радостью подходил к доктору Баклагину, к Чукарину, к Мише Безхлебнову, генералу Атаренко, и с убежденною верою говорил: «Христос воскрес!»...

Теперь – ничего этого не было. Мимо него, не касаясь его легкими, ангельскими крылами, шла пасхальная заутреня. Точно не слышал он прекрасного пения, и не сливался, как раньше, с радостным волнением молящейся толпы.

Только усталость была в теле. Неудобно было стоять в толпе, (орящие вокруг свечи раздражали. А когда наступил перерыв в службе, и толпа зашевелилась, закопошилась, как раки в берестяной кошелке, люди задвигались и раздалась радостные голоса:

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес!

Сочные поцелуи закрепляли великое значение сказанного, – Акантов с тоской стал оглядываться. Он боялся увидеть кого-нибудь из знакомых, боялся, что к нему подойдет кто-нибудь, и нужно будет христосоваться. Ему стыдно стало этой общей радости, ликования глубокой, искренней веры. Он боязливо оглянулся и осторожно стал спускаться с крутой каменной лестницы.

На дворе к нему подошел сияющий генерал Атаренко:

– Христос воскрес!.. – и, не дожидаясь ответа Акантова, Атаренко, со щеки на щеку расцеловался.

– Впрочем, – вдруг нахмурясь, сказал негромко, но значительно и строго, Атаренко, – может быть, вы, Егор Иванович, не христосуетесь?.. Я слышал... Вы *ма-со-ном* стали!.. Никак не хочу этому верить...

Вот с этого и началось. Раньше Акантов, усталый за день, *наслушавшись советского радио*, рано ложился в постель, немного читал газету или книгу, и сейчас же засыпал, и спал крепким, солдатским сном.

Со Светлого Воскресенья на Понедельник он лег, прочитал два пасхальных рассказа в газете, выругал, по привычке, авторов, что пишут всякую ерунду, плотно закутался в одеяло, и, как всегда, сейчас же заснул.

Сколько времени он спал, Акантов не знал. Но, должно быть, не долго. За белой занавесью глухая стояла ночь. Не уgomонившийся Париж шумел в отдалении. Значит, было около полуночи. Акантов услышал сначала тихий и, вместе с тем, пронзительный свист: «С-с-с!». И сейчас же кто-то в ухо сказал негромко: «Мак-бенах...». Сказал гортанным, нечетким голосом, как говорят евреи.

Акантов лежал на спине, вытянувшись по диагонали на короткой койке. Глаза его были закрыты, и, как это и бывает во сне, он не ощущал ни своих рук, ни ног, ни вообще тела: тело его спало... Не спал только мозг.

Он лежал на спине, и перед ним был, значит, потолок, и глаза его были закрыты, а Акантов, между тем, видел совершенно отчетливо спрятанные и тщательно завернутые в тонкую белую бумагу, лежащие в углу комнаты, в ивовой корзине, еще из России привезенной: белый полукруглый кожаный фартук, украшенный золотой масонской звездой, серебряную, неполированную лопаточку, молоток и пару белых мужских рукавиц...

Эти знаки масонского достоинства, и не малого градуса, в который Акантов был возведен перед Пасхой, точно излучали таинственный свет и были видимы незрячими глазами, через стены корзины и бумагу.

Акантов боялся пошевелиться и открыть глаза. Он лежал, и вся его жизнь развертывалась перед ним, как лента кинематографа.

Он лежал, не шевелясь, тихо, тихо, застыв в смертельном испуге. Он не только видел, но и обонял, свои знаки масонства. От них шел сладковатый, пресный, удушающий трупный запах.

Он вспоминал честное лицо генерала Атаренко, который его хорошо знал, и кого так всегда уважал Акантов, и как сказал тот на заутрени: «вы масоном стали, никак не могу этому поверить»...

В эти ночные часы годы детства и юности проносились перед ним. Корпус и училище. Ни одного взыскания, ни одного часа, проведенного в карцере. Лихой кадет, бравый, «отчетливый» юнкер Акантов. Служба, сначала в Туркестане, потом на Волге. Скромно, бедно, порою скучновато, иногда и тоскливо и тяжело, но как честно служил офицер Акантов. С достоинством относился он к своим обязанностям. Умел внушить разноплеменным, разноязычным, со всей России пришедшим в полк, солдатам любовь к Отечеству, почитание Царя и веру Христову. Приходили дикие, дремучие мужики, разбитные пропойцы рабочие, городской пролетариат, запуганные, растерянные туземцы; уходили лихие стрелки, запасные солдаты...

Он пожал плоды своих трудов в первые годы войны. Без неудач, без поражений дрался его стрелковый полк, и слава и честь были с ним.

Это отошло, отодвинулось, изменилось в тот день, когда Государь отрекся, и не стало Царя на Руси, не стало и царя в голове Русского. Все зашаталось тогда, и, вместо общего, духовного, стало искать только своего, земного: «Дай!.. Даешь!..».

Он вспоминал и годы Белой борьбы, когда шагал он, с винтовкой на плече, рядовым, а ротой командовал прапорщик. Вспоминал, как создавал заново свой полк, отнимая для солдат белье, шапки и сапоги от населения... Вспомнил и страшные дни их отступления, когда гибли храбрые, спасая трусов. Вспомнил и то, как пьяная казачья конница рубила детей его двенадцатой роты, как застрелился его ротный командир, и как кавказский офицер в пьяном разгуле срубил голову безоружному жидочку заподозренному в коммунизме, и как появилась, на его жизненном пути певица Могилевская, и как убит был доблестный командир батареи Белоцерковский... Все вспомнил: и свадьбы на две недели, и вдов, не знающих, куда девать свое молодое вдовство, и лютую удадь людей, которым нечего было терять, ибо все было уже потеряно. Война вышла из законных норм. Честь и благородство отошли: требовалась только храбрость... И пришла тогда жестокость: «как они, так будем и мы». Новая правда» пришла в жизнь, и начались бессудные расстрелы пленных, казни коммунистов, грабеж населения. И стала эта «правда» похожей на ложь... Разрознены семьи. Родина брошена. Ушли на чужбину, в небытие... Да... Пожалуй, Лиза

накануне отъезда сказала ему горькую правду, и не он учил дочь, но дочь научила его. Все ушло. Ушла и Лиза... Ничего у него не осталось, и пришло вместо всего этого – масонство. Обман.., Ложь... Что же дальше, дальше-то что будет? – Мак-бенах!..

Как нестерпимо жутко было ощущать свое спящее тело и бодрствующий, тревожно думающей, вспоминающий мозг...

Пижурин сказал... Да, так оно и будет: тело будет гнить, а мозг будет отмечать распадение каждой частички тела...

С трепетом осознал пришедшую к нему старость и ее бессилие... Не от нее ли пошел в масоны, ища правду?.. И нашел – *ложь!*..

III

Каждую ночь – тихий, вкрадчивый, едкий свист: «С-с-с!» – и *повелительный* голос: – Мак-бенах!.. Тело неподвижно, тело спит. Мозг бодрствует. Через закрытые глаза отчетливо видны масонские знаки в корзине. Это совесть напоминает о подчинении некой таинственной силе. Совесть не знает лжи и не хочет ложь признать за правду. В полусознании одуряет запах мертвечины, трупа, идущий от белой кожи передника и рукавиц. И, кажется, что это уже его собственное тело начало гнить.

Совсем недавно было большое масонское собрание. Были собраны братья разных лож, были допущены и «профаны». Один из руководителей великой Ложы Франции читал доклад об угнетении свободы духа.

Акантов слушал пламенную, захватывающую, сильную речь, произнесенную по всем правилам ораторского искусства. Оратор нарисовал яркую картину насилия духа, кровавых преступлений, совершенных после войны в Западной Европе.

Маститый венерабль вспомнил всех тех, кто был угнетен. Сытое лицо его лоснилось от возмущения, на круглый живот спускался белый кожаный овальный передник, и золотая звезда на нем, знак разума и знания, излучала свет.

Эти «разум и знание» говорили братьям масонам о казнях в Испании «палача» Примо де Ривера... Но умалчивали о том, что во время начавшейся тогда гражданской войны тысячами истребляли самым жестоким образом монахинь и священников, епископов и верующих мирян... Они не говорили о разоренных и сожженных храмах и монастырях.

«Разум и знание» с масонской звезды упрекали Клемансо за то, что тот, во время войны, предал суду Кайр и Мальви: «какое удушение духа и свободы слова!»...

«Разум и знание» возмущались фашистами Муссолини за то, что те вливали касторовое масло в глотку своим левым противникам...

Венерабль громил всех тех, кто восставал против демократии и коммунизма. Он называл людей порядка, закона и справедливости «жестокими ретроgrадами»...

На этом собрании был Русский брат, «профан»... Он послал венерабля записку с рядом вопросов. Он, как то должно было сделать Русскому, спросил венерабля, почему тот, громя фашистов и Примо де Ривера, громя правительства, добивающиеся порядка и возможности для каждого честного труда, *ни слова не сказал* о том, что делается в России?.. Почему не упомянул о тысячах епископов, священников и монахов, замученных только за свободное исповедание своей веры в Бога, о миллионах солдат, офицеров, крестьян и рабочих, разстрелянных, умученных голодом и непосильными работами в концентрационных лагерях на крайнем севере? Почему не упомянул он имен Ленина и Сталина, неистовствующих в России, имя Бела Куна, поработителя Венгрии, залившего ее кровью невинных жертв?.. Вопрос был острый и простой. В эти дни страшная сущность большевизма была раскрыта во всем ее безобразии, и не было тайны в том, что творилось коммунистами во всем свете.

Венерабль прочитал записку, и, сойдя с подиума, блистая масонским передником, со звездой на круглом животе, направился к Русскому брату-профану:

– Et bien, mon ami (*- Итак, брат мой), – сказал венерабль, покровительственно кладя руку на плечо профана. Венерабль был выше ростом профана, толще, надутее и важнее. Он всем своим видом показывал свое превосходство над профаном. Его голос был важен и не допускал ни критики, ни возражений. – Ame slave! В вас говорит ваша ame slave, славянская душа, полная гуманного мистицизма. Это все воображение, вера в преувеличенные слухи, никак и ничем не

проверенные и не подтвержденные официально. Ведь, во всем том, что вы мне написали, нужны доказательства. Циркуль и треугольник масонского исследования должны раньше все это измерить и исследовать. Да... Мне и другие Русские братья говорили об этом явлении... Но... Где же доказательства?.. Где документы?.. Разве есть о том официальные донесения послов и консулов, разве были запросы о том в Палате депутатов или Английском парламенте?.. Этого ничего не было, и то, о чем вы мне написали, так трудно проверить!..

Акантов стоял тогда подле брата-профана. Его голова горела от стыда. «Что же это», – думал он, – «я пошел в масоны, чтобы спасти Россию от большевиков, а, оказывается, что сами масоны заодно с большевиками, они покрывают их преступления и жестокости»...

Безсонный мозг работал. Все оказывается ложь. Все та же *наглая жидовская ложь!*

Да как же он сам-то не понимал этого? Где истина? Истина в Евангелии, истина в Христе. А масонство против Христа и против Бога. И надо уйти из масонства... Уйти!..

Но, как уйти?.. На обнаженном мече и Библии клялся он. Если изменить этой клятве, душа предается вечному проклятию, а тело – смерти...

Душа предается вечному проклятию... Но, ведь, это ложь... Ложь!.. Души же нет! Есть только тело, а тело?..

– Мак-бенах!..

IV

Эти безсонные ночи истомили и иссушили Акантова. Это была тяжелая болезнь духа. Акантов сказал доктору Баклагину о бессоннице, но утаил о ее причинах.

– Гуляйте больше... Принимайте бром... Ваши годы... Прошое недоедание и переутомление сказываются. Что вам? За шестьдесят?..

– Нет, еще нет шестидесяти.

– Да, конечно, что и говорить: не жизнь, а существование... Стареем поэтому рано... Ходите из банка пешком. Теперь весна. Так хорошо в Париже...

Акантов шел из банка пешком. На площади густо распушились деревья. Сена голубела на солнце и текла в зеленой раме ив. Парижские дали стыдливо прикрылись сизой дымкой тумана. Весел был шум автомобилей. Пехотным, стрелковым шагом, маршировал Акантов вдоль реки, приходил домой в приятной усталости, ставил чайник на газ, заваривал чай и пил его, согласно с указаниями Баклагина, жиденьким и с лимоном, потом садился в кресло подле радио... Москва...

Москва жила. Ясный, приятный голос толково рассказывал о музыканте Григе, о значении его произведений, о силе его таланта, об обаянии его музыки, о том, что нет концерта, где не исполняли бы романсов Грига... Как бы вскользь, но значительно, спикер отметил «демократичность» Грига. Композитор, дескать, восставал против процесса Бейлиса, и отказался написать кантату для коронации...

«Ложь», – думал Акантов. Какое могло быть дело Григу до Бейлиса, и кто и какую коронационную кантату мог ему поручить?.. *Все – ложь...* Это были большевики...

Женский голос, под аккомпанемент фортепиано, пел песню Сольвейг. Оркестр сыграл отрывки из «Пера Гюнта». Танец Анитры и «Смерть Азы». Это была Москва.

В ней уживались как-то большевистская ложь с Русской правдой.

Там разстреливали, убивали и пытали людей, и там же смеялись, танцевали, слушали доклады о музыке, и наслаждались произведениями великих композиторов.

Акантов досиживал до того времени, когда звонили в радио Кремлевские колокола, и неясно и глухо бурчал мрачный «Интернационал».

Тогда он ложился спать, усталый от далекой прогулки, от впечатлений услышанного по радио, от волнений, мыслей, и засыпал.

И снова: «С-с-с!», и тихий, настойчивый голос: «Мак-бенах!»...

В раскаленном мозгу повторялись слова масонской клятвы:

«Клянусь, во имя Верховного Строителя всех миров, никогда и никому не открывать без приказа от ордена тайны знаков, прикосновений, слов, доктрины и обычаев франкмасонства и хранить о них вечное молчание. Обещаю и клянусь ни в чем не изменять ему ни пером, ни знаком, ни словом, ни телодвижением, а также никому не передавать о нем ни для рассказа, ни для письма, ни для печати, или всякого другого изображения, и никогда не разглашать того, что

мне теперь уже известно и что может быть вверено впоследствии. Если я не сдержу этой клятвы, то обязываюсь подвергнуться следующему наказанию: да сожгут и испепелят мне уста раскаленным железом, да отсекут мне руку, да вырвут у меня изо рта язык, да перережут мне горло, да будет повешен мой труп посреди ложи при посвящении нового брата, как предмет проклятия и ужаса, до сожгут его потом и развеют пепел по воздуху, чтобы на земле не осталось ни следа, ни памяти об изменнике»...

Думал Акантов:

«Мы *присягали Государю*... Где наша присяга?.. Государь о нас всех сказал в страшные февральские дни 1917-го года: «*везде измена, трусость и обман*»... Господь справедлив, и все то, что испытывает там Русский народ, и что тут испытываем мы, в томлении нашего изгнания – все *это кара за нашу измену, за нашу подлость и предательство...!* И сколько лет еще мы должны нести эту Божью кару?.. Нет, надо смело уйти из ложи... Пусть казнят; это – лучше мучений совести...».

В ночных мыслях писал письмо отказа, отвозил масонские знаки и эмблемы Галганову но, наступало утро, я Акантов молча, угрюмо собирался на службу, и шел, ничего не решив, ничего не придумав, и ощущая в себе холодную, липкую трусость, какой никогда не было в нем в часы самых кровопролитнейших боев...

У

Так прошло лето, и наступила осень. Акантов ожидал к себе наставников. Осенний день был пасмурный и хмурый. Было тепло, пахло дождем. Платаны бульваров покрылись розовато-белыми пятнами облезлой коры. Их листва порозовела. Дубы, липы и тополи стояли еще густые, нарядные, зеленые и мощные. Над Сеной клубились туманы. Город шумел над рекой, а на воде было притаенно тихо. Природа ждала осеннего разгрома.

Акантову было томительно скучно, и, как всегда в такие часы раздумья и тоски, вспоминал Лизу, и жалел, что тогда, поддавшись впечатлению безысходности своей бедности, согласился отпустить ее с Февралевыми в Америку. В шестом часу вечера к Акантову пришли Палганов и Пижурин. Оба были особенно торжественны. Недоставало только передников на животах, Галганов и шофер внесли Пижурину в комнату Акантова и усадили в кресло... Молча обменялись рукопожатиями левых рук.

Пижурин блеснул стеклами своих телескопических очков и сказал Галганову:

– Дорогой брат, прошу доложить о нашем постановлении относительно брата Акантова.

Галганов, сидевший на соме, нагнулся к Акантову и заговорил быстрым свистящим шепотом и так невнятно и тихо, что Акантов не все мог разобрать:

– Настало время вашей работы. Во главе Русского Обще-Воинского Союза должны стать новые, более молодые и гибкие люди, Генерал Миллер стар. Он впадает в дряхлость. Его энергия и подвижность обманчивы...

– Это неправда, – сказал Акантов, Галганов точно не слышал. Он продолжал:

– У нас готова смена. Мы выдвигаем молодежь... Наш кандидат...

– Это ничтожество.

– А как вы сами его вчера чествовали!.. Слышали, какие были речи!.. Суворову равный!.. Ничтожества?.. Но разве мы вам не объясняли, что это и есть наша задача: повсюду ставить ничтожества на ответственные посты... Когда наверху продажная тряпка, нами возвеличенная и раздутая, тогда правим мы, *масоны!*..

– А не *большевики* ли?..

– Брат Акантов, не говорите глупости, – строго прохрипел со своего места Пижурин. – Вам говорят о Деле...

Снова жужжал в ухо Акантову, как надоедливый комар, Галганов:

– У вас, Егор Иванович, большой авторитет... *Незапятнанное имя*. Как вы скажете, так оно и будет. *Офицеры вас послушаются*...

– Но... Он – пьяница...

– Рубаха-парень... Отличный товарищ... Такие *нам* и нужны: добрые малые, председатели офицерских пирушек. Помните, что «*Руси веселие есть пити*»... Вы проведете это и вы скажете, что...

Чуть разбирал, что шептал ему на ухо, Акантов. Нечто ужасное от него требовалось.

– Это ложь! – воскликнул он в негодовании.

– Это не ложь, это условная правда... Вы будете говорить о растрате денег... Об отсутствии работы, вы будете говорить о недовольстве правонастроенных кругов, о вспышке неудержимого гнева... Вы будете...

– Лгать... Договаривайте, Владимир Петрович. Договаривайте... Нет, уважаемый брат, лгать, клеветать и подличать я не буду... Довольно...

– А... Так!.. – прохрипел, с трудом приподнимаясь с кресла, Пижурин. – А!.. Так!.. Вы забыли, что вы присягали... Вы знаете, что вы *обязаны* исполнить приказание старшего брата... Надеюсь, что вы знаете, в каком градусе я, и в каком вы...

– Знаю, – запальчиво крикнул Акантов. Им овладело холодное бешенство. Он понял: настала пора все порвать, и тут же, сразу. За эти месяцы бессонных ночей он многое узнал и оценил. Он служил в банке. Последнее время он внимательно просматривал чеки, которые посылали ему к оплате. Редки были Русские имена, но, когда такие попадались, Акантов не слышал про них в эмиграции. Это были люди вне эмиграции. Кто же Русский мог быть здесь вне эмиграции?.. *Только большевики*. Он работал с большевиками, он работал для большевиков!.. Его устроил Галганов; Галганов же провел его в масонскую ложу... Выводы напрашивались сами собой.

Точно вдруг прорвались на сером небе тяжелые тучи, и яркие лучи солнца лились на Акантова. Был слеп, и стал прозревать. Был глух, и услышал; был парализован, и всем телом ощутил всю гущизну облепившей его большевистской лжи... Да, ведь, и точно, все руководители большевиков были, масонами, и высокого градуса. Литвинов-Финкельштейн, Ленин-Ульянов, Бронштейн-Троцкий, все это были масоны! Вот, что вдруг открылось ему, когда понял всю гнусность предложения, сделанного ему Галгановым.

Из подавленного, пришибленного, беженского «я» вдруг встал генерал Акантов, тот, кто водил свой сборный полк в атаки на большевиков и никогда не боялся смерти. Поднялся старый Царский полковник Акантов, стрельбы полка которого так боялись австрийцы и немцы. Те Акантовы были прямы и честны, и тем никто никогда не посмел бы сделать такие предложения...

– Я лгать не буду... Устраивать «дворцовые» перевороты не в моем характере... То, что вы хотите сделать, – вздор... Никогда никакая офицерская организация не убивала своих начальников. Это делали большевики...

– А генерал Романовский? – ядовито улыбаясь, сказал Пижурин.

– Сколько мне известно, генерал Романовский был масоном, и кто и почему его убил, осталось неизвестным.

– Так и вы будете убиты, – строго сказал Пижурин. Он был страшен в этот миг. Перекошенный, искривленный, с незрячими глазами, блистающими сквозь толстые стекла очков, он не походил на человека.

«Такие палачи бывают», – мелькнуло в голове Акантова...

– Я вам приказываю исполнить все то, что вам сказал брат Галганов! Поняли меня?..

– Я вашего приказания не исполню... И не только отказываюсь исполнить его, но и уйду из вашего проклятого братства!..

Порывистым движением Акантов отбросил из угла комнаты старую корзину, открыл ее замок и стал выкидывать на пол масонские передник, рукавицы, молоток...

– Оставьте это... Он с ума сошел!.. – в ужасе крикнул Пижурин, и поднялся с кресла. Его подхватил за плечи Галганов и повел из комнаты...

Акантов остался один. Сумерки печального осеннего дня входили через закрытое окно. Мелкий дождь забил по стеклам и слезами потек вниз.

На старом пестро-малиновом Марокканском ковре валялись белый передник и рукавицы, молоток и циркуль. Золотая звезда казалась тусклой и ничтожной. Точно все это было живое, и вот, умерло...

Но... главное осталось. Нужно было спешить, предупредить о заговоре, о страшном преступлении, которое готовилось, и в которое его посвятили...

Он знал, что Председатель Русского Обще-Воинского Союза Генерал-лейтенант Миллер бывает ежедневно в канцелярии Союза, на rue de Colisee, с утра и часов до пяти-шести. Покончив с банком, и, отказавшись служить в нем дальше, сдав счета, Акантов направился в канцелярию.

В темной передней, довольно просторной, где стояла скамья для ожидающих приема, служитель сказал Акантову, что генерала Миллера нет сейчас в канцелярии.

– Какая досада! А когда я могу его застать здесь сегодня? Ведь, генерал всегда в эти часы бывал здесь?..

– Видите, какое дело. Генерал утром был в канцелярии, а в двенадцатом часу заторопился уехать. Деловое, что ли, какое свидание у него было назначено. Обещал вернуться к трем часам, а вот, уже и пятый час, а его все нет...

– Да-а-а...

Акантов стоял в нерешительности, не зная, что же ему делать. Каждая минута казалась ему дорогой.

– А вы, вот что, ваше превосходительство. Сегодня здесь, в восемь часов, назначено заседание Общества Северян. Генерал Миллер всегда бывает на таких заседаниях, вот, вы и приходите к этому времени, тогда и доложите, что вам надо...

Буря продолжала бушевать в душе Акантова: здесь, в канцелярии, было тихо, спокойно и скучно. Текла ежедневная работа. Чуть теплилась тут жизнь, состоявшая в сохранении товарищеской дружбы и взаимной поддержки соратников....

Акантов, по подземной дороге, вернулся к себе, собрал валявшиеся на полу знаки масонского достоинства, завернул их в бумагу, написал официальную записку Галганову о том, что: «Убедившись во лжи масонства и разочаровавшись в его учении, он просит уволить его из ложи и снять с него все его высокие звания», – и отправился к Галганову.

Как это и предвидел Акантов, Галганова не было дома. Он передал пакет и записку наглому лакею, и, чувствуя облегчение, пешком пошел на rue de Colisee.

Был девятый час вечера. В канцелярии Акантов застал нескольких незнакомых ему офицеров-Северян и узнал от них, что генерала Миллера нет в канцелярии.

Уже не было здесь дневного спокойствия. Появились тревога и сомнение. Генерал Миллер был всегда точен и аккуратен. Кто-то звонил по телефону на квартиру генерала, и оттуда, и тоже с некоторою тревогою, ответили, что генерал, как ушел рано утром, так и не возвращался.

Тогда вспомнили о том, что уходя, в двенадцатом часу дня, генерал Миллер передал своему начальнику канцелярии, генералу Кусонскому, запечатанное письмо.

Офицер, он был здешний, канцелярский, волнуясь, рассказывал в прихожей:

– Генерал заторопился тогда... Бросил портфель с бумагами на стол и сказал: «Опаздываю на свидание... Надо ехать. Бумаги подпишу потом, когда вернусь, часа в три, или в четыре. Скажите приехавшему сюда из Бельгии генералу Г., что я приму его завтра»... Генерал был при этом, как всегда на службе, замкнут и спокоен. Только очень торопился. Был он пунктуален в назначенном часе, а тут видел, что опаздывает. Он передал генералу Кусонскому запечатанное письмо и сказал: «Сохраните это... Вы подумаете, может быть, что я сошел с ума, но, если что-нибудь случится, вскройте это письмо»... Вот и все... Кусонский спросил: «Что же может случиться?»... Генерал Миллер отмахнулся и, со своей милой, благожелательной улыбкой, сказал безпечно: «Это так... На всякий случай»...

– Что же, сейчас же и вскрыли пакет? – спросил Акантов.

– Вот, кажется, теперь вскрывают, – сказал рассказчик, показывая на запертую дверь кабинета.

– Почему же не вскрыли тогда же, как только ушел генерал?

– Как же можно... Не было приказано-с... Да, ведь, ваше превосходительство, это не в первый раз, что генерал Миллер уходил на свидания, о которых никому не говорил. В нашем деле болтать и спрашивать не приходится. Ведь, мы окружены врагами и предателями...

Акантов, чувствуя, что он в нарастающей в канцелярии тревоге лишний, вышел из прихожей и пошел к Елисейским Полям.

Он шагал вверх по широкой панели, под деревьями с поредевшей желтой листвой, дошел до площади Этуали и остановился.

Как отлитая из прозрачного розового хрусталя, с сизым золотом, стояла громада Триумфальной арки, снизу ярко освещенная рефлекторами. Ее вершина тонула в лиловом тумане. Маленькими

за нею казались дома бульваров и проспектов и густые сады avenue de la Grande Armee. Как и всегда, но в этот час несколько реже, крутились вокруг арки, как заводные игрушки, каретки автомобилей.

Их суетливый бег усиливал поднявшуюся в душе Акантова тревогу. Сопоставляя то, что вчера говорил ему Галганов, сознав, что Галганов и Пижурин были агентами большевиков, Акантов по иному соображал то, что произошло на rue de Colisee.

Акантов шел и думал: «Суворов учил: «местный в его, близости по обстоятельствам лучше судит, нежели отдаленный: он проникает в ежечасные перемены, их течения, и направляет свои поступки по правилам воинским: «я вправо, должно влево – меня не слушать... Я велел вперед, ты видишь – не иди вперед»... Но есть две точки зрения: строевая и штабная. Если я получаю такой пакет на позиции, и мне говорят: «Вы вскрыете тогда, когда что-нибудь случится», я вскрываю сейчас. Поздно будет предпринимать меры противодействия, когда уже случилось что-то. Дай-ка я посмотрю, что там, и заранее отдам распоряжения... И есть точка зрения штабная. Сказано: «Вы вскрыете пакет, если что-нибудь случится, а если ничего не случится, вы вернете мне пакет»... Значит, если ничего не случилось, а я вскрыл пакет, – я отвечаю. Ужасно мы боимся ответственности. Ну, пожурил бы генерал Миллер за несвоевременное вскрытие пакета, так что за беда!.. Но пакета не вскрыли и в три часа, когда генерал Миллер не приехал, и, значит, что-то уже случилось... «Да что же может случиться?», – спросил генерал Кусонский... Действительно – Париж... Сколько везде «ажанов» – городских. Центр города... Везде толпа народа. А, вот, Кутепова похитили... Петлюру, Рамишвили и Навашина убили. Мне грозят «масоны»... Нет, я вскрыл бы пакет. И не из пустого любопытства. В этом мировом городе идет беспощадная кровавая война. На этих ярко освещенных улицах столкнулись два враждебных мира... Тут война, тут – позиция, и нужно было вскрыть. И я вскрыл бы. Там – не вскрыли. Там пошли обедать. Забыли, пожалуй, о записке. Вот и Кутеповский – и какой! – гром грянул, а мы... все не крестимся... Теперь там вскрывают... А, может быть, вся моя тревога напрасная... Генерал Миллер приехал и все обстоит благополучно...».

Не любопытство, но все нарастающая тревога, заставила Акантова торопливыми шагами направиться снова к канцелярии, чтобы узнать, что написано было в записке и нашли ли генерала Миллера.

Акантов застал в канцелярии заместителя генерала Миллера, адмирала Кедрова, и доктора Баклагина. Тот уже знал о происшествии, и пришел потому, что боялся, что, может быть, понадобится врачебная помощь, если что-нибудь случилось.

– Записку вскрыли, – сказал он, – генерал Миллер пишет: «У меня сегодня, в 12 часов 30 минут, свидание с генералом Скоблиным на углу улицы Жасмен и Раффе. Он должен отвезти меня на свидание с германским офицером, военным атташе в Балканских странах, Штротманом, и с Вернером, чиновником здешнего посольства. Оба хорошо говорят по-Русски. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, что это ловушка, а потому, на всякий случай, оставляю эту записку. 22-го сентября 1937-го года. Ген.-лейт. Миллер»... Понимаете, Егор Иванович, что произошло?

– Послали, по крайней мере, за Скоблиным? – взволнованно сказал Акантов.

– Да, послали. Он тут, совсем недалеко, в отеле «Рах», со своей женой Плевницкой.

– Скоблин... – хватаясь за голову, сказал Акантов. О, Боже мой!. Скоблин может предать генерала Миллера... Он должен предать его большевикам...

– Ну, что вы, Егор Иванович... Эва, куда вы хватили!.. Да я же Скоблина знаю насковзь... Рубаха-парень,.. Смельчага... Командир Корниловцев при том же... Знаете, так сказать, как вы сейчас сказали!.. Подумавши надо... Так вы и про меня скажете, что я могу предать...

– Да я же знаю... Я убежден в этом. У меня есть доказательства...

По грязной, с избитыми ступенями, лестнице они спустились и остановились под воротами. Двор окружали высокие стены грязного дома.

Почти все окна были темными, только ярко горели окна канцелярии, да то загорались, то погасали окна лестницы, ведшей в канцелярии. Они казались Акантову жуткими и страшными. За ними, была неразгаданная тайна.

Мягкий басок Баклагина журчал ему в ухо успокоительно, но не успокаивал, а раздражал:

– Егор Иванович, опомнитесь. Три дня тому назад, всего три дня, вы помните, как торжественно справляли мы двадцатилетие белого движения и юбилей Корниловского полка. С первых дней основания полка Скоблин в нем – образец мужества, храбрости и благородства... Помните, какие речи говорились на банкете, и как отвечал Скоблин. Он говорил, вы помните, о мосте над большевиками в Россию, о старой, умиравшей армии, передавшей свою душу молодому Корниловскому полку, основоположнику национальной Русской армии...

– А, что вы говорите! – с досадой сказал Акантов. – Все ложь, прикрытая звонкими и хлесткими словами банкетных пустомелей... Что говорите!.. Старая Императорская армия не была национальной?.. Да, я помню, отлично помню, эту речь молодчика, продавшегося большевикам. Сказал... Сказал: «тысяча боевых дней, это могло быть боевым стажем полка, насчитывающего столетие со дня основания»... Поняли?.. И никто не остановил тогда этого зарвавшегося советского бахвала... Советская система: хулить нашу старую армию и возвеличивать все новое...

– Но, ведь, и вы не остановили...

– А что я?.. Я не знал тогда ничего... И этот гипноз застольных речей...

– Полноте, Егор Иванович. Скоблин сказал правду. Как стал он оглашать на банкете имена первых чинов полка, все погибших... Мороз по коже. Ведь, вся Русская армия влилась в Корниловский его полк. Какая тишина стояла тогда на банкете... Будто круговая клятва над могилой Русской армии произносилась... Героическая минута...

– Ложь!..

– Полноте... Этот человек – предатель?.. Доказать надо...

– И докажу!..

– Оставьте, пожалуйста... Хулителей доблести развелось много, и в каждом сильном человеке видим мы теперь предателя... Да, вот, и сам Скоблин!.. Что?.. Смотрите... Разве так идет преступник?.. Предатель?..

VII

Скоблин, с легким черным пальто на руке, без шляпы, сопровождаемый высоким человеком в штатском платье, спокойно вошел в ворота. Он был уверен в себе. Для него не было ничего удивительного в том, что именно его позвали ночью, когда, вероятно, уже узнали об исчезновении генерала Миллера. Он – правая рука генерала, его возможный заместитель, его друг... С кем же, как не с ним, и говорить помощнику генерала Миллера, адмиралу Кедрову?..

Скоблин в уме проверял весь свой день. Да, весь день он был при свидетелях, хотя бы при жене своей, певице Плевацкой. Он шел, и в уме своем готовил спокойные, полные достоинства ответы на все возможные вопросы. В его ушах еще звучали хвалебные речи банкета Корниловского полка, перед ним были и впечатления сегодняшнего дня. Он делал визиты, благодарил тех, кто почтил юбилей полка... Везде были льстивые, прекрасные слова, везде было уважение и преклонение перед ним... Все это прикрывало тот короткий разговор, который был у него с генералом Миллером, когда он передавал своего начальника чекистам. Это был совсем легкий осадок на том месте, где у людей обитает совесть. Но Скоблин был новый человек, закаленный в стальных тисках гражданской войны, и совесть для него была буржуазным предрасудком. Так было нужно. Расправлялись и с другими людьми. Так же спокойно, в свое время, он сдал и Кутепова, своего прямого начальника и боевого товарища. Путь к возвышению не лежит по розам, да и розы имеют шипы. Тогда все прошло гладко, шито-крыто, никто и не подумал заподозрить его. Сзади него могучим телохранителем стоит его жена: она его никогда не выдаст... Чем сильнее преступление, тем меньше вероятности, что оно будет раскрыто. Не спеша, Скоблин поднялся по лестнице, и все так же спокойно и уверенно вошел в кабинет адмирала Кедрова. Только в прихожей, заметив, что она полна народом, что в ней была жена адмирала и другие лица, Скоблин немного нахмурился. Слишком много шума уже было поднято. Не обезкуражило Скоблина и то, что Кедров, не подавая ему руки, прямообратился с вопросом:

– По некоторым сведениям, вы – последний, с кем виделся генерал Миллер...

Скоблин твердо и спокойно ответил:

– Это не верно. Я видел генерала Миллера вчера.

Резко, чеканя слова, весь напряженный, дрожащий внутренней дрожи негодования, верящий и не верящий в такое ужасное предательство, адмирал сказал:

– У меня имеется доказательство, что у вас было назначено свидание с генералом Миллером. Скоблин побледнел, подобрался, вытянулся, и все так же спокойно, не теряя самообладания, глядя прямо в глаза Кедрову, тихо и твердо спросил:

– Какое?..

Кедров, молча, подал Скоблину записку генерала Миллера. Скоблин быстро пробежал строки, написанные хорошо знакомым ему почерком Миллера.

– Нет... Нет... – быстро проговорил он, и почувствовал, что самообладание покидает его. Он ожидал, что, вот, его сейчас же схватят, свяжут, потащат куда-то... Но это продолжалось только одно мгновение. Его никто не схватил, никто не ударил, и он оправился:

– Все это неверно, – тихо сказал он. – Я даже и улиц таких не знаю...

И все так же спокойно, «по-джентльменски», по европейски, по культурному, как с равным, как с генералом, а не как с преступником, говорил Кедров, и это придавало силы Скоблину:

– Подумайте хорошенько... Быть может, вы все-таки нам что-нибудь сообщите...

Голос Кедрова был ледяной, оскорбительно вежливый, но на Скоблина он не подействовал. Вопрос давал время обдумать положение.

– Уверяю вас, я ничего не знаю...

– В таком случае, нам всем нужно пойти в полицию...

– Извольте.

С теми осмотрительностью и спокойствием, какие отличали Скоблина в многочисленных боях гражданской войны, Скоблин вышел из кабинета вместе с Кедровым и Кусонским. Он уже понял: дело его проиграно и нужно бежать...

В тесной передней замешкались, надавали пальто. Кто-то открыл дверь на лестницу и придавил кнопку освещения. Скоблин стоял у двери. Кедров с Кусонским вошли в комнату рядом с передней, за своими портфелями. В этот миг электричество на лестнице погасло. Скоблин решительно шагнул за дверь и помчался по темной лестнице. Кто-то бросился за ним. Пустили опять свет... Скоблина уже не было.

Акантов и Баклагин видели, как в ворота проскочил Скоблин; он был в пальто и по-прежнему без шляпы...

– Это Скоблин, – сказал Акантов. – Он бежал. Надо ловить его...

– Полноте, Егор Иванович... От чего будет бежать столь доблестный офицер?..

Акантов бросился на улицу. Было темно в узкой улочке. Несколько частных автомобилей стояло вдоль панели. Акантову показалось, что Скоблин, пробегая вдоль машин, пробует ручки дверец. И сейчас же Скоблин исчез, растворился в сумраке сентябрьской ночи. Сзади Акантова раздавались тревожные голоса. Кедров, Кусонский и еще кто-то из офицеров вышли на улицу.

– Где же Скоблин?..

– Он бежал.

– Бежал?.. Ну, значит!!...

Низко опустив голову, глядя на сырые плиты панели, медленно шел по улице к Елисейским Полям Акантов. Он чувствовал себя, как бы соучастником этого страшного преступления. Он шел и обдумывал завтрашний день и те показания, которые он даст по поводу всей этой истории.

VIII

Акантов совсем не помнил, как добрался он до своего дома. Ехал ли он на поезде подземной дороги, или всю дорогу шел пешком... Он открыл входную дверь, поднялся к себе, вошел в тускло освещенную отражениями далеких огней комнату, разделся и лег на койку. Он сейчас же и заснул тем крепким сном, каким спит человек, измученный телесно и душевно. Будильник звонил – Акантов не проснулся. Он встал в десятом часу, медленно оделся и сел у окна, подперев ладонями голову.

Ветер гулял по пустырям, качал чертополохами, нес сухие листья, пригибал к земле траву, крутил пыль на дворе угольного склада. По насыпи проносились веселые, красные поезда электрической дороги, сверкали окнами вагонов. Хлопали доски, бросаемые на грузовик. Глухо гудел поблизости громадный город. Париж жил обычной, будничной жизнью, и не было ему никакого дела до того, что пропали генералы Миллер и Скоблин, что в маленькой квартире мучается генерал Акантов...

«Что же мне теперь делать?.. Что предпринять?.. Куда пойти с моими сообщениями о масонах, близких к большевикам, о предложениях, какие мне делались?.. Нужно сказать все. Сказать, что пошел в масоны, что работал с ними... Пропало мое доброе имя... Он пошел работать против большевиков, а оказалось, что работал для них. Большевики управляются жидами, и масоны управляются жидами... Исполнительный комитет партии большевиков состоял из Моисея Урицкого, Лейбы Троцкого-Бронштейна, Янкеля Свердлова, убийцы Государя, Григория Радомысльского, Феермана и других... А знаю я, из кого состоит верхушка масонской пирамиды?.. Может быть, из таких же жидов?.. К кому я пойду теперь, сам кругом замаранный?..».

Тонкой, ядовитой струйкой забила, засквозила под самым сердцем мысль о самоубийстве... Впереди – масонское возмездие за измену, за уход из ложи... Кинжал под сердце... Так не лучше ли самому?..

У Акантова не было револьвера. Вешаться показалось противным.

Оставалось топиться...

Акантов сидел в глубокой задумчивости, забыв обо всем... Он не сразу встал, когда в дверь к нему *постучали*, и поднялся от окна только тогда, когда *медовый голос* Дуси Королевой, раздался за тонкими досками:

– Генерал, вы дома?..

Высокая, надушенная, завитая, в красивой шляпке, прикрывавшей блеск темных глаз, в комнату вошла Дуся:

– Была в банке... Сказали, что вы больше не служите... Догадалась, что должны быть дома... Какой ужас совершается на наших глазах... Вы, наверно, уже прочли газеты... Опять такое ужасное похищение, и опять все останется безнаказанным... Я помчалась к вам и за вами.

– Что же я могу тут сделать? – как-то безвольно и беспомощно сказал Акантов.

– Как, что, милый генерал!.. Да надо же во святой час со молитовкой спасать нашего генерала... Ну, что они там сделают?.. В полицию обратились... Да разве полиция может что-нибудь сделать... Ведь, полиция с ними, с большевиками!.. Разве нашла полиция генерала Кугепова?.. А, вот, когда в Ревеле Булах-Булахович, тоже молодец на свой образец, похитил генерала Юденича, разве в полицию пошли?.. К Теннисону, к самому президенту, помчались тогда, его с утра подняли на ноги. И в то же утро нашли и спасли генерала!.. Так нужно и теперь... К президенту, во святой час со молитовкой!.. Генерал, у меня же есть связи, я имею туда верные ходы. Тут есть депутат один, пастор Сулье... Сенатор Лемери; так, ведь, все это друзья России!.. К ним поедем, все им расскажем, и от них, прямо от них, и с ними, к Президенту!

– Я-то при чем? – вяло промолвил Акантов.

– Милый генерал, да как же я, женщина-то, одна к ним поеду?.. Кто я? – артистка... А там спросят, кто такой генерал Миллер, да почему он так нужен большевикам? Ну, что я отвечу? Там его биографию спросят, а что я знаю? Вот тут-то вы все и доложите... Вот ваши пальто и шляпа... Господи, как у вас все бедно!.. Тут бы нужно величие черного сюртука, или безупречную визитку, орден какой-нибудь французский... Почетного Легиона... Это они любят... Ну, да все равно, как-нибудь обойдемся и так... Едем во святой час со молитовкой...

Дуся почти насильно вывела Акантова и из его квартиры, и из его равнодушия и безразличия...

На узкой, маленькой улочке их ожидал автомобиль. Это не была каретка такси, как обыкновенно ездила Дуся, не имевшая собственной машины, но большая, неуклюжая, старомодная карета. На шоферском месте, положив руки за руль, сидел широкоплечий, мордастый, скуластый мужчина в черном, плотной материи, пальто и суконной серой рабочей каскетке... Он не шелохнулся с места при приближении Дуси, только узкие, сонные, ко всему безразличные, глаза скосил на подходявших.

Акантов опередил Дусю, и хотел открыть дверцы.

– Генерал, – мило улыбаясь, сказала Дуся, – надо обойти карету. С этой стороны дверца испорчена и не отворяется. Такую уж старую калошу дали мне в гараже. Ну, да мне не до того было, чтобы выбирать, я же так торопилась... Садитесь первый, я привыкла ездить с правой стороны.

Акантов послушно сел у неоткрывающейся дверцы, за ним легко вскочила Дуся и наполнила карету запахом духов. Она захлопнула дверцу и карета покатила.

Акантов сидел молча. Он обдумывал французские фразы, как и что будет он говорить тем французам, к кому его везла Дуся.

XI

«Старая калоша» обладала сильным мотором... Она легко и быстро неслась по улицам предместья, обежала palace de la Defense, и выбралась на Сену. Шофер избегал широких и людных проспектов.

Дуся непрерывно что-то говорила ласковым, медовым голосом, положив крупную руку в черной перчатке на руку Акантова, и тому, сквозь свои мысли, почему-то вспомнилось, что так ласково и непрерывно говорят хорошие, добрые сестры милосердия, когда готовят больного на операцию с почти неизбежным смертельным исходом...

«Ну, что же, все равно», – подумал Акантов, и сбоку посмотрел на Дусю.

Они сидели близко друг к другу.

«Как она, однако, стара». – Акантов видел дряблые щеки, у шеи под челюстью были заметны следы швов после операции омолаживания. Крупная, жирная пудра, наложенная на них, еще усиливала безобразие толстой шеи. Сухие, ярко-красные, точно у манекена, губы играли над ровным рядом вставных зубов.

«Она вся ложь», – думал Акантов. – «Она создана искусством. Ее нет... Это манекен, живой манекен, мастерство современной хирургии и химической краски»...

Карета круто повернула с узкой улицы на широкий бульвар, против места, где раньше были укрепления Парижа, а теперь стояли безобразные, громадные доходные дома...

«Это Магдалина Могилевская, а не Дуся Королева... Это та «красная матушка», предательница и убийца!», – мелькнуло в голове Акантова, и он почувствовал, как обмякло его тело. Холодная испарина покрыла кожу, ноги и руки стали бессильными. Глухой шум загудел в ушах. В глазах потемнело.

Из-под широких полей модной шляпки сама смерть улыбалась Акантову мертвым черепом. Большие глаза Дуси казались огромными темными впадинами мертвой головы, ярко блестели белые зубы между темно-накрашенных губ.

Стало безумно страшно.

Чуть качнулась карета, круто поворачивая в открытые железные ворота, Акантов собрался с силами и сделал движение, чтобы открыть дверцу и выскочить из машины. Но ручка не поддалась на нажим. Сухо и зло засмеялась Дуся...

Через стекло был виден пустынный и грязный двор, мощеный крупными камнями. За ним темное здание казарменного вида, высокая кирпичная стена со вбитыми по верху гвоздями окружала двор... Тюрьма...

Карета резко остановилась. К ней подбежали рослые люди, открыли дверь; Дуся выскочила из машины. Четыре волосатые руки протянулись в карету, цепко схватили Акантова за руки и за ноги, выволокли вон, поставили на ноги и повлекли, держа подмышки. Мягкая шляпа от толчков упала на лоб и мешала видеть. Ноги не успевали передвигаться и ушибались о камни. Акантов чувствовал, как его протиснули в узкую дверь, за нею была крутая лестница. Акантов споткнулся о ступени, в кровь ссадил колено, и в полузабытье, теряя сознание, поднимался куда-то, толкаемый сильными руками. Его ударили по шее так, что он упал. Шляпа свалилась с него. Акантов услышал стук задвигаемой двери, железный скрежет засова, и наступила тишина.

Акантов осмотрелся. Он был в крошечной каменной камере без окон. Стены были сырые, в высоком потолке устало горела электрическая груша. В камере, кроме стен, пола и потолка, не было ничего. Толстая, тяжелая дверь была наглухо заперта. Чуть доносился невнятный, не умолкающий шум города...

X

Лиза прибыла в Берлин и устроилась жить у Верховцевых. Это было естественно. Соня вышла замуж за Фреда Ленсфельда, и там уже ожидалось радостное событие: прибавление семейства. Игорь почти всегда был в плавании. Комнаты их были свободны. Аглая Васильевна Верховцева, одинокая вдова, не захотела сдавать комнаты жильцам. Игорь за время плавания проявил так много чуткого внимания к Лизе; в Гамбурге Лизу ожидала милая телеграмма от Аглаи Васильевны, и Лизе нельзя было отказаться от приглашения.

Да и куда было ей деваться? Отец без вести пропал в Париже. Газеты написали об этом вскользь и забыли о старом, никому не нужном генерале. Тетя Маша уехала из Берлина в Вену, и Лиза слышала, что у тети Маши квартира была небольшая. Значит, опять стал вопрос: «entweder-oder»: или у Аглаи Васильевны, или... да где же?.. Нигде!..

Квартира Аглаи Васильевны совсем не походила на квартиру Норингов, как и сама Аглая Васильевна, вдова полковника гвардии, не походила на тетю Машу, жену богатого немецкого коммерсанта.

Верховцева жила в глухой улице, затерявшейся в лабиринте старого Вильмерсдорфа, во дворе, на пятом этаже, без лифта, в квартире с маленькими, уютными комнатами, удобно связанными узким коридором.

У Норинга была богатая, тяжелая Берлинская роскошь высоких, просторных комнат, с лепными потолками, была монументальная мебель. У Верховцевой все было просто и бедно. У Норингов – картины, большие часы с башенным, торжественным звоном; у Верховцевой во всех комнатах по углам иконы. В спальне и столовой – с постоянно затепленными лампадками. В столовой висли трогательно-простые портреты Государя и Царской Семьи в черных рамах, перевитых траурными лентами, портрет мужа Аглаи Васильевны, с прибитым к раме георгиевским крестом; стояла простая мебель. Такая же была и сервировка... И... Тишина...

У Норингов была Германия и немцы. У Верховцевой – точно и не было вокруг Германии, точно и не шумел и не жил тут же, за стенами, громадный Берлин. Будто и не в Вильмерсдорфе жила еще не старая полковницкая вдова, но в Петербурге, где-нибудь в тихих линиях Васильевского острова. У Норингов говорили по-немецки, и не было вопроса о вере в Бога. Это у них и в школе потеряла веру Лиза. У Верховцевой говорили по-Русски, и вера, со всеми ее обрядами, привезенными из России, соблюдалась свято.

Все в том же леопардовом пальто, в котором Лиза выехала из Нью-Йорка, вошла она в маленькую комнатку, бывшую спальню Сони. Девичья постель чисто постлана тонким одеялом, в углу образ – Святая Елизавета, и, перед ним, недвижный язычок пламени лампы. На стене портрет Государя и кругом «открытки»: виды Петербурга, Москвы, виды России, целая стена ими занята. Пониже – старая карта Российской Империи. В другом углу – этажерка с книгами: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Гончаров, Чехов, Шмелев, Бунин, все Русские писатели, и все о России. Под этажеркой, на отдельной полочке, – Евангелие и молитвенник. Лиза усмехнулась. Вера, Царь и Отечество!.. Но былого жесткого и сухого скептицизма не было в ее усмешке, были горечь, тоска, сознание своего одиночества, сиротливости и, сквозь них, пожалуй, и любопытство: что же, в самом-то деле, такое вера, Царь и Отечество?

– Вот, Лиза, – ласково говорила Аглая Васильевна, – это комната моей Сонечки. Только икону я сменила. Так удачно мне досталась твоя хранительница, Святая Елизавета... И книги я взяла назад Сонечкины. Тебе тут хорошо будет отдохнуть и оправиться. Вот и почитаешь понемножку. Не мудрящая библиотека у меня, а все почитать что найдется. Подумаешь о прочтенном. Я и сама все, нет-нет, да и перечитаю книжки эти. Вспомню... Ты, не выдавая России,образишь себе, ее, представишь и поймешь... А как станет тебе уж очень тяжело и одиноко, вот тут, возьми и помолись Богу перед иконой. Я через какое горе прошла, когда мужа замучили и убили большевики, казалось, не выживу; молитва веры исцелила мое горе. Спасла меня...

– Danke, – сказала Лиза, и устало села в кресло под иконой.

Аглая Васильевна ушла и тихо притворила за собою дверь. Лиза осталась одна.

XI

Утро... В открытое окно Лизиной комнаты густыми парами входит морозный воздух. Глухой гомон города доносится в окно. Лиза прибрала комнату, стоит у окна, дышит морозным воздухом, слушает шумы города, и теснит ее грудь большими воспоминаниями. Плакать хочется... Слез нет...

– Лиза, ты готова?..

– Да, Аглая Васильевна...

Пойдем, Лиза, в церковь. Богу вместе помолимся...

Церковь совсем недалеко. Лиза вошла в нее за Аглаей Васильевной, робко, неуверенно крестясь. Но уже не было почему-то прежнего, самоуверенного, все презирающего, надо всем смеющегося и все осуждающего скептицизма. Уроки профессора Ротшпана остались где-то позади.

Это не был богатый еврейский храм, куда зашла Лиза спастись от грозы и дождя, и где познала она весь ужас человеческой злобы и ненависти, но очень бедная *церковь*. Большая комната с прямой аркой, светлый иконостас, простые иконы и... пусто. Будний день, все на работе. У стены, на темных лавках, старухи в черном, бедном платье, хромой старик в углу. У четырехугольной колонны, с большой, в рост, иконой Спасителя, женщина в трауре с девочкой.

С клироса несется звонкий женский голос. Молодая, черноглазая послушница в черном платочке истово, с глубокой, убежденной верой читает псалмы и молитвы.

Лиза не понимает славянского языка. Она ловит отдельные слова, старается запомнить, смотрит на румяное, молодое, с детскими в черных ресницах глазами, лицо, смотрит, как широко крестится послушница, как тщательно и низко она кланяется, и следит, как летит к алтарю ее звонкий, как журчание горного ручья, приятный, четкий голос.

– Окропиши мя уссопом и очищуся; омыеши мя и паче снега убелюся... Слуху моему даси радость и веселие: возрадуются кости смиренныя...

Из Царских врат раздался возглас:

– Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков...

Три голоса: звонкий, ведущий, чистый, послушницы; хрипловатый басок старого дьякона, и мягкий баритон полного человека в сером пиджаке, ответили дружно:

– Аминь. Литургия началась...

Лиза отстояла службу, искоса поглядывая на Аглаю Васильевну, крестясь, когда та крестилась, становясь вместе с нею на колени. Сначала все это было неловко; казалось, что на нее смотрят, обращают внимание; с непривычки стоять, уставали ноги; но вышла на улицу на морозный воздух, под бледно-голубое небо, на снег, уже побуревший от автомобильного движения, и вдруг почувствовала себя так легко, как еще никогда себя не ощущала. Точно стала она внутри себя чистой и прозрачной, и отлетела с души жуткая тоска сиротливого одиночества.

XII

Лиза заговорила с Аглаей Васильевной о том, что ей нужно хлопотать о работе, о службе, о зарплате.

– И, полно, Лиза, – сказала Аглая Васильевна. – Тебе нужно раньше себя самое обрести, а тогда и о работе подумаем...

Лиза не поняла слова «обрести», и смущенно спросила о том Аглаю Васильевну.

– Обрести, значит, найти, – ласково улыбаясь, сказала Аглая Васильевна. – Вот, мне поможешь в Русской детской столовой бедных деток кормить, прибирать за ними, вот, и сочтемся...

Так, тихо и мирно, и совсем по-новому, началась Берлинская жизнь Лизы, и не тянуло Лизу к ее прежним подругам и друзьям, где могла она встретить или услышать о Курте.

Аглая Васильевна часто ходила с Лизой в церковь, сначала в будни, когда там почти не было молящихся и чинно и благобно служил молодой священник с бледным красивым лицом аскета, потом пошли в субботу ко всенощной и в воскресенье к литургии.

Маленькая церковь была битком набита прихожанами, прекрасно пел хор певчих, и Лиза все сильнее ощущала, как дрожат и трепещут в ее теперешней внутренней прозрачности души новые струны, будят нечто далекое, что нельзя назвать даже воспоминанием, оно точно выходит за пределы прошлой жизни Лизы, за грани ее детства. По-Ротшпановки, Лиза пробовала определить это чувство: «подсознание говорит мне о чем-то, бывшем давно и давно позабытом, о раннем моем православном детстве... Нет, это было раньше детства. Тогда какое же это могло быть подсознание? А что, если...». Шибко забилось Лизино сердце... «Неужели, это душа?»...

Под весну Аглая Васильевна с Лизой говели. Когда Лиза вошла в маленькую узкую комнату подле алтаря и стала у аналоя с крестом и Евангелием, где уже был священник, она в смущении опустила глаза и не знала, что же ей говорить. Тихий раздался голос:

– Здесь Христос невидимо присутствует и стоит между нами. Он все слышит и все знает. Каждое биение сердца вашего Ему известно и ни одна мысль ваша не утаится от Него... Веруете ли вы в Бога и Господа нашего Иисуса Христа?

Едва слышно проговорила Лиза:

– Я стараюсь верить.

– Однажды к Иисусу Христу привели бесноватого, и отец его просил: «Если, что можешь, сжался над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь верить, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию»... Захватит вас сомнение, тяжело станет вам в Мире, а молитва не будет приходить на ум, скажите с верою: «Верую, Господи, помоги моему неверию»... Вы Евангелие читаете?..

– Да, читаю.

Вот и все. Кончена исповедь. Так не долго, так просто, а почему-то еще чище стала прозрачная ясность внутри, где не гадкие, отвратительны внутренности с мерзкими химическими процессами, но где... Неужели, и точно?.. Душа?..

Со страхом и трепетом Лиза подходила к Чаше со Святыми Дарами, благоговейно приобщалась, и, когда вдруг громко, так, что она вздрогнула, певчие из угла церкви возгласили:

– Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельной Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть...

Каждое слово поняла Лиза. «Обретохом», то есть нашли, получили веру»...

Опустив голову, шла она домой и думала: «неужели и правда: нашла веру?.. Так вот, что такое вера?.. Какая это сладкая радость, какая блаженная истома и... тишина на сердце...»:

«Верую, Господи, помоги моему неверию».

XIII

В эти дни своего просветления, Лиза написала Курту. Писала она коротко, немного, даже и сухо. Сообщила о своем возвращении в Германию, в Берлин; написала, что живет она у Верховцевой, и была бы рада получить ответ от старого друга.

Ответ пришел скоро. Это было короткое письмо на официальном бланке инженера доктора Бургермейстера... Курт писал Лизе, что он очень рад, что она в Германии, где так хорошо и спокойно, а не во Франции, где могут совершаться такие ужасные преступления. Он желал Лизе скорее вернуться в Отечество: «Теперь у вас там скоро не будет большевиков и вам там будет хорошо». Он очень коротко сообщал о себе, что он на ответственном посту, счастлив быть полезным Родине и партии, что он очень занят, и навряд ли сможет приехать в Берлин навестить Лизу. «Да и нужно ли это?», – заканчивал он свое письмо.

Странно: оно не разстроило, не раздражило, даже не слишком опечалило Лизу.

Да, так и должно было быть. Игорь прав: «шляпой» оказался не Курт, но сама Лиза.

Все-таки было грустно. Старые воспоминания всколыхнулись. Защемило сердце, но вдруг точно услышала ликующий возглас хора: «Обретохом веру истинную»...

В хрустальном, неизвестном и неведомом никаким философам и физиологам, нутре что-то поднялось и залило сердце радостным теплом. Лиза вздохнула и прошептала, разрывая на мелкие части письмо Курта:

– Верую, Господи, помоги моему неверию...

И тихо, тихо стало внутри... И... прошло... Все проходит. Образ Курта умчался, исчез, испарился без боли, без страданий. Душа отвергла его, тело позабыло.

А тут приехал, окончив плавание, Игорь. Он получил отпуск на все лето, для подготовки к экзамену в высшую школу. Он готовился стать корабельным инженером:

– Это будет так нужно для России.

И Лиза, раньше так равнодушная к подобным словам, поверила Игорю.

XIV

Если сказать, что может быть такое состояние человека, когда он не знает: день или ночь, какой день, какого месяца, какое число, и где находится он сам, в каком городе, какой страны, и это не во сне, не в бредовом кошмаре, но в полном здравии, – кто этому поверит?..

Если сказать, что можно человека бросить в каменный мешок, не кормить и не поить, можно связать и обращаться с ним, как с бездушной вещью, и это не в какой-нибудь Центральной Африке, или Полинезии, среди дикарей людоедов, или в самые темные времена средневековья, но в самой культурной и просвещенной стране, во Франции, в Мировой столице, в Париже, – кто согласится, что это правда?..

Если сказать, что в двадцатом веке и во второй его четверти, может существовать Государство, которое не только у себя, но и в дружественных ему странах, устраивает организованные убийства невинных людей, похищает их, мучает, морит голодом, и имеет для этого специальный и мощный аппарат, недоступный для того государства, где он работает, – кто скажет, что это правда?..

Акантов, сквозь муки голода, боли и усталости, продумывал все это и пожимал плечами. Как легко он попался. «В добрый час со молитовкой»... Как легко попались генералы Кутепов и Миллер, и многие другие... Они не могли не попасться... Разве можно было не поверить тому обману, на который их ловили: слишком чудовищна была ложь...

Посольство – и в нем застенки; в нем камеры для пыток, лабораторий для безследного исчезновения трупов. Посланник во фраке или в смокинге, изящные, припомаженные секретари – и с ними грубые палачи, истязатели и убийцы. Дипломатическая неприкосновенность зданий, принадлежащих посольству и там каменные, сырые мешки для людей.

Теоретически – невозможно. На деле – очень просто. Акантов не думал, что будет дальше... Ясно – смерть. Сначала он все стоял на ногах. Противно было садиться или ложиться на грязный, загаженный, вонючий пол, но усталость взяла свое; Акантов подстелил пальто, сел в угол, привалился к сырой стене, закрыл глаза и заснул тяжелым сном.

Когда он проснулся, все так же горела усталым огнем лампочка, и раздражала ее кровавая проволока в потемневшей пыльной стеклянной груше. Сколько ушло времени, Акантов не знал. У него не было часов. Он снова закрыл глаза.

Недавно – радио из Москвы. Концерт... Шли Украинские песни. Потом певица Баратова под рояль пела: «Он так меня любил»... Чайковского... У этих палачей пели и слушали Чайковского... Публика неистово аплодировала и звонкие женские голоса долго кричали: «Бис!.. Бис!.. Бис!..».

Каменный мешок – и восторги от романса Чайковского... Как это совместить?..

«Он так меня любил»... Как любил Акантов Москву!.. Как хотел он тогда попасть в Москву в эту толпу восторженной молодежи...

«А вдруг меня повезут в Москву?.. Я предстану перед трибуналом. Но, ведь, я ничего против России не делал... Там теперь нет знающих генералов. Меня призовут на службу... Говорят, что Кутепов там заворачивает корпусом. Миллера вывезли, чтобы он там работал... Вот, и меня повезут для того же... Это только испытание, как у масонов. Я поеду в Россию. Буду вдыхать запах Русской осени. Тут осень так не пахнет. Увижу золотые березы. Изумрудную, по черному бархату чернозема, озимь, а потом наш, Русский снег, глубокий, ровный и белый. Настанет Русская зима и... горячая Русская баня с полком, с вениками... Теплые дома, с шумящими пламенем печами... Все это было. Не могло же все это так и исчезнуть?.. Россия жива... Где-нибудь живет Нежданова, или та певица Баратова, которая пела: «Он так меня любил»... У них, вероятно, есть теплые Московские квартиры. Это им блистание Русских молодых глаз, и это им кричат так звонко и радостно: «Бис!.. Бис!.. Бис!». Ну, да, меня испытают... А потом привычная служба. Офицеры, солдаты, казарма, пулеметы, винтовки...

Акантов твердо знал, что ничего этого не будет, что впереди мучения и смерть, но думать о смерти не хотел. Все думал о жизни, о службе, о России, о Русских солдатах, о добром Русском народе, о всем том, что слышал все это время по радио...

Потом он задремал, изнеможенный голодом, усталостью, нелепыми мечтами...

Громкий топот по коридору и грубые голоса совсем подле двери заставили Акантова вскочить на ноги. Он прозяб, надел провонявшее на полу пальто, и дрожал лихорадочной дрожью.

Дверь распахнулась. Как на какого-то страшного, хищного зверя, набросились на Акантова рослые, сильные, озлобленные люди, опутали его тело крепкой веревкой, сделали из него пакет, воткнули в рот тряпку и понесли по коридору.

Холод и сырость осенней ночи, черный автомобиль с погашенными фонарями. Акантова втащили в него. Подле поместились два человека в черных пальто. Засветились огни, автомобиль сделал полукруг по двору и покотил по улицам Парижа...

Задыхаясь от платка во рту, который все никак не мог выпихнуть языком, Акантов думал: «Тоже, вероятно, дипломатическая, неприкосновенная машина, которую ни полиция, ни таможня не смеют осматривать... Какими дураками нужно быть, чтобы давать дипломатическую неприкосновенность людям, для кого нет преступления, которое они не совершили бы и которые сотканы из сплошной лжи.

Потом наступило забытье-нирвана... Сквозь нее, как сквозь сон, Акантов услышал, как кто-то из его спутников сказал:

– Гляди, браток, не задохнулся бы. И другой ответил:

– А хоть бы и задохнулся. Тебе какая забота...

– Все не ладно как-то...

У Акантова вынули изо рта платок, ослабили веревки. Но Акантов не очнулся, и все продолжал пребывать в полубморочном состоянии...

Очнулся от свежего воздуха, от чувства покоя, истомы. Веревки были сняты. Акантов лежал на росистой траве на краю дороги. Черный автомобиль стоял подле. На откосе шоссе сидели шофер и два человека в черных куртках. Они, громко чавкая, ели булки с колбасой. Запах разжеванной колбасы доносился до Акантова, будил чувство голода, тревожно и мучительно засосало под ложечкой. В сухом рту появилась слюна. До ужаса захотелось есть. Акантов широко открыл глаза, потянулся и расправил руки и ноги.

Утро. Светло, но солнца еще нет. Черное полотно широкой дороги, прямое и ровное, уходит в даль. По обеим сторонам его – высокий лес. Он задумчиво, тихо, по-утреннему дремотно шумит пестрой осенней листвой. Терпко пахнет мхом, сухим листом, травами, грибом. Небо серое, и вдали, смыкая линию горизонта, поперек черного шоссе протянулась оранжевая полоса восхода.

Так все это показалось прекрасным. Так хороша жизнь. Земля, воздух, – Акантов глубоко вздохнул, – лес; робко и вяло, по-осеннему, перекликаются в густой листве птицы. Жить... Все равно, как, только жить!..

К ногам Акантова летит недоеденный кусок булки с прилипшей к нему обкусанной колбасой. Это ему человек в кожаной куртке бросил, чекист... Как собаке...

Акантов жадно кусает булку, жует, испытывая странную радость...

Бегут мысли...

«Это *жидовское воспитание* народа. Смотреть на ближнего, как на низшее существо, как на животное...».

– Оправься, браток, – сурово говорит чекист, – да и айда дальше.

«Да, конечно, животное... Все человеческое условно... Приличие, красота, стыд – все брошено. Нет души – нет и духовного, нет и стыда. В этом весь коммунизм, в *оскотинении человека*... И все это от жидов...».

– Ну, кончил, что-ль?.. Садись. Ехать пора. Солнце восходит. Ослепительные лучи тянутся навстречу вдоль шоссе, Голубые тени ложатся, золотом покрывается листва, рубиновыми огнями горят плети придорожной ежевики.

Прекрасен мир... И не все ли равно, как жить, только жить... Дышать...

С землисто-серым лицом, с тусклыми глазами, сидел Акантов в сумраке кареты и то дремал, то уходил в полусознание...

Ночь... Какой-то городок, или предместье большого города. Маленькие, убогие, грязные дома тесно стоят друг подле друга. Улица с редкими фонарями, запах нищеты, отбросов, помоев. Ночная, глухая тишина. Автомобиль стоит у дома. Один из чекистов стучит в двери. Все в доме спит. Спущены ставни, наглухо закрыты двери.

Огонь засветился внутри. Золотыми полосками побежал по узким щелям ставен. Двери открылись. Полоса света пролилась на грязные плиты панели, на темный гудрон дороги. В полосе света – люди. Грубые голоса... По-Русски:

– Живой, что ли?..

– Пока что, не сдох...

– Принимайте.

Из дома выносят длинный ящик. Акантова опять связывают и кладут в него. Крышка с широкими щелями закрыла ящик, и ящик положили в карету... Уже и не животное, а вещь...

От духоты, от усталости, от неудобного положения, Акантов забылся, и очнулся только тогда, когда его развязали и втолкнули в узкое темное помещение. Акантов оцупал стены. Железные борта, кромка шва шпангоута, шляпки заклепок, запах каменного угля, машинного масла и большой воды. Слышно, как мягко и прозрачно плещет за бортом морская волна...

Пароход... Его куда-то везут... В Россию?..

В затуманенной, усталой голове пошли, потекли мутные, неясные мысли. Его везут в Россию. «Он увидит Россию, Москву; там, возможно, будет и чудо воскресения... И, сквозь туман мыслей, женский голос всезвучал и звучал призывно:

– «Он так тебя любил!..»...

В плавании Акантова кормили. Утром давали кружку горячей воды и кусок хлеба. Днем и вечером в глиняном горшке приносили горячую бурду, где плавали куски разваренной картошки, листья капусты и какая-то крупа неопределенного вкуса. От бурды пахло несвежей рыбой...

Качало. Морская болезнь томила и выворачивала наизнанку внутренности. Акантов лежал на полу, на подостланном пальто, поджимал ноги к животу и был в полузабытьи. Теплая тошнота подходила к горлу и, не облегчив желудка, отливала обратно. Кровь стучала в виски... Тупо болела голова.

Смерть не была страшна. Акантов призывал ее. Время тянулось, и Акантов уже потерял счет дням. Он думал, что, вероятно, собака, которую везут в ящике, имеет больше ощущений, чем было у него...

Однажды он очнулся от чувства покоя и тишины. Качки не было. Пароход, ровно и не спеша, шел по тихим водам. Был слышен шелест раздвигаемой килем волны и ровный стук машины. Потом и машина перестала стучать. Движение парохода замирало. Тяжело шлепнулся и заплескал по воде канат. Пароход грубо ударился о пристань; Акантов, стоявший в трюме, упал от толчка. Куда-то причаливали...

За Акантовым пришли и вывели его на воздух...

Россия... Акантов сразу узнал широкий простор Невы, Николаевский мост над нею и за ним дивно-прекрасную перспективу Английской набережной и Васильевского острова... Шпиль Петропавловского Собора блистал в отдалении над низкими, темными стенами крепости. Непривычно пустынна была Нева.

Здесь не таились и не скрывали Акантова. Здесь были у себя, дома: в коммунистическом государстве, где ведомым преступником никого не удивишь. Обыкновенное явление...

На набережной было несколько человек. Они были плохо, и бедно, не по осеннему, холодному, ветряному дню, одеты. Они смотрели на Акантова безразлично, пожалуй, даже и враждебно.

Какой-то советский паренек, в рваных штанах и каскетке, годной, разве, только для огородного чучела, сказал, показывая пальцем на Акантова:

– Гля... Какого дикобраза заморского привезли... Аж смотреть гнусно: живой мертвяк...

Женщина с красным обветренным лицом лихо сплюнула с губ шелуху подсолнухов и сказала:

– Поди, какой шпиен... Сколько их ловят!.. И первый добавил злобно:

– Попался, браток...

Черный автомобиль ожидал Акантова. В нем были солдаты-красноармейцы. Они походили и нет на прежних солдат, кого так хорошо знал и любил когда-то Акантов. И Акантов спросил одного из конвойных:

– Не знаешь, братец, куда меня везут?..

Акантов испугался своего голоса. Он так давно не говорил, что слова вышли глухо и неясно. Ответа он не ждал. Те, кто везли его по Франции, и те, кто на пароходе выводил его и подавал пищу, не разговаривали.

Солдат в небрежно надетой, топорщащейся шинели ответил равнодушно:

– А, должно, что в Москву: на Октябрьскую дорогу доставить приказано.

XV

В Москве Акантова побрили, причесали, и служитель почистил его платье: – Эх, браток, – сказал служитель, – как же ты без вещей-то попал? Нет, что ли, тут у тебя кого, чтобы передачу устроить тебе. А то, ить, рубаха твоя совсем истлела, ее и стирать нельзя. Поди, и вши заведутся, загрызут тебя совсем. Непорядок. Тебе к следователю идти на допрос. Непорядок так то...

И опять – эти надежды. Ну, к чему они? А в голове шли мысли: «Я в Москве, где я учился столько лет; в России, на Родине... У меня такие же права жить здесь, как у всякого, даже и большие... Ведь, не может быть, чтобы этого не поняли здесь. Ведь, все-таки, это Русские, такие же, как и я... Все должно объясниться и выясниться. Я на Родине!.. Все этим сказано...». Полный надежд,

уверенный, что ему дадут возможность высказаться и все объяснить, Акантов вошел в комнату следователя.

За письменным столом сидел человек лет тридцати, в широкой серой рубашке, подпоясанной черным ремнем. Темные, жесткие, непокорные волосы торчком стояли у него на макушке. Холодные, злые глаза были узко поставлены и разделялись тонким длинным носом. Узкие губы были сжаты. Что-то упорное, сектантское, упрямое, несокрушимое было во всем облике этого человека... Небрежным жестом протянул он Акантову серебряный в монограммах портсигар и сказал:

– Курите... Прошу. Садитесь.

Акантов с наслаждением затянулся папиросой. Следователь внимательно наблюдал его. Он достал со стола большую папку, перелистал лежавшие в ней бумаги и обратился к Акантову:

– Гражданин Акантов... Пятидесяти шести лет... Егор Иванович. Бывший генерал... Последнее время председатель Общества бывших стрелков Императорской армии... Так?..

– Так точно, – глухо ответил Акантов.

Теплый, тихий кабинет, деловой, внимательный тон допроса взволновали Акантова. Вины за собой он не знал никакой. Цели у большевиков могли быть самые различные. Все вспоминались эмигрантские, ни на чем не основанные, слухи, что Кутепов жив и занимает большое место в красной армии; все вспоминались те эмигранты, которые доказывали, что большевики эволюционируют, что они вовсе не такие, какими их рисует эмигрантская печать. Самый воздух России, папироса с табаком, Русским и не плохим, проясняла мозги, и Акантов подобрался и готовился на ясные и правдивые ответы.

– Гражданин Акантов, как видите, наша советская власть всемогуща. Партия большевиков, партия Ленина – Сталина, не есть нечто замкнутое в пределах советского союза; это сила, объемлющая весь мир, при том же, сила, которой все доступно... Чтобы не быть голословным, я прочитаю вам маленький список тех крупных людей, которых партия Ленина – Сталина нашла нужным изъять за границей, как врагов советского союза...

Следователь развернул тетрадку и стал читать по ней:

– Командующей Кавказской армией Вооруженных сил Юга России, Генерал-лейтенант Виктор Леонидович Покровский, зверски, я вам говорю – зверски – убит по нашему приказанию в Софии 9-го ноября 1922-го года...

Иван Михайлович Калинин, редактор газеты «Русь» в Софии. Ярый враг народной власти советов. Убит в Софии 24-го мая 1924-го года.

Карк, эстонский министр путей сообщения во время попытки коммунистического переворота в Эстонии, разстрелян по приказу нашего главного политического управления, так называемого ГПУ, 1-го декабря 1924-го года.

Коста Георгиев, болгарский генерал, убит на людной улице, в Софии 14-го апреля 1925-го года.

Мы взорвали, ибо сочли это нужным, кафедральный собор в Софии, где было 210 офицеров и горожан убито и 600 ранено. Устроил это 16-го апреля 1926-го года наш тогдашний агент в Болгарии Димитров, теперь председатель главного бюро 3-го коммунистического интернационала.

Украинский деятель Петлюра убит в Париже нашим агентом Шалемом Шварцбартом 25-го мая 1926-го года. Шварцбарт свободно возвратился в союз...

Иосиф Трайковский, польский гражданин, убит нами в Варшавском советском посольстве 2-го сентября 1927-го года.

Полковник Ктиторов, бывший начальник штаба генерала Сахарова, схвачен в Северном Китае, доставлен в советское консульство, оттуда в Хабаровск, и там, 28-го марта 1928-го года, после жесточайших пыток, разстрелян.

Петр Врангель, генерал, последний Главнокомандующий Русских армий, 25-го мая 1928-го года умер в Брюсселе... Мы берем и его смерть на свой учет, потому что она нам была нужна.

Генерал Кутепов, похищен нашими агентами в Париже 26-го января 1930-го года, доставлен в наш союз и здесь убит.

Рамишвили, грузинский министр внутренних дел, 7-го декабря 1930-го года убит в предместье Парижа.

Иоанн Поммер, архиепископ Рижский и Лифляндский, убит ночью 12-го октября 1934-го года в своем доме в Лифляндии нашими агентами. Дом его сожжен.

Димитрий Навашин, бывший наш заведующий торговыми делами, изменивший нам, 25-го января 1937-го года убит в Париже, в Булонском лесу, на глазах у прохожих.

Троцкист Нин арестован нашими агентами в Барселоне, доставлен в Мадрид и потом в Алкала де Хенарес, в августе 1937-го года, убит.

Игнатий Рейс, бывший наш агент, отказавшийся вернуться в союз, и бежавший сначала в Голландию, а потом в Швейцарию, убит недавно в Лозанне. Устроившая это убийство, наша служащая, Лидия Грозовская, находится в полной безопасности в Париже, в советском посольстве. Наконец, генерал Евгений Карлович Миллер, похищен нами в Париже, 22-го сентября этого года...

– Как видите, список не маленький. Я называю вам только более видных людей, нами устраненных... Те демократические государства, где мы расправлялись со своими врагами: Болгария, Латвия, Польша, Китай, Бельгия, Испанская республика, Швейцария и Франция, молчат. Никто не арестован. Мы нигде не имели ни малейшей неприятности, нигде не вызывали наших полпредов для кислых разговоров в министерстве иностранных дел, нигде нас не заставляли заплатить хотя бы небольшую денежную пеню в пользу вдов или родственников нами уничтоженных людей. Мы давим врагов нашей партии Ленина – Сталина, шпионов, интервентов и диверсантов в чужих странах так же спокойно, как давит окопный солдат вшей, вьевшихся в швы его мундира... Мы делаем это легко и просто. Я говорю вам это, гражданин Акантов, чтобы показать вам, что отказ вам ответить нам всю правду, ни к чему не поведет и никого не спасет. Я говорю с вами по душам, как человек с человеком, и я советую вам во всем признаться и все мне рассказать.

– Мне не в чем признаться.

– Подождите, гражданин Акантов... Ваше полное признание даст вам, если и не сразу свободу, то, во всяком случае, смягчение наказания, возможность впоследствии загладить вашу вину, даже, может быть, возможность служить великому делу освобождения народов от гнета капиталистов и укрепления партии большевиков, партии Ленина – Сталина...

– Я не знаю и не чувствую за собой никакой вины перед Родиной.

– Вы лжете, гражданин Акантов, вы ненавидели советский союз и в своих речах на банкетах и праздниках вы проповедовали непримиримую вражду к партии большевиков. Что же? Не было этого?..

Акантов молчал. Наконец, он тихо сказал:

– Моя Родина – Россия. Не советский союз.

– Прекрасно-с. Это вопрос идеологический. Но, согласитесь, гражданин Акантов, что уже одной этой вашей, так открыто высказанной, ненависти и непримиримости, вполне достаточно для вашего осуждения.

– Да, мы были врагами...

– Советская власть уничтожает своих врагов, где бы они ни находились. Она не мягкотела и не сентиментальна. Мы родились в крови революции и гражданской войны, и мы выковали в себе железную волю и решимость. Итак, вы признали, что вы были нашим врагом. Нам нужно не только ваше признание, но и ваше полное раскаяние. Вы должны нам назвать тех наших врагов, кто, подло забравшись к нам, готовил нам крушение.

– Я таковых не знаю.

– Извольте, я подскажу вам. Не мечтали вы, и даже вслух о том говорили, что вам желательно поражение нашей красной армии в возможной войне с внешним врагом, не готовили исподволь, пользуясь гостеприимством иностранных держав, своей белой армии? Не собирали вы своих стрелков и не говорили им, что война не кончена, что вы должны победить большевиков и изгнать их из России? Не проповедовали вы мирового еврейского погрома, не мечтали вы, путем интервенции, уничтожить счастье советских народов, раскрепощенных и нашедших настоящую свободу и счастливую жизнь под мудрым управлением нашего великого, гениального вождя народов Сталина?.. Вы молчите... Вы думали, что, укрывшись за спину иностранной полиции, вы можете все позволить себе. Вы должны же понять, что все то, что я вам перечислил, уже само по себе заключает тягчайшую вину перед союзом трудящихся, Вас ожидает высшая мера наказания, но, как человек, прежде чем коммунист, я вам советую облегчить это наказание чистосердечным

признанием и откровенными ответами на вопросы, которые я вам поставлю. Вы приезжали осенью 1935-го года в Берлин?

– Да, приезжал.

– Зачем вы туда ездили?

– Я ездил, чтобы взять мою дочь и отвезти ее в Париж, где хотел устроить ее на работу.

– Это был повод. Вы отлично знали, что ваша дочь взрослая и хорошо образованная гражданка, и что она могла просто выехать к вам по вашему письму. Тратить для этого ваши деньги и время, которых у вас было более чем недостаточно, было не нужно.

– Вы правы. Я как-то не подумал об этом. Мне так хотелось увидеть мою дочь.

– Вы очень ее любите? Акантов пожал плечами:

– Станный вопрос. Я вдовец. Она единственная моя дочь...

– Ну, так имейте в виду, что ваша дочь здесь. И от вас будет зависеть избавить ее от самых лютых мучений.

– Но... Этого не может быть!.. Моя дочь... В Америке!..

– А что, гражданин, *вы думаете, что Америка не в нашей власти?*.. Лампа на столе у следователя нестерпимо резала глаза Акантову. Кровь стучала в виски. Покрасневший, было, при словах следователя, Акантов стал опять смертельно бледным. Он был близок к обмороку, и с трудом понимал то, что совершенно спокойно говорил ему следователь:

– Да, точно... Поводом вашей поездки было желание повидать вашу дочь и увезти ее во Францию, но цель поездки была иная. Вы ехали в Берлин по поручению генерала Миллера...

– Да ничего подобного! – глухим голосом сказал Акантов. – Я больше года до поездки в Берлин не видел генерала Миллера.

Следователь настойчиво продолжал:

– Вы приехали в Берлин по поручению генерала Миллера, чтобы повидаться с товарищем Тухачевским и сговориться с ним о совместных действиях против советского союза...

– Неправда!.. Этого не было, – крикнул Акантов. Следователь продолжал, не повышая голоса:

– Вы виделись с товарищем Тухачевским в гостинице Кайзергоф и там...

– Но я не знаю такой гостиницы!.. Я никогда в ней не был!..

– В гостинице Кайзергоф вы сказали товарищу Тухачевскому, что перешлете через Германию триста офицеров для пропаганды и разложения красной армии...

– Да, если бы это было возможно!..

– Затем вы поехали с ним к одним немцам, фамилии их вам не назвали, и там вы говорили, что 180-ти тысячная армия может быть создана из Русской эмиграции и двинута на помощь Германской интервенционной армии...

– Да ничего этого не было!.. Арабские сказки какие-то, – пробормотал Акантов. Он уже прозревал истину. Его оговорили, он был нужен для какого-то показания против Тухачевского.

– Так вот где именно виделись вы с немцами, и не можете ли вы все-таки указать нам их приметы? Кого из Русских генералов предназначали вы на командные посты в этой армии?

– Клянусь вам, что ничего такого не было.

– Клянетесь?.. Напрасно... Ваши действия в Берлине нам известны с часа на час. Вы пробыли в Берлине четыре дня. Что вы там делали?..

– Извольте. Сколько смогу вспомнить... Ведь, это было два года тому назад...

– Такие дела никогда не забываются.

– Приехал я ночью. Я не говорю по-немецки, и совсем не знаю города. Меня встретила дочь и отвезла меня в пансион на Байеришер-плац, где для меня была снята комната.

– Почему вы не остановились там, где жила ваша дочь, у родственников покойной вашей жены?.. Это было бы проще и дешевле...

– Я не хотел их стеснить...

– Гм... Допустим, что и так. Хотя?.. богатые люди... Немцы... Дальше...

– На другой день я был у сестры моей покойной жены и провел весь день в семье. Вечером мы были с дочерью на концерте хора Жарова.

– Вы еще днем были в Зоологическом саду и в Аквариуме. Говорите все. Вы сами видите, что нам все известно...

– На концерте я случайно встретился с одним капитаном... с одним человеком...

– Не стесняйтесь, пожалуйста, говорите прямо: с капитаном Лапиным. Он уже нами арестован...

– Да... Разве?.. Этот человек уговорил меня придти к нему на следующий день послушать Московское радио... По непонятной мне слабости, я согласился, и весь вечер, до поздней ночи, провел у этого человека, но где это было, я, по незнанию улиц Берлина, не могу вам сказать...

– Это было на Розенгеймер-штрассе, в двух шагах от вашего пансиона...

– Да, в двух шагах...

– О чем вы говорили с капитаном Лапиным?

– Я не помню... Кажется, о Москве... О прошлой жизни, вспоминали Добровольческую армию...

– Говорите все.

– Я больше ничего не помню.

– Хорошо, я вам напомню. Жена Лапина декламировала вам стихи, потом вы говорили о вашей цели, о свидании с Тухачевским и условились на следующий день поехать в Кайзергоф.

– Нет, этого не было. Да, помнится мне, этот человек мне говорил что-то о Тухачевском, но я не поддержал этого разговора.

– Тем не менее, именно на следующий день вы поехали в Кайзергоф, где и имели свидание с товарищем Тухачевским.

– Нет. Этого не было. Я отлично помню, что этого не было. На третий день моя дочь приехала за мною утром, и мы поехали сделать кое-какие покупки... Моя дочь покупала себе платье и, кажется, еще шляпку осеннюю...

– Вы такой тонкий специалист по дамским нарядам? Позвольте вам тут не поверить и уличить вас. Если вашей дочери было нужно что-нибудь по части туалетов, разве не лучше ей было все это купить в Париже, куда она ехала? Кроме того, такие вещи она купила бы, естественно, или с теткой своей, или с кем-нибудь из подруг, но не с вами. Она разставалась со своими Берлинскими друзьями и ехала к вам; естественно, что и время ей нужно было проводить с ними, а не с вами... Вы неудачно сочиняете, и ваши показания не сходятся с тем, что показала ваша дочь... и капитан Лапин.

Следователь прекратил допрос, и быстро писал на бумаге.

– Вот, – сказал он, протягивая написанное Акантову – подпишите это заявление, и я попытаюсь ходатайствовать перед судом о смягчении вашей участи.

Акантов читал и глазам своим не верил. Такая ложь была написана следователем. На листе стояло:

«Я, гражданин Акантов, 56 лет, бывший Царский генерал, признаю себя виновным в том, что поступал по отношению к советскому союзу, моей Родине и к моему народу, как злейший враг, интервент и диверсант, что в мой приезд в Берлин, осенью 1935-го года, я виделся там с товарищем Тухачевским и сговаривался с ним и неизвестными мне немцами о создании Германской интервенции для сокрушения мощи партии большевиков, партии Ленина-Сталина. Я действовал так потому, что был введен в заблуждение и не понимал ни мощи советского союза, ни тех благ, которые оказаны великим и гениальным вождем народов и защитником угнетенных моей Родины товарищем Сталиным. Раскаиваясь в совершенном мною шпионаже и вредительстве, я обещаю весь остаток моей жизни посвятить на служение партии Ленина-Сталина, освободившей советский народ и создавшей ему счастливое и свободное существование...».

Акантов дочитал до конца. Бумага выпала из его рук и упала на стол. Он в изнеможении откинулся на спинку стула:

– Это пока, – сказал следователь. – Потом мы составим для вас письмо-обращение к Русским эмигрантам, офицерам и членам вашего объединения, и вы подпишете его. Этим вы можете избежать высшей меры наказания. Этим вы спасете и вашу дочь. Заявление это вы сделаете на суде, на показательном процессе всех изменников, шпионов и диверсантов...

Акантов встал. Внезапно он почувствовал былую силу. Громким голосом, глубоко возмущенный, он сказал:

– Ничего подобного я не подпишу и не напишу. разстреливайте меня. Казните... Пытайте мою дочь, но вашей лжи я не подпишу. Тут ни слова правды...

– Как вам будет угодно-с, гражданин Акантов... Именно, как вам угодно-с... Зачем нам вас сейчас и расстреливать? Раньше вы исполните все то, что мы от вас требуем. Расстрелять вас всегда успеем... Не беспокойтесь. Аппарат налажен...

Следователь надавил кнопку электрического звонка, в двери появился чекист. Следователь, с восторгом власти, грозно сказал:

– В «стоячую»!.. До востребования!..

XVI

По ярко освещенному коридору Акантова сопровождали два человека. Один – чекист, высокий, плотный солдат, с грубым, мордастым лицом, одетый в длинную шинель. Он был при шашке и револьвере. Он был молод и крепок, самоуверенность и самодовольство отражались на его лоснящемся, свежепобритом лице. Другой – старый человек, с седою щетиной давно не бритой бороды, был худощав. Его коричневатое-желтое лицо, изрытое глубокими морщинами, было хмуро и недовольно. На нем была рубашка черного грубого сукна, подпоясанная ремнем с револьверной кобурой. В руке он нес большую связку ключей, и шел впереди, чекист шел рядом с Акантовым.

В пустом, ярко, до боли в глазах, освещенном коридоре гулко раздавались тяжелые редкие шаги чекиста и частые, семенящие шаги сторожа. Звенели шпоры, бряцали ключи на железном кольце. У одной из темных дверей, против которой стояла деревянная скамья-диван, остановились, и сторож сказал Акантову:

– Тебе, гражданин, раздеться надо-ть.

– А?.. Что?.. Зачем?.. Как?..

– До белья раздеться надо и ботинки сними. А то не вынесешь, задохнешься. И босому ловчее стоять. Наши там, почитай, все в одних трусиках, *по-советски*...

Безвольно, вялыми, нерешительными движениями, Акантов снял пиджак, жилетку, штаны, ботинки и носки...

– Снимай и рубашку, – сказал сторож, и помог Акантову стянуть через голову рубашку. Было неудобно и зябко стоять босыми ногами на каменном полу коридора. Кожа на груди покрылась пупырышками и редкие седые волосы приподнялись на ней.

Сторож открыл дверь. На Акантова пахнуло жаркою, удушливою человеческою вонью. При свете, шедшем из коридора, Акантов увидел массу обнаженных людей. Белые и смуглые торсы, грязные подштанники и трусики, седые, черные, русые и лысые головы показались страшным зрелищем людского стада. Над ними и совсем близко, – так была мала комната, где они стояли, – стало видно окно, забитое досками со щелями... Так много было людей, и так плотно они стояли, что Акантову показалось, что они что-то вместе делают, тянут что-то общими усилиями. Но люди стояли неподвижно. У дверей, загораживая вход, стояло двое: один спиной, другой лицом в коридор. Тусклый, безконечно печальный взгляд этого человека, казалось, не видел коридора.

– Входи! – приказал чекист,

В Париже, в вечерние часы, Акантову приходилось иногда вот так же втискиваться в живое тесто людей, заполнявшее вход в вагон подземной дороги, но там были какие-то пустоты, куда как-то боком можно было протиснуться, там толпа шевелилась, осаживала, давая место. Здесь никто не шелохнулся.

– Входи!.. Чего еще там, – повелительно крикнул чекист.

– Некуда... Некуда... – раздались из камеры глухие, точно не человеческие голоса.

– Куда там входить?..

– Что вы, товарищи, делаете!.. Не видите, что ли!..

– Задыхаемся. Который человек помирает...

– Новичок... Граждане, новичок!..

– Новости нам расскажет, что на белом свете делается...

– Пустить надо...

– Да что там... Все одно поставят, нас не спросят, угодно нам, или нет...

– Да куда ставить-то? Что болтаешь зря. Иголку и ту не пропихнешь...

В толпе произошло движение. Чекист толкнул Акантова в спину и притиснул его к горячим голым телам. Было отвратительно прикосновение к смрадной человечине.

– Входи! – зарычал чекист в ухо Акантову.
– Куда же? – сказал Акантов, чувствуя, что некуда ступить ноге.
– Тебе говорят, сукин сын, входи! Чекист напер дверью на Акантова. Живая масса подалась. Под ногами был горячий мокрый пол. Вонь одуряла. Было больно ушибленному колену, упершемся в чье-то чужое костлявое колено. Чьи-то руки охватили Акантова за бока, сдавили ребра, что-то хрустнуло, кто-то вскрикнул и застонал. Акантов наступил на костлявую голую ступню, та отдернулась от него. Акантов навалился всем телом на большой мокрый живот и вместе с ним подался вглубь вдруг потемневшей камеры. Дверь затворилась. Глухо щелкнул на два поворота ключ.

Темно... Смерд, духота и жара такие, что у Акантова закружилась голова и потемнело в глазах.

– Ведь, что делают, – вынимая ключ из двери, сказал старый сторож. – Никогда того раньше не было. Чисто как со скотиной обращаются с людьми. Я при царях служил, так разве когда такое было?

– Чего, браток, скулишь? – сурово сказал чекист – Али, сам туда же захотел?.. Долгое ли дело. Говоришь без разсудка. Советская власть тебе не прежний ряжим...

– Помрут, ведь, люди-то там.

– А тебе забота... Не ты помрешь, а они... Что тебе?.. Али жалко их стало?..

– Жалко не жалко, а все как-то неловко так поступать... Счастливая жизнь!..

– Так это же, браток, враги народа... Старик, что привели, ну, чистая контра. И заметил, аль нет, крест на нем висит... Сам понимаешь, какая это гадина...

– Кто знает, – вздыхая, сказал сторож, – где она, правда то?..

– Чего, старина, забузил. Сполняй, что прикажут, не твой приказ, не твой и ответ.

Старик вздохнул, и пошел по коридору. Чекист шел рядом с ним.

– Твое дело молодое, – сказал старик, – а мне?.. Глаза мои не видели бы того. Перед Богом отвечать, ведь, придется...

– Э... Заскулил, браток... И с чего?.. Ну, хорошо: я – есть я. Я, может, и смолчу про твои неподобные речи, а ну другой кто услышит?.. Партиец?.. Нынче и нашего брата, коммуниста, почем зря хватают. Пощады никому не дают... Я видал, браток, как маршала Тухачевского разстреливали. Ирой гражданской войны! За границу ездил!.. Маршал советского союза и орденосеца, а тоже, приставили к стенке, тюкнули в затылок, и нет тебе ничего, ни маршала, ни каких прошлых заслуг его перед народом...

Старый надзиратель шел молча. Двоили его шаги с мерным и редким шагом чекиста, звенели в руке ключи. У входа в караульное помещение старик приостановился и, тихо, точно для себя одного, сказал:

– Ну, чисто – скотина!..

XVII

Где я? – спросил Акантов. Пот лил с него градом, и в этом было его спасение. Дыхания не хватало, и было отвратительно вдыхать густой и жаркий, нестерпимо вонючий воздух. В темноте черными силуэтами намечались головы стоящих людей, слышались тяжелые вздохи, сопение и шепот.

– Вы там, о чем сказано: «Кто не был, – тот будет, а кто будет, – тот не забудет». Слыхали когда-нибудь это?..

– Нет, никогда не слышал.

– Откуда тогда вы, что не знаете того, что на стенах советских тюрем арестантами начертано... Здесь это и малые дети знают.

– Я из-за границы. Из Франции.

– Эмигрант, эмигрант, – гулом понеслось по камере. – Послушаем, что он расскажет.

– Как же вы сюда-то попали. Возвращенец, что ли?

– Меня обманом затащили в западню и увезли...

– Так... так... Ведь, мы, гражданин, кто вы такой, не знаем, про за границу ничего, окромя всякого вздора, не слышали. Нам говорят, что там люди с голода дохнут, что там людей хватают и уничтожают. Нам и в газетах, и по радио, твердят, что только у нас довольство и сытость, и счастливая жизнь свободного народа, не знающего эксплуатации...

– Какая у нас свобода, сами видите теперь!

– Самое большое достижение большевистской власти, это – обращение людей в убойный скот.

– Убойный скот? – послышался голос из угла. – Да разве какой хозяин набьет такой убойный скот?.. Убойный скот кормили, чтобы он в весе, не потерял, а нас...

– Пойдите, гражданин, послушаем, что нам расскажут про за границу. В полном мраке, не было видно, кто говорит. В душном, спертном воздухе голоса были глухи, говорили не громко. Акантов коротко рассказал всю свою историю, как работал он на заводе, как бедствовал, как попал в банк, как обманом увезли его в какой-то советский дом в Париже, и с того времени он потерял счет дням.

– Да, в самом деле, что у нас теперь? – спросил кто-то.

– Кто же тут упомнит...

– Астапова спросите. Он недавно здесь... Иван Лукич, когда вы к нам попали?

– Да, помнится, 1 -го октября, три дня тому назад...

– А меня увезли 23-го сентября; видите, сколько времени я пространствовал?..

– Да как тут и угадать-то время, – сказал кто-то из угла, судя по говору, из простых, – три раза днем оправляться выводят, да раз суп советский подают, вот и все наше счисление времени. Атак все одно: днем ли, ночью ли, все мрак один кромешный...

– Вот, вы, гражданин, – раздался голос совсем подле Акантова, – вы, все-таки, были по нашим-то, советским понятиям, контрреволюционер, слуга старого режима, значит, по-нашему, враг народа...

– Ну, какой они враг народа, – перебил кто-то из угла, – человек на заводе простым рабочим работал. Уже чего же проще...

– Для них все одно, кто старый человек, кто служил при царях, он – враг народа... А я!.. Я старого ничего даже и не помню. Я совсем еще маленьким был, как случилась революция и пал царизм. Ничего старого, прежнего, я даже и не знаю, не слышал и не видал. Я вырос при новом, стопроцентный коммунист, и притом же и летчик. Мне и при большевиках жизнь улыбалась. Природа наделила меня силою и красою. Женщины меня любили, и я любил их, а больше того любил я свое летное дело. Бывало, взлетишь, в небесную синеву: кругом необъятное небо, внизу земля, как разостланная карта, не видно людей. И кто я тогда... Говорят, что там был какой-то Бог, был царь, – я сам тогда и Царь, и Бог... Служил я не за страх, а за совесть. Ну, и меня отличали... Мне советская власть дачу под Москвой подарила, автомобиль свой у меня был. Счастливая жизнь была!.. Казнили тут одного видного коммуниста. Оболгали его. Я тогда на суде сказал, что я думаю, сказал, что, если таких людей казнить будут, так никто и служить больше не станет. Сказал, что хороших слуг советского союза надо беречь и холить. Меня арестовали на другой же день. Чекистский следователь вздумал хамить со мною. Человек я горячий, схватил чернильницу и разбил ею голову следователю. Ну, все-таки большой я был человек, и в нашем военном воздушном флоте таких знатоков, как я, один-два и обчелся. Голыми руками меня не возьмешь... Заступились за меня, освободили. Только не надолго. Нами правит, ведь, не партия, не товарищ Сталин, а Чека... Вдруг, слышу: Туполева арестовали. Понимаете, Туполева!.. Гордость нашу. А я всегда на его аппаратах летал, «АНТ» любил я его крепко. И вдруг – его арестовали... А там и пошли аресты и разстрелы моих начальников, героев моих: Тухачевского, Якира, героя гражданской войны, на его подвигах нас воспитывали, Уборевича, Корка, Путну, Примакова, наконец, и моего начальника, руководителя Осоавиахима, Эйдемана, Фельдмана... А там Гамарник застрелился... Всю головку красной армии сняли... Человек я горячий, выпить, при том же, в хорошей компаний люблю... Высказался... Вчистую, что на сердце залегло, все так и выложил перед друзьями-приятелями... Ну... Донесли, конечно... Вот тут-то и добралась Чека до меня. И сразу сюда, в стоячую камеру... На пытку... Вторую неделю стою...

– Что же это за стоячая такая камера? – спросил Акантов.

– А вот это и есть, где вы теперь находитесь, – сказал летчик. Сбоку Акантова, от стены, кто-то, должно быть, старый человек, сказал, шепелявя беззубым ртом:

– Вы слышали про средневековые пытки, про дыбу, про выворачивание суставов, про истязания плетью, про железную женщину с гвоздями; может быть, когда приходилось вам и в музеях эти самые снаряды видеть?.. А то, может быть, читали роман Октава Мирбо «Сад пыток»?.. Читали?..

– Нет, я романов никогда не читаю.

– А жаль... жаль... Там такие страшные китайские пытки описаны, читать жутко... Так тут много ужаснее. Тут целая комиссия чекистов с евреями-врачами работала, изобретала такие пытки, чтобы совершенно поработить человека, сделать его просто орудием своей власти. Вот, между прочим, и изобрели эту пытку стоянием... Видите, как нас тут набили сюда, что и сесть никак нельзя... Жара... Воздух ужасный. Ноги болят и пухнут. И так, вот, и стоим: кто две, кто три недели; вон, профессор четвертую неделю стоит, совсем плох стал. И никто ничего не знает, почему за что, что кого ожидает, кому какое дело пришлют...

– Что ожидает-то? Конечно, смерть... Кто отсюда выходил?..

– Ну, ничего еще неизвестно...

– А потом, значит, к допросу. Значит, скажи, что им нужно: выдай своих близких, друзей, товарищей, или опять сюда... Видите: научно поставлено...

Должно быть, светать начинало. Стали просвечивать щели между досок, закрывавших окна, и в мутном этом свете Акантов увидел, что в малой камере, со стенами, по которым текла вода, стояло человек около шестидесяти.

– Граждане, – сказал кто-то из середины. – Профессору опять дурно. Подвиньтесь немного, мы его к окну переставим...

Акантов увидел, как, с невероятными усилиями, люди, как вещь, передвинули полуголого истощенного старика с седыми волосами и седой отросшей бородой, и приставили его к стене под окном. У старика голова была опущена, глаза закрыты. Лицо его было так бледно, что можно было думать, что он уже умер.

– Все ветерком обвеет, может быть, и еще раз отойдет...

Старик вздохнул и приоткрыл светлые глаза. Равнодушным, ко всему безучастным, взглядом он осмотрелся и снова закрыл глаза.

– Видите, как... – шепнул Акантову тот, кто рассказывал про «Сад пыток» Мирбо.

Дверь в коридор растворилась, в просвете стоял молодец к черной рубаше, рыжий, толстомордый, круглолицый, румяный, с наглыми котовыми глазами:

– Гражданчики, пожалуйста, опростаться кому нужно...

XVIII

Акантов с изумлением и ужасом наблюдал, до какого оскотинения можно довести людей. Молчавшая толпа вдруг загомонилась довольными голосами. Послышались смешки, неприличные шутки. Все задвигались и стали выходить в коридор. Человек десять чекистов, с револьверами в руках, их ожидали. Напрасная предосторожность. Эти измороженные, измученные люди и не думали о побеге или сопротивлении. С довольными лицами, они торопились выходить из камеры. Они размахивали руками, расправляя суставы; одни шли каким-то петушиным шагом, высоко поднимая ногу в колене, другие переступали часто ногами, будто танцуя, каждый торопился сделать на протяжении тех ста шагов, что отделяли камеру от уборной, возможно больше движений.

В камере остался только старый профессор: он продолжал стоять, прислонившись к стене под окном, потом, лишившись опоры в соседях, заскользил ногами и упал на грязный, мокрый пол, покрытый нечистотами... Длинное худое тело глухо ударилось о камни. Пришедшей с метлой сторож потрогал старика, и побежал за людьми, чтобы прибрать умершего.

В уборной мыться не полагалось. Да и времени на то не было. Но можно было посидеть несколько минут. Акантов, простоявший всего только полночи, еще не знал в полной мере радости дать отеки ногам, распушим ногам с надутыми синими жилами возможность отдохнуть. Но он видел наслаждение на лицах сидящих людей. Все на свете относительно: и, после нескольких недель стояния в тесноте, эти несколько минут сидения в светлом помещении давали радость.

Это была жидовская школа Ленина-Сталина. Она была тем ужасна, что, доводя человека до нестерпимых лишений и физических страданий, заставляла радоваться таким пустякам, как возможность посидеть несколько минут... Легко было таким людям устраивать веселую и счастливую жизнь.

И особенно наслаждался летчик. Теперь, в светлой, обширной уборной, Акантов разглядел его.

Красавец мужчина!.. Две недели пытки не сломили его. Румянец сполз с его щек, но все еще были он полны, и радость жизни сверкала в больших черных глазах. Тело было белое. Упруги были

сильные, красивые ноги. Как тяжело, вероятно, было летчику сносить эту пытку, грязь, лишения и нечистые прикосновения. Как тосковал он по воле!.. Сидя, протянув длинные стройные ноги, он любовался ими, и довольная усмешка была на его красивом, поросшем темными усами и бородой лице.

– Ну, гражданчики, – прервал отдых сторож, – время кончать, вставать пора... Сейчас вам подам и кипяточку попить, желудки пополоскать...

Когда подходили к своей камере, встретили двух сторожей, выносивших тело профессора. Шедший рядом с Акантовым, арестант сказал:

– Почти каждый день кто-нибудь кончится так. Трудно выдерживать такую пытку, да еще и старому человеку...

Другой сказал:

– Я тридцать пятый день стою. Ничего, креплюсь...

Акантов посмотрел на говорившего. У того было белое с зеленоватым оттенком лицо трупа, обвисли, дряблые щеки, неровно поросшие желтой щетиной, в крупных серых морщинах, глубоко запавшие в глазницы, глаза горели мрачным не погасающим огнем железной воли.

– За что вас так долго держат? – спросил Акантов.

– Их спросить надо.

И, помолчав, тихо добавил:

– В Белой армии когда-то против них сражался. Дознались. Донесли, сволочи... Теперь пытаются, кто еще здесь со мною был из белогвардейцев...

Круглолицый, веселый сторож роздал каждому по куску сахара и по полфунта плохо выпеченного черного ржаного хлеба, потом дал по кружке тепловатой воды.

Полутемная камера наполнилась звуками жевания и вздохами.

Люди дышали в лицо Акантову смрадным, нечистым дыханием. Иные жадно глотали, другие жевали медленно, переворачивая липкие комки хлеба от одной щеки к другой, запивали хлеб глотками сладковатой воды и мычали от удовольствия.

«Да, подлинно, скот», – думал Акантов, и сам себя ловил на том, что наслаждается жвачкой скверного хлеба, где то и дело на зубы попадала то соломина, то камешек, то клочок тряпки.

После еды, долго, часами стояли молча, в полудреме, тесно касаясь один другого, и все гуще и тяжелее становился воздух... Иные дремали с полузакрытыми глазами, другие что-то шептали, и жалкое, бессмысленное выражение было на их лицах, слабо освещенных дневным светом сквозь щели между досок.

Так продолжалось до тех пор, пока не услышат стука сапог за дверью, не отворится дверь, не появится красная рожа, и не крикнет весело, ободряюще, с московским говорком, человек с круглыми котовыми глазами:

– Гражданчики, пожалуйста, опростаться кому нужно...

После полудня и под вечер в глиняных чашках роздали жижу с капустой и отрубями и, как будто, с крупой. От жижи несло помоями. На ночь дали горячей воды и выводили в уборную.

– Вроде, как собак, нас водят, – сказал весь заросший бородой крестьянин.

ХІХ

Дни шли за днями. Акантов потерял им счет. Он чувствовал, как переставала думать, вспоминать, мечтать его голова, как наступало оскотинение. Уже не было противно прикосновение к чужим грязным телам, не было гадко, когда чужие ноги напирали на него, или, как, вдруг, где-нибудь в толпе, журчала струя и теплая влага заливала босые ноги. Никто ничего не скажет. Только кто-нибудь вздохнет тяжело... тяжело...

Акантов видел, как каждый день утром выносили кого-нибудь задохнувшегося в жаркой вони. Свободнее от этого не становилось. На место вынесенного, являлись новые кандидаты, новые пытаемые. Новичков спрашивали, что нового делается в Москве. Но нового ничего не было, а если что и было, так о том никто не знал. Передадут какую-нибудь остроту насчет советской власти, но и острота не произведет впечатления. Тут люди научились ничего не ждать и ни на что не надеяться.

Иногда, – больше из новых, – попытаются петь, но песня сорвется в рыдание, и тогда надолго замолчит стиснутое между каменных стен людское стадо.

Еще однажды увидел Акантов, как вдруг, когда выводили утром в уборную, летчик кинулся на колени перед чекистом, обнимал его ноги, целовал руки, и, рыдая, кричал:

– Отпустите меня... Я партиец... Я коммунист... Я все сделаю, что вы мне прикажете. Я ни слова ни против кого не скажу...

Его оттащили силой. Через два дня его увели, и больше он не возвращался. Между пытаемых прошел страшный слух: «летчика разстреляли»...

Так, по приблизительному подсчету Акантова, он простоял две с половиной недели.

Однажды, после вечернего кипятка, его вызвали:

– Гражданин Акантов, на допрос...

Ему дали одеться, и тюремный парикмахер побрил его. Ко всему этому как и к самому допросу, Акантов отнесся равнодушно. Мозг был усыплен, голова не работала.

Акантова вели по длинным, ярко освещенным, чистым, даже нарядным коридорам, и странными казались ему свет, чистота и легкость прохладного осеннего воздуха, шедшего через открытые форточки, после темноты, грязи и удушливой вони в их стоячей камере, но Акантов даже не радовался этому, он оступел и был пришиблен.

Вдруг в коридоре, из-за не плотно притворенной двери, раздались стоны, и женский голос с отчаянием воскликнул:

- Папа!.. Папочка!.. Сознайся во всем... Скажи все, что от тебя требуют... Меня здесь мучают из-за тебя...

Акантов кинулся к двери, но сопровождавший его чекист грубо схватил его руку и с силой втолкнул в дверь соседней камеры....

Та же комната, где снимали с него первый допрос. Тот же следователь, со слащавой улыбкой на лице, за столом. Точно ничего не было, никаких пыток, и только вчера был самый допрос.

– Садитесь, пожалуйста, вы, должно быть, так устали стоять...

Голос следователя тих и вежлив. Он полон будто даже и сочувствия к Акантову.

Странно и невыразимо приятно ощущение сидеть на стуле, опираясь на спинку. В кабинете ровная теплая температура и слегка приятно пахнет табачным дымом. Акантов собирал свои мысли, чувствовал, что ему нужно сказать нечто очень важное, и не мог вспомнить, что именно нужно ему сказать. Наконец, в голов прояснилось, и Акантов сказал срывающимся хриплым голосом:

– Зачем вы мучаете мою дочь?.. Это моя дочь там кричала?..

– А, вы слышали? – спокойно сказал следователь, и протянул Акантову портсигар. – Возьмите, курите, пожалуйста... Как вы изменились за это время... Родная мать не узнала бы вас...

– Раньше – моя дочь, – прохрипел Акантов, отстраняя портсигар следователя.

– Ваша дочь вполне в нашей власти. И курите, пожалуйста, не стесняйтесь...

Акантов взял папиросу, следователь поднес ему спичку. Акантов закурил, и вдруг мысли о дочери исчезли, растворились, и было одно наслаждение: курить и курить...

– Так в чем же дело? Что мне нужно вам показать? – между затяжками папиросой, говорил Акантов. – Я вижу, что вы добрый следователь. Я хочу даже думать, что вы желаете мне добра. Что же я должен сказать вам?

– Только и всего, что откровенно и подробно рассказать, с кем вы виделись и что говорили в бытность вашу в Берлине?..

Будто железные обручи туго стянули лоб Акантова... Будто их скручивали стальными винтами: еще один поворот, и лопнет череп...

– Я ничего не помню... Ничего не знаю.... По чистой совести, я ничего не могу вам сообщить...

– По чистой совести?.. Допускаю, что вы ослабли и могли многое забыть. Мы помним все за вас. Извольте подписать то, что я вам набросал, и все будет ладно...

– Как я могу подписать то, что не соответствует действительности? Зачем я буду брать на себя показывать...

– Я понимаю... Вы устали... Это и правда, что так трудно стоять целыми неделями... Я вам продиктую, что нужно. Вы подпишете диктовку, и этого будет достаточно. Мы пошлем ваше показание, куда надо...

– Хорошо, – с угрозой в голосе сказал Акантов. – Давайте мне бумагу. Я напишу все, что я видел, что я слышал здесь, и все, что я пережил за эти дни. Я опишу всю вашу систему пыток, всю вашу дьявольскую ложь, все ваше чисто-еврейское издевательство над человеком. И тогда – ха-ха-ха!..

– Фотографируйте, посылайте!.. Ха-ха-ха!.. Напишу и про то, что вы похитили мою дочь... Пусть прочитают про правду за границей. Там тоже немало вашей лжи пущено... Ха-ха-ха!.. Акантов дико смеялся. Он никогда в жизни так не смеялся. Ему самому было страшно своего смеха.

– Напрасно смеетесь, – строго сказал следователь. – Смеяться будете после. Не думайте, что все так и кончено для вас. У вас, оказывается нервы крепче, чем мы думали... Ну, да и то – офицер... царской армии, – с издевательством сказал следователь. – Войну повидали, так что вам!.. Можем вам и больше показать, чем то, что вы повидали...

Следователь достал из стола фотографии и, протягивая их Акантову сказал:

– Бросьте ваш отвратный, идиотский, белогвардейский смех и посмотрите на то, что мы можем и для вас применить...

На фотографии, не очень, впрочем, отчетливо снятой, не разобрать было: с натуры снята она или с рисунка, был голый человек. Лицо в несказанной муке, полуопущенные глаза налиты нечеловеческим страданием, руки скрючены, пальцы точно в судорогах. Человек стоит в небольшом помещении, полном огромных и, как видно, голодных крыс. Они впились в человека, они висят на груди и на ногах, и кровь течет из-под их острых зубов. Они, как черная грубая сеть, накинутая на человека. Везде следы ранений, прогрызенная кожа, кровавые потоки. Пол забросан трупами крыс. Видно, что человек боролся с ними, душил их, перегрызал им горла: его рот в крови, но крыс было так много, что он изнемог в борьбе и отдался им. Крысы овладели человеком. Мелкие зубы, маленькие и острые когти прогрызали и процарапывали кожу, добирались до мяса, до внутренностей. В животе сквозила черная дыра и крысиный зад и длинный, прямо висящий хвост торчал из нее...

– Видали?.. Поняли?.. Усвоили?.. И это нам вполне доступно... И никакая сила мира не может нам помешать все это с вами проделать... Пожалуйте обратно карточку... Этой пытки еще никто не выдерживал...

Странная вещь: Акантов смотрел вполне равнодушно на карточку, так невероятной казалась она ему так невозможной, так все телесное в нем было притуплено, что он, как будто, даже и не понял того, что ему было показано.

–Что? Нестрашно?..

Акантов молчал. Тупая усмешка была на его лице.

– Тогда посмотрите вот на это.

На карточке, поданной следователем, была видна только голова человека, стоящего в воде. Глаза были выпучены, ужас застыл в них. Сверху, упавая возле головы, лилась тонкая струя воды.

– Вам не понятно, почему человек так ужасен; извольте, я поясню вам: это профессорская, научная выдумка. Помещение закрыто. На фотографии это не видно. И вот, в помещение медленной струей, непрерывно и ровно, льется вода. Она покрыла ноги, поднялась до колен, выше и выше, залила грудь, подошла к голове. Помещение наглухо закрыто. Воздуха становится все меньше и меньше, вода вытесняет воздух и льется, льется... Вы понимаете, человек задохнется раньше, чем захлебнется водой... Неглупо придумано?.. Психиатры работали... Смерть приближается медленно и неизбежно... тонкой струей... и человек видит, как подходит к нему конец. Психиатры говорили, что это страшнее электрического стула американского, ну да нам дан заказ от партии: догнать и перегнать Америку! Эта ванна построена на точном изучении нервной системы и мозга человека... Так вот-с, предупреждаю вас: если вы не покажете всего того, что я вам сказал, вас постигнет одна из этих пыток, а, может быть, и обе вместе: сначала одна, потом другая...

– А вы знаете, – тихо сказал Акантов, и следователю страшно стало его тихого и ровного голоса. – Вы знаете: все это пустяки... Понимаете... перед вечностью-то...пустяки!.. Попробуйте меня, а я в Бога уверую по-настоящему... По-настоящему...

– Э!.. вот, что, – недовольным голосом сказал следователь, – вот куда поехало... Ну, тогда...

Он вызвал чекистов и, глядя в глаза Акантову своими холодными светлыми глазами, безстрастно сказал:

– Отправьте гражданина в семнадцатый номер!..

В семнадцатом номере было слишком много света и было нестерпимо жарко. Белые стены были мокры от пара, из невидимых отверстий поступавшего в камеру.. Яркий, резкий свет сильных ламп с рефлекторами лился отовсюду. Некуда было от него укрыться. Акантов был один в камере. Было так жарко, что Акантов поспешил раздеться донага.

Свет, тепло, сырость, одиночество первую минуту показались ему даже приятными после стоячей камеры. И воздух, парной и душный, был все-таки чистый. Тело Акантова покрылось испариной, как на банной полке, грязь сходила с него. Вши выпаривались... Но это приятное ощущение длилось недолго. Свет стал утомлять, раздражать. Хотелось крикнуть: «Погасите свет!»... А свет заливал Акантова со всех сторон. Акантов схватил пиджак и накинул его на голову. Сейчас же дверь отворилась, вошел чекист и отобрал от Акантова все его платье и белье... Акантов ложился на пол, корчился под светом, и чувствовал, что свет прожигает ему затылок, давит на мозг. Акантов садился в угол. Отраженный от мокрых стен свет не давал покоя. Он был везде.

Свет и тишина... Мертвая, ни единым шорохом не пробужденная тишина...

Время шло. Акантова выводили в уборную, приносили ему теплую воду в кружке, похлебку, воняющую помоями, черствый хлеб. Его как-то питали. И, после этих коротких мгновений, все тот же свет, тишина и одиночество...

Дни и ночи; сна не было; невозможно было спать при этом свете. Одолевала бездумная дремота. Акантов примащивался на голом полу, чтобы заснуть по настоящему, – невидимая рука направляла источник света прямо ему в глаза, и Акантов вставал в неопишуемой муке томления...

И вдруг, по истечении некоторого времени, а сколько ушло времени, Акантов не мог дать себе отчета, свет исчез, и такая же полная, абсолютная темнота, как был полный, абсолютный свет, окружила Акантова. И казалось, что, вместе со светом, исчезла и тишина. Шорохи, шепоты, стоны стали слышаться в кромешном мраке наглухо закрытой камеры, и стало страшно до потери сознания. И от страха было уже не до сна. И опять так прошло немало времени.

Вдруг наверху показался зеленый свет. Точно кто-то огромный, наполнявший всю камеру, заглянул в нее единственным зеленым глазом и подмигнул с лукавой усмешкой.

Акантов сидел в углу и не мог оторвать глаз от зеленого огонька. Он разглядел, и понял, что это зеленая электрическая лампочка, устроена у потолка, но внутренними глазами видел другое, и это другое было ужасно. Он видел глаз дьявола, мысленно дорисовывал себе очертания того громадного, кто смотрел на него зеленым глазом.

Оно было черное и косматое. Оно глядело на Акантова, и Акантов чувствовал себя в его власти.

И так прошло еще время. Может быть, несколько минут, может быть, часы. И вдруг, от места, где был зеленый глаз, раздался мерный голос. Кто-то отчетливо, безстрастно, тоном спикера радио, говорил:

– Я признаю себя виновным в том, что осенью 1935-го года, я приехал из Парижа в Берлин со специальной целью свидеться с товарищем Тухачевским и договорится с ним и немецкими генералами, фамилий которых я не помню, об интервенции в Союз советских социалистических республик. Мы виделись три раза в гостинице «Кайзергоф», и я обещал, от имени генерала Миллера, что Русская эмиграция выставит 180-ти тысячную армию. Я признаюсь в том, что я действовал, как самый злейший враг моего народа, как шпион, интервент и диверсант, предающий капиталистам интересы трудового пролетариата... Я знаю, что мне нет снисхождения, и почту смерть лишь справедливым возмездием за все, мною содеянное...

Потом мгновение молчания, полного шорохов, шелеста, стонов и шепотов, и снова тот же ровный голос, с такой же настойчивостью, четко выговаривая каждое слово, начинал:

– Я признаю себя виновным в том, что осенью 1935-го года, я приехал из Парижа в Берлин...

Так продолжалось десятки, *сотни раз*. Проговорит признание, помолчит с полминуты, и снова начнет... Будто там была заведена наговоренная граммофонная пластинка.

Зеленый глаз подмигивает, черное чудовище ухмыляется из кромешной тьмы, качает головой и точно приговаривает:

– Что, брат, попался... Признаешь теперь свою вину?..

Глаз исчез... Было темно и теперь совершенно тихо. Жара стала меньше. Акантов растянулся в полном изнеможении и закрыл глаза. Засыпая он, точно в детстве затверживая урок, все

повторял: «Я признаю себя виновным в том, что...», он договаривал все до конца, боясь забыть, пропустить, какое-нибудь слово или сбиться...

Так бывало с ним тогда, когда ему приходилось говорить речи в собрании. Придумает речь, и потом на ночь, и, когда ехал по подземной дороге, на собрание, все повторял в уме первые фразы доклада или речи.

И с этим «я признаю себя виновным», он, наконец, заснул глубоким, тяжелым сном.

Проснулся Акантов от того, что его грубо растолкали и оторвали от сна. Сердце часто билось и так щемило, что Акантов схватился за него.

Чекист бросил Акантову его белье и платье, и крикнул:

– Одевайся!..

Через дверь мутный свет зимнего дня вливался в камеру. В коридоре стоял наряд чекистов в шинелях и шапках.

Акантов ничего не соображал, ни о чем не думал, но в уме непрерывно, точно там разматывалась бесконечная лента с написанными на ней словами, повторял:

– Я признаю себя виновным в том, что осенью 1935-го года...

Он договаривал в уме все длинное признание и тогда, когда шел по светлому и чистому коридору, и красная полоска, проведенная вдоль карниза, дрожала и прыгала перед его глазами и тогда, когда влезал в большой черный автомобиль, и когда ехал в нем, и когда выходил из него, и перед ним на мгновение мелькнула улица Москвы, толпа народа и большое, высокое красивое здание. Он не узнал его. Он был слишком занят затверживанием своего признания...

Десять человек «интервентов, диверсантов, предателей пролетариата», судили публичным народным судом в нарядном публичном зале московского Дворянского собрания. Густая черная толпа наполняла большой зал.

Акантова посадили рядом с неизвестными ему людьми, кого он увидел первый раз в жизни.

Акантов смотрел на белые стройные колоны, покрытые пылью, на ступени возвышения, на мрамор и позолоту, на красные полотнища, на портреты «вождей» пролетариата, висевшие на месте Императорских портретов, на широкий, длинный стол, покрытый красным сукном, и ничего не вспоминал, ничего не понимал. Все это было для него лишь продолжением того страшного, кошмарного сна, когда являлось ему косматое чудовище, подмигивало зеленым глазом, и когда слышался ровный, мерный голос, и было самое главное. Ему нужно было повторить это, и тогда он освободится от дьявольского наваждения сна и проснется.

Он видел за красным столом небольшого человека, корявым лицом, редкими рыжими волосами, с трясущимся на толстом, мясистом носу пенсне, все время поглядывавшего то на одного, то на другого из сидевших против него людей, разнообразно одетых, робко пожимавшихся на скамьях. Акантов прислушивался к крикливому, неприятному его голосу. Этот голос уже второй раз повторил его имя:

– Гражданин Акантов... Гражданин Акантов, я вас спрашиваю! Признаете себя виновным?..

Акантов встал. Наружно это и точно бывший генерал Егор Иванович Акантов, исхудавший, постаревший, с опухшим, болезненно белым лицом, давно не бритый, с отросшими белыми волосами. Но внутри ничего не было от того Акантова. Ничего живого в нем не было. Мозг его спал. Он не смог бы ответить на самый простой вопрос.

– Я признаю себя виновным в том, что осенью 1935 года приехал из Парижа в Берлин со специальной целью свидеться с товарищем Тухачевским и договориться с ним и немецкими генералами, фамилий которых я не помню, об интервенции в Союзе советских социалистических республик...

Зеленый глаз поощряющее подмигивал ему из-за колонны. С каждым произнесенным безразличным голосом словом признания Акантов чувствовал, как какая-то тяжесть спадала с него. Он сам не слышал своего голоса, и не понимал, что он говорит, да это было и не существенно: ведь все это было во сне!

– Мы виделись продолжал Акантов, – три раза в гостинице Кайзергоф, и я обещал, от имени генерала Миллера, что русская эмиграция выставит 180-ти тысячную армию. Я признаюсь в том, что я действовал, как самый злостный враг моего народа, как шпион, интервент и диверсант, продающий капиталистам интересы трудового пролетариата. Я знаю, что мне нет снисхождения. Я

требую себе высшую меру наказания, и почту смерть лишь справедливым возмездием за все, мною содеянное...

Неистовые, злобные крики и вопли потрясли весь зал:

– Предатели!.. Троцкисты!.. Продажные шкуры!.. Шпионы!.. Смерть им!!

– Таким псам мало смерти...

– Их замучивать надо-ть...

– Народ требует казни!..

Читали постановления артистов, писателей, профессоров и ученых: все требовали беспощадного суда и истребления народных врагов.

Чтение каждого постановления сопровождалось криками, каких никогда еще не слышал Акантов, и какие могли быть только во сне... Акантов слышал эти крики, видел поднятые кулаки, протянутые к нему, искаженные злобой лица со сверкающими глазами, и ему не было страшно... Он не сознавал, что это же была его Москва, куда он так хотел попасть, где так раздумчиво-печально звонили в полночь колокола на Спасской башне, где играл прекрасный симфонический оркестр под управлением Голованова, где пела певица Нежданова, где родился когда-то сам Акантов, и где он учился... Он, как во сне, не понимал, где это происходит, что ему угрожает... Во сне не страшна угроза...

Под этими криками, под бурей гнева и возмущения, стоял точно не живой бывший генерал Акантов, но какой-то безжизненный манекен, покорный чужой воле.

"Народ требует казни!..". "Да когда же это так случилось, чтобы боголюбивый и добрый народ Русский так полюбил кровь и казни?.."

Акантов слушал крики, смотрел на волнующееся море публики, на злобные лица, и ничего не понимал. Но ведь, это был сон, только сон!.. И, как во сне, был и перерыв, когда Акантова отвели в отдельное помещение, и там, на листе плохой бумаги, дурным пером и скверными чернилами, он, под диктовку, писал, ничего не соображая, обращение к Русским эмигрантам, "белым офицерам и солдатам". Своим мелким, бисерным, так хорошо всем знавшим его, знакомым почерком, выводил он буква за буквой, не понимая их значения. Он писал об огромном строительстве советского союза, о свободе граждан, какой нигде в мире нет, о мощной поступи страны по пути прогресса и науки, о долге всякого, в ком бьется Русское сердце, идти и работать во славу коммунизма. Он писал о великом вожде народов, мудром и всеми любимом Сталине, гениальном творце коммунизма...

Он не слышал и не понимал слова, которые ему диктовали, но механически воспринимал их, сводя буквы и рисуя эти буквы привычным движением руки... От усердия и напряжения, как то бывало с ним в детстве, он приоткрыл рот и высунул кончик языка. Он заметил это и не смутился: ведь, все это было во сне, а мало ли что бывает во сне?! Он аккуратно и ясно подписал написанное им и подал тому, кто диктовал.

Его мучил голод и томила жажда, но и это было не реально, это тоже было во сне...

Его снова ввели в большой зал. В полусознании, он слушал длинную речь рыжего человека, снова слышал грозные крики толпы, угрозы и вопли. И опять, в тумане, в каком все происходило, он услышал свои имя и насторожился.

– К высшей мере наказания!.. Акантов не понял значения этих слов.

– Его вывели из зала. Был тихий зимний вечер. На мгновение Акантов ощутил освежающий холод. Мелькнула даже мысль: "Вот, теперь я и проснусь... Сейчас... сейчас... сейчас...".

Хрустальное небо клочком показалось над домами. Редкий, крупный снег сыпал. Фонари зажглись внезапно, все вдруг... Снежинки сверкали и крутились в их свете серебряными бабочками. Было что-то несказанно прекрасное в их игре в свете огней. Хотелось еще и еще раз вздохнуть полной грудью, и тогда уже совсем проснуться...

Акантова грубо взяли под руки и втолкнули в большую черную карету автомобиля. Мрак, жесткая скамья, толчки на дурной мостовой, воняло бензином и еще чем-то противным и затхлым. И снова – вероятно, снился – длинный светлый коридор, стук сапог со звонкими шпорами по каменному полу, добродушное, пьяное, румяное лицо человека в черной кожаной куртке. У него был револьвер в руке. Человек этот нагнулся к Акантову и, дыша винным перегаром, сказал:

– Вот браток, сейчас все и кончится. Это даже очень просто и не больно. Толканет маленько, ну, ровно тебя кто-то палкой ударит, и вся недолга...

"Вот толканет..", – думал Акантов, – "толканет, и проснусь я от этого отвратительного сна... Это меня будить собираются, толкануть..."

Открылась узкая черная дверь, за ней крутые, скользкие ступени. В лицо пахло мертвечиной, сыростью и холодом могилы.

"Вот и проснусь, а туда не пойду, там страшно", – подумал Акантов, и хотел закричать, но, как это и бывает во сне, крик не вышел из горла.

Что-то резко толкнуло его в затылок, невидимая сила повлекла вниз по склизким ступеням...

"Просыпаюсь", – мелькнула мысль и погасла.

Акантов уже не проснулся. Только еще глубже стал его сон, теперь уже без сновидений...

XXII

1-го мая по всему миру – рабочий праздник. Праздник весны, цветов, пробуждающейся природы, окончания зимних рабочих трудов, весенней пахоты в полях, выгон скота на попас, начало ожидания урожая трав, овощей, плодов и хлеба...

С утра, весь Берлин – красный от длинных полотнищ флагов, свешивающихся с "выстрелов", выдвинутых с балконов и из окон, реющих над крышами домов, над каретами трамвая, над автобусами. Белые круги с черной "свастикой" смягчают резкость красного цвета полотнищ.

Везде – цветы. В садах зацветает белый и розовый боярышник, висят на голых ветвях большие лиловые колокольчики японских магнолий. У памятников на площадях, в тенистых, укромных уголках Тиргартена – нежная белая паутина цветущих кустов рододендрона.

Погода – праздничная. По синему небу, играючи, плывут белые облака, как яхты по озеру Ваннзее.

С утра прохладно. По улицам идут длинные колонны светло-коричневых "наци", однообразно одетых, в шапочках "пирожком", в куртках, заправленных в шаровары, в высоких сапогах. У них военная выправка, бодрая подтянутость, даже у пожилых, с большими, смешными животами. Они идут широким, вымаханным шагом, с серьезными, важными лицами: в них сознание собственного достоинства и одержанной победы. Все это – рабочие. Берлинский пролетариат, ощутивший и осознавший счастье и гордость быть немцами и воспринявший радость обретения Отечества.

Проходят войска. Гремит музыка оркестров, отражается от стен домов, двоит, троит, уносится к небу, гонится за белыми облаками. Тяжел, вычурен и медленен шаг затянутых в фельд-грау отлично выправленных солдат в низких серо-зеленных касках. Их ряды плотны и тесны. Молодые лица солдат напряженны и осмысленны. Громадный тамбурмажор играет впереди барабанщиков золотым витым жезлом. Глухо бьют барабаны. На панелях толпы народа.

В вагонах подземной дороги полно девочек в рыжих куртках и черных коротких юбочках, с голыми коленками, в чулках и башмаках. Чулки грубые, башмаки простые, у многих стоптанные; это – дети рабочих, дети пролетариата, это та "Hitler-Jugend", из которой вырастает Великая Германия – Третий Рейх.

Девочки едут на Стадион... Там – собрание молодежи, ее парад. Приветствовать ее придет Вождь Германии, Адольф Хитлер.

Сейчас за Берлином, на его окраине, за станцией "Рейх-спорт-фельд", – Берлинский Стадион...

На холме, среди песчаных пустырей, сосновых рощ, на фоне голубого неба, высится овальное здание древнеримского стиля. Оно не кажется огромным, так пропорциональны его размеры, так сообразен овал плана с вышиной фасада. Серые, бетонные арки, высокие галереи ярусов, величественные, циклопические барельефы обнаженных гимнастов, – все это странным казалось на краю современного города: точно восстала Римская старина в Берлине двадцатого века. И везде – люди. Они кажутся крошечными точками, как мухи облепившие каравай хлеба, – на крыше и на галереях стадиона.

На Стадионе, на безчисленных местах, – простая публика. Бедно одетые люди, рабочие фабрик, мелкие служащие, их жены. Чистые, скромные платья, потертые, поношенные пиджаки, седые головы, загорелые лица в морщинах. Отцы и матери тех, кто недвижными густыми батальонными колоннами стоит на зеленом лугу арены между широких, малиновым песком усыпанных дорог, и тех, кто на противоположенной стороне Стадиона сидит тесными, тесными рядами, одна девочка плотно к другой. Русая и рыжая головки, косички за спиной, рыжеватые кофточки и черные

юбочки. От юных лиц нежным волнением дрожит над скамьями Стадиона легкий, прозрачный розовый свет.

Юность!

60 000 Берлинских девочек тесно сидят на скамьях Стадиона. Над ними, на самых верхних галереях, как черная рама, – малыши в черных куртках и коротких штанишках: самая юная молодежь, еще не вошедшая в "Hitler-Jugend".

У восточных ворот Стадиона – точно белое полотно протянуто. Матросские белые шапки и темно-синие голландки мальчиков, будущих матросов Германского флота, обрамляют ворота.

18 батальонов одинаково одетых юношей стоит на арене в красоте молодой военной выправки. Они без шапок, и золотом отливают их русые волосы, тщательно приглаженные для парада. Все в коричневых куртках, заправленных в шаровары, в высоких сапогах. У них гордая осанка, их ряды стройны, равенство и ранжир безупречны... Хоть сейчас в поход...

– И... тишина...

Четверть миллиона молодежи и ее отцов и матерей на Стадионе, и нет гомона толпы, потому что нет "толпы"... Тишина и неподвижность...

– Achtung!.. Снять кофточки!..

Рыжая стена девочек всколыхнулась, задвигалась, заволновалась, как колышное ветром ржаное поле. Она стала белеть, точно падал на нее снег большими белыми хлопьями, и вот, там стало совсем бело от чистеньких блузок, и по белому полю золотым и розовым узором легли русые головки и девичьи лица, и еще нежнее стал прозрачный свет от ясных, горящих восторгом глаз.

У западного входа, у Марафонских ворот, во всю ширину Стадиона, стали знамена отрядов. Их сотни. Они заколыхались, как яркие цветы на поле: алые, черные с белым, белые с алым, черные с синим, с зеленым...

– Achtung!..

Батальоны юношей встрепенулись и стали смирно. Грянул оркестр, и сто двадцать тысяч голосов дружно запели:

"Выше поднимем наши знамена!..".

Девять мальчиков-знаменщиков спускаются из сонма знамен и мерным, неторопливым шагом несут знамена по отрядам, стоящим на арене.

Весь народ стоит вдоль своих мест с протянутыми вперед правыми руками и дружно поет вместе с юношами: "Выше поднимем наши знамена!..".

Из середины Стадиона, сверху, отражаясь о громкоговорители, раздается твердый, уверенный голос. Говорит руководитель Хитлеровской молодежи, Бальдур фон Ширах.

– Мы, верующая, храбрая, готовая на труд, молодежь, хотим... и будем... Трудиться с полным усердием для нашего Вождя...

Голос через громкоговоритель звучит резко. Четко разносятся слова по всему громадному Стадиону:

– Мы верим, что сможем всегда и везде постоять за наш народ и за Вечного Бога...

После Бальдура фон Ширах, говорит министр Геббельс. Он напоминает молодежи о 1-м мая 1933-го года... Он говорит о том, как престарелый Президент Рейха, генерал-фельдмаршал Гинденбург, в первый раз говорил в Луст-Гартене перед собранной немецкой молодежью:

– Фельдмаршал передал нам завет: кто хочет командовать, должен учиться повиноваться... Фельдмаршал учил нас прилежанию, дисциплине, труду и творчеству... Наши прилежание, дисциплина, труд, немецкий наш гений, дали возможность нашему Вождю Адольфу Хитлеру спасти Германию и сделать ее снова великим Государством... Хейль Адольфу Хитлеру!..

Тихо, будто поднимаясь из глубочайших недр детских душ, медленно и протяжно, а потом все нарастая, перекатываясь волнами и уже гремя, как океан во время урагана раздалось:

– Хейль!.. Хейль!! ХЕЙЛЬ!!! ХЕЙЛЬ!..

Оркестр заиграл Баденвейлерский марш, и все запели его слова:

"Наша жизнь принадлежит свободе!..".

И снова напряженная, волнующая тишина. И вдруг – громко сказанные слова:

– Achtung!.. Фюрер идет!..

Чуть колышутся на легком утреннем ветру пестрые знамена. Из-под высокой темной арки Марафонских ворот медленно показывается громадный черный открытый автомобиль. Рядом с шофером, стоит Вождь Германского народа, Адольф Хитлер. Он в своем простом костюме: в желтоватом мундире "наци", открытом на груди, в черном галстуке, в фуражке. На груди военный орден Железного креста, на рукаве алая повязка с белым кругом и черной "свастикой". Он сам создал себе этот свой, традиционный костюм, и в нем все величие и вся простота Третьего Рейха... Он первый между равными. Правая рука с раскрытой ладонью протянута вперед, он смело, ясно и приветливо смотрит в глаза приветствующей его молодежи. Сзади него сидят генералы в форме, в тяжело расшитых золотом фуражках, с плетеными золотыми жгутами на плечах, с пестрыми колодками многих орденов. За автомобилем Вождя чинным строем, по два в ряд, двумя колоннами, каждая по четыре автомобиля, медленно и плавно двигаются автомобили "Schutz-Corps". Высокие, стройные молодцы в черных суконных мундирах и черных фуражках с белыми кантами сидят в них. Четверть миллиона рук протянуты навстречу Хитлеру и дрожат прозрачною розовою сетью над толпою публики, над белыми девочками, над стройными рядами юношей... Весь Стадион гремит все нарастающими криками приветия:
– Хейль!.. Хейль!! ХЕЙЛЬ!!! ХЕЙЛЬ!...

Хитлер по крутой лестнице поднялся на половину высоты Стадиона, и там, на площадке, выслушал приветствие фон Шираха, роздал награды работницам и рабочим, и подошел к громкоговорителю. Он стоит над толпою, весь открытый, всем ясно видный. Черная прядь волос свесилась на лоб, голова высоко поднята:
– Хейль Югенд!..

Десятки тысяч молодых грудей колыхнулись. Дружный прозвучал ответ:
– Хейль, мейн Фюрер!..
– Стоять вольно!..

Минуты волнующего напряжения прошли. Их сменило восторженное внимание. Все глаза устремлены на Хитлера. Каждое его слово ловится, запоминается, запечатлевается навсегда... Мертвая тишина на Стадионе. Да, кажется, что в эти минуты по всей Германии стоит напряженная тишина. Вся Хитлеровская молодежь в эти часы собрана у радиоаппаратов и слушает своего Вождя...

Аглая Васильевна, Лиза и Игорь были на Стадионе, куда достал им входные билеты Игорь. Они сидели на одной высоте с трибуной Хитлера. Пониже их, почти касаясь русыми косичками колен Аглаи Васильевны и Лизы, сидели девочки из Хитлеровской молодежи. Они не успели пробраться к своим, на ту сторону арены, и сели здесь, среди публики. Он повернули головы в сторону Хитлера. Голубые глаза, не моргая, смотрели вверх и вправо; они чуткими детскими сердцами воспринимали каждое слово Вождя. Они слушали слова:
– Наши юноши должны быть мужественны, и наши девушки – женственны!

Лиза видит, как расплываются в самодовольной улыбке лица девочек. Еще внимательнее слушают они слова:
– Вы, молодежь, – самое большое наше сокровище... В вас основание веры в будущее, в вас надежда нашего народа...

Буря аплодисментов покрывает эти слова. Розовый трепет маленьких рук над белым простором девичьих рядов – точно стая маленьких бабочек.
– Наше Государство построено молодежью и дальше будет строиться на своей молодежи... И опять трепещут розовые бабочки над белыми рядами и гром аплодисментов долго не смолкает.
– Воскликнем все вместе "Heil", да здравствует наше движение! Sieg Heil!.. Наш Народ!.. Sieg Heil!.. Колонны юношей дрогнули и стали "смирно". Девушки белою стеною поднялись во всю ширину и высоту Стадиона. Вытянуты вперед правые руки и воплем восторга исторгнуто из десятков тысяч грудей громовое "Хейль!"... Грянул старый немецкий гимн. Четверть миллионная толпа запела. К небу понеслись, переливаясь, торжественные, за душу хватающие, звуки:
– Deutschland, Deutschland uber Alles, uber Alles in der Welt! (*-Германия, Германия над всем, над всем на свете)...

XXIV

Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer (*-Один народ, одно государство, Один вождь...), – вздыхая говорит Аглая Васильевна. Она, Лиза и Игорь сидят на дерном покрытых скамьях на откосе зеленого спортивного поля. Все поле в рыжевато-черных пятнах завтракающей молодежи. Hitler-Jugend быстро, в полном порядке, разбилась по звеньям, уселась и улеглась на траве. На тележках подвезли жестяные бидоны с молоком, хлеб, масло и сыр. Старшие девочки от каждого звена получили свою долю и понесли ее к мирно ожидающим детям. В стороне глухо бьет барабан: там... там... там.. Мальчик в черном, с огромным средневековым черным, с белыми кантами, барабаном идет впереди маленького отряда малышей. Старательно шагают под барабан мальчуганы, направляясь на станцию подземной дороги. А кругом, по всему откосу поля, расселись родители. К ним то и дело подбегают девочки, чтобы поделиться впечатлениями дня: – Ты слышала, мама, что сказал наш Фюрер?.. Мы будем трудиться... Мы все будем трудиться, чтобы быть достойными Германии...

Над полем, на высоком песчаном холме, обширный ресторан. Алые флаги полощут на посвежевшем ветру. Балкон и все столики наружу, на скате холма, под большими пестрыми зонтами полны гостей. Гудит, шумит голосами зеленое поле и холм. Там около миллиона Берлинцев... Звонко кричат продавцы газет: "Бецетам Миттаг"!.. "Берлинер Иллюстрирте"!..

Внизу повозка, на повозке шатер. Кругом толпа. Пахнет свиным салом, капустой. Тут торгуют горячими сосисками.

Сверху синее небо, редкие белые облака, как корабли под парусами, плывут на восток...

– Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer... – повторяет Аглая Васильевна. – Как орлица, собрала Германия под свои мощные, крепкие крылья всех своих сыновей. Собрала нацию воедино. Немного осталось, и то довершит. Счастлива Германия, что Бог послал ей такого вождя, счастлива тем, что она едина...

Мама, – говорит Игорь. – Скажи, как ты думаешь, как будет с Россией? Возможно то же самое в России?..

– Нет, так в России быть не может... Нужно знать *подлинную*, не искаженную историю России. Народ, поселившийся на грани Европы и Азии, замкнул ворота из Азии в Европу. Русские охранили Западную Европу от нашествия монгольских племен. На их долю выпало двухвековое татарское иго. В постоянных войнах креп и мужал Русский народ. Пошли по рекам, овладели Волгою, с ее татарскими городами и царствами. Пошли за Уральские горы, в Сибирь, к Великому океану... Впереди шел казак, за ним монах и воин-дружинник, с воеводою царским, а после – купец и земледелец... Россия сделалась колониальной страной... В чужих землях строили крепости-городки, ставили монастыри, проповедовали Слово Божие в самых глухих дебрях Азии, проникали до Китайского Пекина... Почти три сотни лет сражались с татарами на юго-востоке; полвека ушло на заселение Сибири; почти век покоряли Кавказ; столько же ушло на занятие и заселение Средней Азии... Какие только народы, какие религии, какие обычаи, какие нравы ни вошли в Великое Российское Государство!?. Все стали русскими... Сами прибавляли к своим именам окончание на "ов", чтобы полнее слиться с нами, изучали Русский язык и *гордились* быть Русскими.

Так и создалась Русским гением, добротой Русского нрава великая Российская Империя, объединенная Царем... Это была не нация, не единый народ, как это мы видим здесь, но сотни национальностей, сотни народов, и могла быть такая Русь только со своим Царем, являвшимся непререкаемым авторитетом для всех. Царь был существом России, и без Царя не могла быть и Россия...

– Но... Аглая Васильевна... Нас учили, нам говорили (* *вот подлость залганья*)... В России Царя ненавидели. В России невыносим был гнет Царского режима, в России до последнего времени был феодализм, высасывавший все соки из крестьян, в России народился такой капитализм, какого не знала Западная Европа. В России был уничтожен пролетариат. Россия была отсталая страна, все в ней было продажно, всякий прогресс был задушен, молодежь была деморализована, народные массы пребывали в нищете... Революция в России была не только неизбежна, но и необходима...

Аглая Васильевна терпеливо выслушала горячие слова Лизы. Она была готова к ним. Она слышала такие же речи и от сына, когда тот учился в немецкой школе, она знала, что в Славянском

институте в Берлине профессора говорили неправду про Россию, повторяя бессмысленный вздор Русских псевдо-ученых, подтасовывавших историю России под свои левые убеждения. Не один раз приходилось Аглае Васильевне в немецком обществе разбивать по пунктам *нелепые представления о России*, созданные евреями и еврейской прессой.

– Царя ненавидели?.. Царя обожали!.. Царя боготворили!.. На Царя молились... "Царь-батюшка", иного имени не было в Русском народе для Государя...

– Аглая Васильевна, вы видали Государя?..

– Много раз... И мой отец, и мой покойный муж служили в Гвардии...

– Когда вы видели последний раз Государя?..

– Перед самой войной, в 1913-м году, когда были "Романовские" торжества. Праздновали трехсотлетие со дня избрания на царство Михаила Федоровича Романова. Я была на них. Государь был в Костроме, потом проехал по Волге... Что это были за дни!.. Умирать буду, не забуду...

Повсюду громадные толпы народа... Крестьяне стекались издалека, чтобы поклониться своему Государю... Государь только с трудом мог проходить через народные толпы... Полиция едва могла расчистить для него проход... Крестьянки выносили детей, крестьяне становились на колени... Когда пароход, на котором был Государь, шел по Волге, жители прибрежных деревень входили в воду и стояли по грудь в воде, чтобы ближе видеть Государя...

– Может быть, Аглая Васильевна, их сгоняли...

– Нет, Лиза. Это был *искренний* и неподдельный восторг... Такой восторг нельзя создать искусственно. Это был совершенно такой восторг, какой ты видишь теперь при проезде Хитлера. Тут – один народ, одно государство, один Вождь... Там были Царь и Народ, и они вдвоем и создавали Государство, Российскую Империю. Они были неотделимы, и, когда не стало Царя, народ распался и началась непрерывная борьба, и она *будет продолжаться до тех пор, пока снова не скрепит разноплеменную Россию единый православный царь*... Ты сказала: "гнет Царского режима"... Россия была самой свободной страной в мире, потому-то в ней и могли так пышно расцвести самые крайние теории и учения, что не было в ней никакого стеснения совести... Феодализм кончился семьдесят семь лет тому назад, и крестьяне, последнее время, выселялись на отруб и, заселяя Сибирские и Азиатские просторы, богатели... Россия кормила своим хлебом Западную Европу... К началу войны Россия была самая передовая страна в Мире. В ней процветали науки и искусства. В ней был самый совершенный суд. Вступив в войну, Россия на своих плечах вынесла первые два самых тяжелых года, и дала возможность союзникам собраться и победить... Да, что говорить, Лиза!.. Оборванная, обобранная, униженная, нищая явилась Россия, изгнанная из Отечества за границу, и... не пропала...

– Аглая Васильевна, но, как же могла тогда быть революция, если все было так хорошо?..

– Лиза... Давно все было пущено для того, чтобы *вытравить из Русского сердца Царя*. Была создана такая несосветимая ложь, какой еще не бывало на свете. Еврейская страшная ложь!.. Ложь, Лиза, необъятная... Нет пределов для лжи. Правда основана на факте, на том, что было; для лжи факта не нужно. Ложь сама изобретает факты, и на них строит свое здание ...

Ложь создала из благостного и доброго Государя тирана... Ложь перелицевала историю и заставила ее служить для разрушения России. Лжи все доступно. Ложь – родная сестра зависти, и вместе они создают ту ненависть, которая разрушает любовь между людьми, любовь, заповеданную нам Господом Иисусом Христом...

– Кто же занимается этой ложью?

Лиза, спрашивая, знала, какой будет ответ. Те два часа, что провела она в Нью-Йоркской синагоге, показали ей подлинное лицо сеятелей мировой ненависти и лжи.

– Жиды, – спокойно и твердо сказала Аглая Васильевна. – Третьего дня мы читали с тобой Евангелие от Иоанна, помнишь:"... тогда сказал Иисус к Иудеям: "ваш отец – диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи..."

– Но, мама, – пожимая плечами, сказал Игорь, – разве дьявол реально существует?..

– А, вот, погоди, узнаешь, – сердито сказала Аглая Васильевна. – Ты понимаешь, Лиза, с *самых древних времен* ложь была присуща еврейскому народу. Евреи развращали христиан своим скептицизмом, критикой и крайним материализмом. Самые жуткие философские учения вышли из-под перьев евреев. Еврей Маркс создал нелепейшее экономическое учение, создал

коммунизм... Еврей Гейне учил немцев презрению и насмешке над Родиной... Для еврея нет ничего святого... С каким диким восторгом бросились евреи на Русский народ, истомленный войною... Евреи овладели умами нашей безпечной интеллигенции, и самый дьявольский план разрушения величайшей Империи удался вследствие страшной лжи. Врали все: профессора, журналисты, писатели, артисты... Врали неистово, вдохновенно, мерзко...

Лиза опустила голову. Не повторяла ли она ту ложь, что говорил ей еврей Ротшпан?..

– Та страна, – продолжала говорить Аглая Васильевна, – то государство, которое сумеет освободиться от евреев, от их всеразрушающей лжи, будет жить здоровою, крепкою жизнью. Германия избрала этот путь оздоровления своего народа... Россия гибнет, потому что она вся во власти евреев...

Аглая Васильевна встала. Она была вне себя от охватившего ее глубокого волнения:

– Царь, – сказала она, – Наш великий Государь-Мученик Николай II. Он мог уехать. Ему предлагали отправить его в Англию. Он отказался... Он верил своему народу. Он не хотел признать, что ложь уже разложила Русский народ... Его хотели спасти и увезти из тюрьмы... Он считал недостойным бежать из своего Отечества... Его и его Семью безчеловечно, зверски убили в Екатеринбурге... О! Какая гнуснейшая мерзость, какой ужас и подлость, каких не знала еще история, это убийство в Ипатьевском доме в Екатеринбурге!.. Убили жида и обманутые ими Русские... Ужас!.. Кровь этой Царской Семьи и до сего дня на нас!..

Стучит, несется под землю переполненный вагон подземной дороги. И с ним несется мысли Лизы, разбуженные горячими словами Аглаи Васильевны.

Никогда раньше она об этом не думала, но почему-то, когда Аглая Васильевна пела и играла на пианино Русский гимн, странно щемило Лизино сердце.

"Царь... Царь...", – думала Лиза, и вспоминала книги, которые она читала теперь.

Она шла к дому по пустынной улице, впереди Аглаи Васильевны, рядом с Игорем. Она взяла Игоря под руку.

– Игорь, – тихо сказала она, – ты знаешь, недавно, в скромной церкви, я обрела Бога... Теперь, мне кажется, что я обрела и Царя...

Кругом шумел, кипел, волновался праздничной жизнью первомайский Берлин. Алые полотнища полоскались в синем небе. У подъездов домов были привязаны березки с маленькими клейкими зелеными листочками, вдоль балконов стояли горшки с цветами.

В глухой улице было тихо, и шум, доносившийся из города, сливался в мощную гармонию.

– Мне кажется, – снова сказала Лиза. – Мне кажется, что мне остается только обрести... Отечество... где же оно?..

Шум несущихся по городу машин, говор толпы, звонки трамваев, обрывки далекой музыки свивались в величественный гимн. Лизе казалось, что незримый громадный хор где-то далеко, далеко торжественно поет: *"Боже Царя храни"...*

Лиза прижала локоть Игоря к своему локтю и тихо сказала:

– Игорь, ты мне дашь это Отечество...

Конец

Берлин, 18 июля 1938 г. – 27 марта 1939 г.

Роман П.Н. Краснова «Ложь» для Вас подготовил Димитрий Барма.

Эти сайты мои:

<http://antikominfo.livejournal.com/>

http://community.livejournal.com/rovs_nz/

Я *выписываю* и читаю:

Единственную и старейшую белую газету русского Зарубежья Наша Страна

<http://www.nashastrana.info/>

Журнал Общества ревнителей памяти митрополита Антония **Верность**

<http://www.metanthonymemorial.org/>

Лучшим авторами Зарубежья считаю: графа Коновницына, Николая Леонидовича Казанцева, Владимира Алексеевича Рудинского, о. Георгия Солдатова и протоиерея Германа Иванова-Тринадцатого – здесь есть его статьи:

<http://www.karlovtchanin.eu/>

Воспоминания политзаключенных о ГУЛАГЕ:

<http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/list.html>

Выполняю просьбу энтузиастов, *распространяющих литературу по себестоимости книг*:

1. О сергиянстве (сборник статей).
 2. Книга Апостольских Правил, вселенских Соборов, Поместных соборов и Св. Отец.
 3. Сергей Нулус «Близ есть при дверех...»
 4. Воспоминания Князя Н.Д. Жевахова
 5. За Родину – против Сталина (сборник статей)
 6. И. Солоневич «Россия в концлагере»
 7. Красный террор в Москве (свидетельства очевидцев).
 8. Красный террор глазами очевидцев.
 9. Ижевцы и воткинцы в борьбе с большевиками.
 10. В. Науменко «Великое предательство. Как погибали казаки» (о трагедии Лиенца)
 11. Генерал Дитерихс.
 12. Граф Келлер.
 13. Каппель и капеллевы.
 14. Генерал Кутепов.
 15. П.Н. Краснов «Ложь» (роман на документальной основе).
 16. «Русский огонь». Стихи Николая Боголюбова.
 17. Альманах «Донские казаки в борьбе с большевиками»
 18. Казаки Паннвица 1942 – 1945 гг. (фотоальбом).
 19. А. Стрижев «По следам Сергея Нилуса».
 20. Сергиев Посад (Вестник воинов Христовых).
 21. Преданный Рыцарь Тихого Дона (фильм о генерале П.Н. Краснове).
 22. П. Турухин «Русское сердце» (стихи).
 23. Альбом художника Константина Васильева.
 24. Ф.М. Достоевский «Дневники писателя».
 25. И. Ермолов «Три года без Сталина».
 26. И. Ермолов «Русское государство в немецком тылу».
 27. С.С. Бехтеев «Певец Святой Руси». Православно-патриотическая поэзия.
- В списке даны постоянно имеющиеся книги. Выбор всегда значительно больше.
Заказывая книги в Москве при их получении Вы получите и актуальный список имеющегося.
Забирать книги придётся самостоятельно. **Звоните по телефону: +7 917 543 47 31**